

# Литературная Грузия

საქართველო  
ლიტერატურა

1-6



2000



# Литературная Грузия

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

И

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ

ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1957 ГОДА

ალექსანდრე დიუმას სახელობის  
ფრანგული კულტურის ცენტრის  
ბ ღ ვ ე ნ ი

УЧРЕДИТЕЛИ:

Союз писателей Грузии

Институт грузинской литературы им. Ш. Руставели

Издательство "Литературная Грузия"

1-6

2000

# СОДЕРЖАНИЕ



## ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ – 100

ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ. Незатухающая искра .....	5
ГУРАМ БЕНАШВИЛИ. Великий художник .....	12
ТАМАЗ БИБИЛУРИ. «Древо желания» – роман .....	23

### ПОЭЗИЯ

ГЕОРГИЙ ЛЕОНИДЗЕ. «Я, как ручей...»	
Перевод Евгения Евтушенко .....	4
ШОТА НИШНИАНИДЗЕ. Стихи.	
Переводы Яна Гольцмана и Вахтанга Буачидзе .....	33
ЛИЯ СТУРУА. Стихи.	
Перевод Мари Фарги .....	38
ДАТО МАГРАДЗЕ. Стихи.	
Перевод Владимира Саришвили .....	41

### ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

КОТЭ ХИМШИАШВИЛИ. Два рассказа .....	65
ДОДО ВАДАЧКОРИЯ-ХИМШИАШВИЛИ. Вводное слово .....	63

### ПРОЗА

ГОДЕРДЗИ ЧОХЕЛИ. Грустные рассказы.	
Перевод Ляны Татишвили .....	47
ЗАЗА ТВАРАДЗЕ. «С».	
Перевод Гины Челидзе .....	81
МИХО МОСУЛИШВИЛИ. «Не пропоет петух...»	
Перевод Ирины Зурабашвили .....	154

### АНКЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГРУЗИИ»

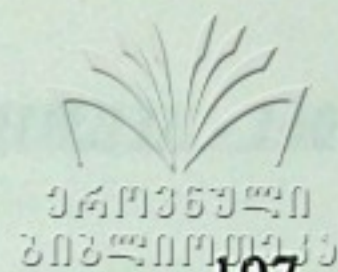
«КАК МЫ ПИШЕМ». На вопросы нашей анкеты отвечает писатель Михаил Квливидзе .....	104
-------------------------------------------------------------------------------------	-----

### НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ

СЕРГЕЙ ОКРОПИРИДЗЕ. Стихи .....	74
ВЛАДИМИР САРИШВИЛИ. Стихи .....	180
АРСЕН ЕРЕМЯН. Рассказы .....	184

## ДРАМАТУРГИЯ

- ТАМАЗ ЧИЛАДЗЕ. Толкование снов.  
Перевод Анаиды Беставашвили .....107



## НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

- ОТ РЕДАКЦИИ .....151  
ИЛЬЯ ДАДАШИДЗЕ. Одна из лучших .....152

## КРИТИКА

- МАНАНА КВАЧАНТИРАДЗЕ.  
Художественный мир Отара Чиладзе .....213

## ИЗ РЕДАКЦИОННОГО АРХИВА

- ГАЛАКТИОН ТАБИДЗЕ. Стихи.  
Перевод Звиада Гамсахурдиа .....232

## ПУБЛИЦИСТИКА

- ДЖЕМАЛ АДЖИАШВИЛИ.  
Светильник Господень – дух человека.....267  
РЕВАЗ ДЖАПАРИДЗЕ. Слово о родном языке .....296

## ИСКУССТВО

- САМСОН ЛЕЖАВА. Разговор о грузинской культуре .....239  
НАТЕЛА УРУШАДЗЕ. Король смеха .....306  
РУСУДАН КВАРАЦХЕЛИЯ. Кино – история? .....313

## НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

- Из КОНСТАНТИНЭ ГАМСАХУРДИА, ТЕРЕНТИ ГРАНЕЛИ,  
ШОТА НИШНИАНИДЗЕ, АННЫ КАЛАНДАДЗЕ, МУХРАНА  
МАЧАВАРИАНИ, ИЗЫ ОРДЖОНИКИДЗЕ.  
Перевод Гугули Кебуриа .....300

## РЕЦЕНЗИЯ

- ЛИЯ ДЖАНЕЛИДЗЕ. Питающее русло .....321

## СЛОВО ПРОЩАНИЯ

- ЭЛИЗБАР АНАНИАШВИЛИ .....327



**Георгий ЛЕОНИДЗЕ**

**\* \* \***

**Я, как ручей,  
кувшинками пропахший.  
Я столько лет плетусь,  
а не бегу.  
В меня бросают изредка ромашки.  
Я сам сорвать ромашки не могу.  
Но я –  
я опровергну этот образ!  
Я к изумленью всех сбегу туда,  
где пропастей,  
набитых мраком,  
пропасть,  
где облака, как диких коз стада.  
От суеты в счастливом отдаленье  
у звезд  
пастушью трубку прикурю...  
Пусть в дырах светят голые колени,  
которых все же я не преклоню!**

**Перевод Евгения Евтушенко**

Заза АБЗИАНИДЗЕ

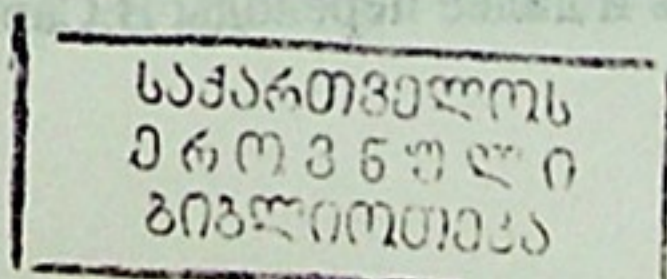
## НЕЗАТУХАЮЩАЯ ИСКРА

Создавая обобщенный образ грузинского поэта, в характере, образе жизни, внешности и, разумеется, творчестве которого ярко отразились исконно грузинские черты, отличающие этот характер, эту внешность, эту поэзию от всех остальных, вы, несомненно, в первую очередь вспомните о Георгии Леонидзе.

Георгий Леонидзе – народный поэт (не по званию, а по сути своей), с 30-х годов откликавшийся стихом на все значительные явления тогдашней общественной жизни, обласканный властями инициатор многих важнейших начинаний, остававшийся при этом для окружающих простым и необыкновенно обаятельным Гоглой.

Существует поэтика имен и магия имен. Ласковое имя – Гогла, сохранившееся с юношеских лет, словно по волшебству, продлевало его юность, и параллельно с гранитным руслом, по которому текла деловая жизнь поэта-академика Георгия Леонидзе, существовало еще одно русло – неровное, со скалистым дном – для буйных чувств, страстей и увлечений, не умещавшихся в тесных рамках. Таким образом, с поэтом-академиком и поэтом-трибуном Георгием Леонидзе сосуществовал влюбленный, как юноша, в жизнь Гогла.

Позже, уже к началу шестидесятых годов, станет ясно, что этим преобразование Георгия Леонидзе не исчерпывается. Он начал печатать новеллы «Древа желания», и читатель увидел мир уже не глазами юноши Гоглы, а маленького, оставшегося без отца бичо-Гогиа (парня-Гогиа).



«Древо желания» особенно четко выявило, скольким обязан Георгий Леонидзе годам, проведенным в родном селе Патардзеули, в Ахалсопели, куда отвезла его учиться сестра отца, и той нежности и той суровости в отношениях с людьми, с которыми обычно так рано сталкивается выросший без отца маленький мальчик.

После выхода сборника новелл «Древо желания» стало понятно, какая боль и любовь одновременно связывали его с Кахети, с сиротливым детством. В отличие от Галактиона, поэт доверил свои ностальгические чувства герою лирической прозы, в поэзии же, словно смущаясь, что читатель заметит в его жизнерадостных стихах тайную слезу, скрывал свою грусть между строк:

Село мое, Патардзеули,  
Очаг младенческого сна,  
Здесь колыбель моя качалась,  
Поскрипывая у окна.\*

Друзья Георгия Леонидзе вспоминали, что этот представительный, статный мужчина не мог сдержать слез на могиле своей матери. Да и в стихах – только он начинал говорить о ней, в голос его вкрадывалась предательская дрожь:

Холмик за полем. Окрестности в неге.  
Пустошь, и тёрн, и полынь, и песок.  
С кем воевать мне в отмеренном веке?  
Здесь положили мы мамин платок.

Истоки лирической поэзии зачастую следует искать в личной драме художника, но в случае с Георгием Леонидзе истоки эти – в его восприятии историзма: острота сопереживания историческим победам родины придавала его

---

\* Здесь и далее переводы В.Саришвили.

строкам достоверность очевидца, и не удивительно, что чудесное смещение пространства и времени он почувствовал первым:

Читал я Картли житие,  
Глаз до утра не отрывая,  
О, как крушили город мой,  
Невинной кровью заливая.

Скорей на площадь! Жив ли ты,  
Умолк ли лязг и скрежет битвы?  
Стоят мосты твои, дома,  
И светится душа молитвой.

Столь эмоциональное восприятие историзма придавало какой-то особый, романтический оттенок и любовной лирике Георгия Леонидзе. Читателю его интимного дневника любимый поэт предстает то рыцарем, влюбленным в Нино Чавчавадзе, певцом вечной красоты, то жертвой женского очарования. Все мы помним финал «Свидания кипчака» – мольбу умирающего, раздираемого неупокоенной страстью мужчины:

Приди, коснись моей свербящей раны,  
Мутится взор, кровь землю залила,  
А над ущельем Картли вновь туманы –  
Как из кипящего огромного котла.

Приди!  
Тебя сквозь тьму веков зову я,  
Я жажду молний тела твоего,  
Пора цветенья роз и поцелуев,  
Открой же мне свиданья волшебство!

Только Георгий Леонидзе мог так мастерски противопоставить свой стих фольклорной традиции, так точно найти в нем место для строк Руставели и, в конечном итоге, скорее интуитивно, нежели логически (логика в поэзии, как известно,



не в большом почете) дать понять читателю, что в этом сумасшествии, этом безумии, этом самопожертвовании, в этой тоске по любимой женщине, этом ожидании и страсти есть что-то невысказанное, но очень значительное... некий ключ к разгадке внутренней природы самого Гоглы.

В стихотворениях поэта, а еще больше в его «Древе желания» хорошо видно, как безошибочно чувствовал он колорит кахетинского села, сквозящий в неповторимых деталях характеров, взаимоотношений между людьми.

А вот леонидзевское восприятие городского колорита – Тбилиси начала 30-х годов – с его поэтами и красавицами, пекарями и зеленщиками, ремесленными и фольклорными традициями:

Нарикалу накрывало  
Покрывало из золы.  
Хаши,  
Фрукты,  
С пылу, с жару  
Хлеб из тонэ –  
На столы.  
Деревянные подносы,  
Сазандар вовсю пост.  
Ждет Тбилиси Солнце в гости –  
Шесть распахнуто ворот.

Я упомянул фольклорную традицию. Гогла вырос на ней. Одна из главных причин особой популярности его стихов заключалась в том, что в них оживают столь привычные грузинскому уху и любимые образы и интонации.

Вспомним замечательную поэтическую миниатюру из цикла «Старые грузинские надписи». Вот, что он говорит о надписи на старом храме:

Храм на вершине строил я,  
Было то или не было;

Бык помогал мне преданно,  
Камни таскал по скалам он,  
И разгружал безропотно,  
Ты обрати помощнику,  
Господи, землю в пух.

И еще один пример, на этот раз из лирики Георгия Леонидзе военных лет. Из военного и послевоенного поколений не нашлось бы грузина, не помнящего этих строк:

Парнем я был улыбчивым  
С татуировкой – беркутом,  
Мне девятнадцать минуло,  
Двадцать не справить – без году.

И в конце –

Мама, не убивайся так,  
Всяко в жизни случается,  
Не обрывайся, Божий день,  
С матерью сын прощается.

Здесь же следует отметить, что многие стихи Георгия Леонидзе, написанные в 30-40-е годы, те, которые впоследствии он не включил в свой последний лирический сборник – «Листок дуба», изданный в 1961 году, – отмечены именно тем искренним пафосом, который столь ощутим в вышеупомянутом стихотворении «Не горюй, мама».

Георгий Леонидзе, безусловно, признавал, что большая часть его поэтических образов, если хотите, творческой карьеры, связана именно с этой патетикой, и отказаться от какой-то части своего творчества означало для него отказаться в то же время от части своей биографии. Для кого-то другого, более эластичного, гибкого, возможно, более циничного, во всяком случае, не для такой чувствительной и самолюбивой натуры, это, наверное, не было бы столь драматичным. Но только не для Георгия Леонидзе.

Его метафорический автопортрет тридцатилетней

давности, в котором можно увидеть и исторический портрет грузина вообще, на исходе жизни звучал как-то мистически:

Ты – как висельный столб у дорог,  
И, ветряною дыбой измучив,  
Самого тебя вешает рок  
На одном из протянутых сучьев.  
Ты похоже порой на орла,  
Что летит небосводом, прекрасен,  
И внезапно, сложивши крыла,  
Как стрела – низвергается наземь.  
Ты – Пегас, что к полету готов,  
От земной порываясь юдоли...  
О громами разрушенный кров,  
Дымный уголь отпылавших костров,  
Одинокое дерево, оле.

*(Перевод Б.Брика)*

Мне почему-то думается, что этот внутренний драматизм сократил жизнь Георгия Леонидзе: роль поэта, высоко ценимого властями, находящегося на авансцене общественной жизни, к сожалению, подразумевает и определенные компромиссы. Именно те компромиссы, которые никому не прощал, и тем более не простил себе патардзеульский бичо-Гогиа...

Свое первое стихотворение Георгий Леонидзе опубликовал в газете Иванэ Ростомашвили «Синатле», когда ему было всего двенадцать лет. Известный в то время художник Оскар Шмерлинг даже нарисовал по этому поводу карикатуру.

Целых полвека свет его несравненного таланта озарял грузинскую поэзию. И не только поэзию, вспомним «Древо желания» и то, что Георгий Леонидзе был вдумчивым исследователем грузинской литературы, и неотъемлемой частью его литературного наследия являются труды, посвященные Мамуке Бараташвили, Сулхану-Саба Орбелиани, Саят-Нове, Давиду Гурамишвили, Виссариону Габашвили, Николозу Бараташвили, Иванэ Мачабели. По его инициативе

были основаны Литературный музей в Тбилиси, Дома-музеи Ильи Чавчавадзе в Кварели и Сагурамо. Даже мемориальная стела у Цицамури – его заслуга.

Георгий Леонидзе заботился о многих и о многом: разыскивал неизвестные полотна Пиросмани и могилу Давида Гурамишвили, подыскивал здание для Института грузинской литературы, директором которого являлся до последних дней своей жизни, проводил воду в Патардзеули...

И все же, главное в его биографии, его духовном наследии – это стихи и «Древо желания», под сенью которого еще не один грузин ощутит вкус и красоту родного языка.

Как известно, Важа Пшавела благословил юного Георгия Леонидзе, посвятив ему стихотворение. Символично, что уже в той жизни они встретились на горе Мтацминда. Полвека и несколько шагов разделяют сегодня их могилы, могилы двух поэтов, и, мне кажется, цель жизни Георгия Леонидзе заключалась именно в этом сближении, в претворении в жизнь благословения и завещания Важа Пшавела.

Георгий Леонидзе имел право с достоинством и благодарностью сказать в одном из своих последних стихотворений, написанном в Чаргали и посвященном Важа Пшавела:

Я крохотная искорка  
Отечества огня.

Нам остается лишь с благодарностью лелеять эту неза-  
тухающую искру.

## ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК

Сегодня мы с благоговением вспоминаем великого грузинского поэта, блестящего прозаика, замечательного исследователя грузинской литературы, выдающегося общественного деятеля Георгия Леонидзе.

Поистине многосторонними были проявления ума и души этой одаренной уникальным талантом личности... Его грандиозное духовное наследие, мы уверены, приобретет в будущем еще большее значение и смысл, даст почувствовать новым поколениям силу и глубину грузинского художественного слова, покажет, как ответственно и уважительно относился поэт к духовному прошлому своего народа.

Жизнь и творчество Георгия Леонидзе – поразительно гармоничный и наглядный пример того, как в условиях духовно порабощающего режима можно, не запятнав себя, прожить достойную жизнь и сберечь рожденную для свободы душу творца.

Он был личностью, отмеченной многовековой исторической памятью Грузии, для него принципиально не существовало границы между прошлым и современностью... С необычайным своеобразием проявлялись в нем уже позабытые или поблекшие от времени духовные национальные ценности, те основополагающие свойства, без которых нельзя представить существование грузин...

Предметом его страстной любви, его увлечением в первую очередь была поэзия. Здесь, в этом бескрайнем пространстве, выявились особые возможности этого универсального художника. Он остался в истории литературы верным рыцарем традиционной грузинской реалистической школы... Не следует забывать, что первооткрыватели и преобразователи художественных путей нашего словесного искусства – Николоз Бараташвили, Илья Чавчавадзе, Акакий Церетели, Важа Пшавела – никогда не стремились не походить на кого-либо, ибо свято верили, что уход от литературного предшест-

венника – тщательно замаскированная робость и ничего больше ...



Как показал опыт, «метафора романтизма» не смогла убить, заменить или ограничить реализм. Разумеется, реалистический метод отображения жизни в XX столетии явно отличался от реалистических традиций XIX века, иначе, наверно, и не могло быть. Искусство как таковое в том и заключается, что к достигнутому всегда добавляется живой опыт современности, в противном случае искусство превратилось бы в музейный реликт, повторение пройденного и эпигонскую имитацию.

Великие грузинские писатели-реалисты нашего века, в том числе и Георгий Леонидзе, в целом не приняв поэтики декаданса и авангарда, тем не менее, сумели усвоить ряд художественных достижений этих школ и тем самым обогатили свою языковую выразительность, углубили и обострили социальные и психологические взгляды на человека и общество...

Классическим олицетворением современной эстетики XX века в грузинской поэзии является, пожалуй, лишь творчество Галактиона Табидзе. Все остальное – одно эпигонство, бесплодное увлечение и самолюбование в оригинальной маске...

И надо было обладать мощной творческой индивидуальностью, чтобы лирические шедевры Галактиона Табидзе не лишили тебя самостоятельного голоса, чтобы совершенно от него независимо сказать свое прекрасное слово в грузинской поэзии...

Что является в стихе Георгия Леонидзе существенным и значительным? Прежде всего, неудержимый и тревожный полет грузинского слова. Проявление его бесконечных возможностей в первородной прозрачности пространства – наглядное олицетворение того, как мощная воля высшего поэтического искусства покоряет неприкосновенную и жестокую туманность времени и пространства, преобразуя ее в живую и предметную реальность...

Его поэзия уникальная мера ренессанских страстей,

бушующих в душе художника. Патетика и стремительный динамизм – эстетическое «ожерелье» стиха Георгия Леонидзе, которое чрезвычайно редко встречается в грузинской поэзии...

Нельзя говорить о нем, не упомянув «Древа желания», это совершенно оригинальное творение, которое, я уверен, будет вечным украшением национального художественного сознания... Этот чудесный «веночек» воспоминаний детства – уникальный образец лирической прозы – делает еще более значительной роль Георгия Леонидзе в истории грузинской художественной литературы.

Очень существенны заслуги Георгия Леонидзе как исследователя литературы... Без преувеличения можно сказать, что в этой области он по достоинству стоит в ряду лучших представителей филологической науки...

Неизгладимый след оставил он и в грузинской фольклористике, которая всегда была предметом его особой любви и благоговения.

И наконец, незабываема, неповторима его личность как общественного деятеля...

Еще раз отмечу, что творческая индивидуальность Георгия Леонидзе, и в частности его поэзия, – сложнейшее и значительнейшее культурное явление, и ее совершенная интерпретация – дело будущего.

Что представляет его поэтическое наследие, за какие заслуги он столь дорог нам, современникам?

Поэту, рожденному в 1899 году, исполнилось сто лет. После перехода в вечность каждый юбилей большого художника – начало его новой, некой сакральной жизни, в приходе которой глубоко убежден сам протагонист... До этого он почти трагически переживает каждый шаг, приближающий его к началу новой метафизической жизни:

Прошел тридцать один год,  
Поминают уже как прошлое,  
И коварная юность уходит.

Где начало его, откуда оно, чьи чары и красота взрастили и облагородили это совершенно уникальное явление грузин-

ской поэзии?.. Отец поэта Нико Леонидзе был для своего времени весьма известной личностью – писатель, литератор, педагог, сторонник и участник народнического движения. Он дружил с писателями и общественными деятелями того времени, сотрудничал в печатных органах – «Цискари», «Дрозба» и «Иверия». «Не могу простить себе, что я – исследователь чужих архивов – не смог позаботиться об архиве отца», – с сожалением писал поэт в воспоминаниях. – «Я видел адресованные ему письма Иванэ Кереселидзе, Бачаны, Иосифа Давиташвили. Он, оказывается, дружил с Важа Пшавела. Правда, отец скончался, когда мне был год, но он оставил прекрасную библиотеку, которая сыграла большую роль в моей жизни...»

Эти книги его воспитали... Книги и мать – София Гулишвили – в красивейшем селе Кахети Патардзеули, где весной каждая фиалка на лесной опушке казалась мальчику материнской слезой, ибо он был наслышан, что на уроненной матерью слезе вырастает фиалка... Казалось, матери всего света плакали здесь. Фиалок было слишком много в прекрасных окрестностях его села...

\* \* \*

Стихи он начал писать в раннем возрасте. Первое стихотворение – в 1909 году, – вспоминает он сам. Хотя в архиве сохранилась запись 1907 года в альбом сестры Евгении, как говорит поэт, «какой-то прозаически-стихотворный стон по поводу смерти Ильи Чавчавадзе». Тут же он разъясняет, что предчувствовал боль цикамурской трагедии.

С юности его волновали темы тергдалеули. Возвышенные мотивы Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важа Пшавела звучат в тех первых детских и юношеских, будто бы инфантильных строках. Позже чувствуется влияние модернизма, символизм очаровал его обилием средств выразительности... Мир привидений околдовал его и увлек в сторону ирреальных пространств. Георгий Леонидзе не смог избежать влияния символизма, «первенца умирающего, разложившегося



империализма», — с огорчением или презрением отмечали иные критики... И часто искали примеры этого влияния там, где меньше всего их можно было узреть... Искали окрашенные печалью строки, а горесть их была ничем иным, как горестью и конкретной, и метафизической, что так соответствовало мечтательной душе молодого художника.

Если символизм выразитель лишь безграничной печали и полного одиночества, тогда поэзия Георгия Леонидзе менее всего соответствует ему, потому как ни один период его творчества, даже в годы самозабвенного увлечения символизмом, не отмечен той душераздирающей болью, тоской и грустью, которые столь характерны для Галактиона Табидзе... Поэта, чье художественное сознание было озарено символизмом...

Было время войн, революций, тотальных преобразований и переустройств, рождения нового социума, полной модернизации литературы и искусства, то есть всего духовного, и сколь ни велика была пронизанная национальным духом классическая грузинская литература, стоящего у врат поэзии юношу неудержимо влекли к себе беспредельные духовные просторы.

«Призрачному существованию Грузии присланы мы, поновому озаренные, и обучаем разучившийся мечтать народ будущему пути к голубому храму... Ночными дорогами шли мы, дабы зажечь солнце-костер для успокоенной тишиной страны». По мысли авторов, тогдашнему искусству Грузии нужен был «смелый художник, который в сердце носит печаль, а голова освещена глубокой и широкой мыслью». Примечательно, что Георгий Леонидзе официально сблизился с группой «голубороговцев» в 1918 году. Однако символизм не был единственным модернистским направлением, и с десятых годов в грузинской литературе под влиянием Европы или России задул приятный ветерок импрессионизма, экспрессионизма и футуризма... Впрочем, что симптоматично, особо поэтически одаренные были увлечены именно символизмом. Можно смело сказать, что большинство из них стали класси-

ками грузинской литературы...

«Голубороговцев» символизм привлекал не только внешним блеском, их пленяли внутренние чары этой школы, манила та волшебная сила необычайного познания явлений и преобразования впечатлений, в которой мощно пульсировали богатство тайного значения слова, цвета, музыкального звука, неограниченные пространства воображения и бесконечности поэтических возможностей.

Наверное, и то важно, что молодой Георгий Леонидзе не следовал покорно заранее определенным схемам, подобно некоторым собратьям по перу... Его аналитический ум правильно оценил бессмертные традиции грузинской классической поэзии, осознал необходимость творческого их осмысления. Традиции и жажда внутреннего обновления с необычными результатами духовной гармонии дали второе дыхание стоящей у пропасти эпигонства грузинской поэзии. В этом смысле «голубороговцы» сыграли эпохальную роль...

Из грузинских символистов Георгий Леонидзе с творческой точки зрения менее других испытал влияние новой школы. Даже в символический период для него характерны национальный колорит, предельный свет и прозрачность.

Это своеобразие Георгия Леонидзе первым заметил Паоло Яшвили в 1919 году в посвященном другу стихотворении.

Раннему творчеству Георгия Леонидзе присущи определенное раздвоение, единство традиций символизма и глубокой национальной литературы. Яркое подтверждение тому опубликованное в газете «Бахтриони» (№ 10 1922 года) эссе «Илья Чавчавадзе», в котором содержатся две противоположные, казалось бы исключающие друг друга концепции. Вначале автор, рассматривая поэзию Ильи Чавчавадзе, критикует его мастерство, считает его стихи вытесанными грубым топором. По мнению автора, стихи Ильи утомляют читателя, не интересны ему. В этом рассуждении Георгий Леонидзе – типичный выразитель настроения «голубороговцев». Эстетизм, курение фимиама чистому искусству – вот, как будто, что является для него главным.

Но во второй части эссе рассуждения принимают иной характер. «Внутренний голос» как бы открывает поэту глаза: Илья Чавчавадзе – великий гражданин, патриот и общественный деятель, достойный поклонения. Эта мысль постепенно утверждается и становится главной. Квинтэссенция статьи – Илья Чавчавадзе – писатель, который не мыслится без своей колоссальной гражданственности...

\* \* \*

Философия служения народу, свойственная Илье Чавчавадзе, стала правилом творческой и личной жизни Георгия Леонидзе. Начиная с 1912 года, наряду со стихами, он публикует в грузинской периодической печати исторические, искусствоведческие, литературные и публицистические статьи... Его беспокоит боль страны, ее разрушенные церкви и монастыри, он рассказывает истории их построения и «жизни», намечает пути их восстановления и спасения. В этих работах еще юного Гоглы уже проявляются мысли умудренного жизнью человека, в них чувствуется неутомимое желание нащупать будущие пути развития нации. Все это рождает у современного исследователя сомнение – неужели юный Гогла был действительно автором этих статей, подписанных его фамилией или псевдонимом. Псевдонимом, который давно уже раскрыт самим поэтом или его современниками.

В 1964 году в газете «Литературули Сакартвелო» профессор Иосиф Лордкипанидзе опубликовал статью, в которой говорится, что автор по просьбе поэта специально изучил соответствующие документальные материалы и пришел к выводу, что Георгий Леонидзе родился в 1897 году.

После этой статьи дату рождения Георгия Леонидзе никто не оспаривал. Мне же показалось странным следующее – исследователь приступил к работе по просьбе поэта – именно в этом заключена сакральная тайна... Быть может, сам поэт удивился собственным записям, сделанным в столь юном возрасте... Быть может, и его приятно удивляли глубина чув-

ств и необычная основательность мысли, возникавшие в сердце и уме еще якобы незрелого парня.

\* \* \*

Подобно творчеству других крупных представителей советской литературы, поэзия Георгия Леонидзе также испытала на себе регламентации тогдашнего господствовавшего во всем идеологического диктата, хотя выходящая под его редакторством газета «Бахтриони» настойчиво стремится подчинить художественно-идейные принципы грузинской литературы национальным интересам. Ему принадлежат слова: «...как цитадель национального творчества, взята поэма Важа Пшавела «Бахтриони»; это позиция национальной культуры и творчества...» Примечательно, что в созданных под прессом «социалистической идеологии» некоторых его стихах достаточно убрать отмеченные штампованной патетикой строки, как перед нами засверкают подлинные шедевры.

\* \* \*

Поэзия Георгия Леонидзе соткана из огненных импульсов: извлеченные из богатейших недр грузинского языка особенно «породистые» слова полностью околдовывают читателя, волнуют, увлекают его в загадочный мир поэтических настроений... Музыка, живопись, пластика или мотивация здесь чрезвычайно резки, возвышенны, императивны, а поза, жест, мимика самого лирического героя аристократичны...

Поэт как бы рисует на огромном полотне панораму Грузии – от ее возникновения и по сегодняшней день. На этом полотне – Уджарма и Горийская крепость, дворец царя Ираклия, красивые вечера Греми и Алаверди, чудесные сады Картли...

Под его пером оживает карачохели с его беззаботностью и небрежностью... А как интересны образы в сонете, посвященном грузинским гусарам. «С веером сабли промчитесь

вы мимо дремлющего халифа», – писал он и мнил себя среди гусаров, выступивших в поход ради спасения Родины... В стихотворении «26 мая», посвященном празднику свободы, он верит, что сей сакральный день, освещенный блеском призрака Картлоса и мелькнувший образом Горгасали, обещает много удивительного не только ему, но и всей Грузии. Наверно, пророчество, что мощно билось в этом стихотворении, сблизало поэта с дельфийским оракулом. «Будешь играть кровавой душой в померанцевой долине, пьяная Саломея настаивает, чтоб ваши головы лежали на тарелке», – писал он в 1918 году, неосознанно пророчествуя трагедию, случившуюся с грузинской гвардией.

Стихотворение «Сумерки Лочины» бесспорно реминисценция тех скорбных дней, когда Красная Армия в Лочинском овраге и Табахмела поставила виселицы, чтобы задушить свободу Грузии.

В поэзии Георгия Леонидзе представлен общекавказский мир, тот аромат этнокультурного пространства, который с древнейших времен так характерен для грузинской духовности. Хазария, Дарьял, Дагестан и другие здесь так двигаются и бьются, как части души грузина, ингредиенты его крови и плоти... Дерзкие хазары или кипчаки – это мы сами, они вошли в нас, а мы в них – такова формула бурных переживаний поэта... Кровь кипчаков течет по жилам поэта, и он видит их, спящих в курганах, с подседельниками под головами. Подковы их ржущих коней никогда уже не осветят Дарьял. Кипчак – герой и гибнет как герой за любовь. Он до конца воюет за женщину и даже через тысячу лет проверяет оружие для боя за недоступную или несбывшуюся любовь.

В патетических стихах Георгия Леонидзе звучит трагический возглас или горестное стенание. Нередко стих – это обнадеживающее восклицание, мужественное, зычное, поразительно грузинское. Это пронизанная духом традиционности необыкновенная песня свободной воли.

Наверно, редко кому из грузинских поэтов удавалось охватить национальную тематику столь полно, как Георгию


Леонидзе. Из грузинских поэтов XX столетия только Ладо Асатиани и Георгий Леонидзе пытались оживить бессмертные фрагменты «Картлис цховреба», только в их строках реализовывалась удивительная слитность документального и художественного начал. В их творчестве возникает невероятно впечатляющая панорама исторических хроник. И мы словно бы видим всю напряженность и трагизм кошмарных исторических эпизодов, настолько могуча сила реминисценций и настолько значительна сфера их влияния, что даже любовное потрясение несет в себе силу сабли Тамерлана. «Как сабля, братья, Тамерлана, на меня так налетала любовь», – говорит загоревшийся страстью поэт...

Уникальны молитвы о Родине Георгия Леонидзе...

Он был из того экзальтированного рода, представители которого больше всего верили «в породу тигра и в породу сабли», для которых существовал день рождения и день смерти, которые самозабвенно поклонялись книге «Витязь в тигровой шкуре», благодаря ей побеждая смерть... Ибо это была для них не просто книга, а и полководец, и богатство всей нации, ни один жаждущий крови завоеватель так и не сумел ее отнять. Ибо это богатство хранилось в крыле орла и зажигало огонь в избе крестьянина. Книгу не могли одолеть ни пожары, ни бури, она была вечной молодостью народа, чья жизнь никогда не заканчивалась. Эта книга давалась в приданое от матери, как и сабля со щитом – от отца...

\* \* \*

Известно, что в 10-х годах XX века два резко выраженных концептуальных направления грузинской поэзии – классика и авангард – противостояли друг другу. Примечательно, что для последнего тема Тбилиси с панегириком карачохели и кинто мыслилась анахронизмом. Тема Гришашвили и Шаншиашвили... Правда, Георгий Леонидзе считался «голуборовцем», но эта тема – традиционные мотивы Саят-Новы и Иэтима Гурджи – его сильно увлекала и, надо сказать, он был виртуозом в области преобразования в поэзию данного



тематического пространства. Он поднимал до высокого искусства те словно бы одиозные и земные «душевные» аксессуары, которые самостоятельно не представляли никакой эстетической ценности.

Тбилиси Георгия Леонидзе не похож на гришашвилевский. Он извлечен из праисторических, библейских глубин...

Иногда поэт словно бы деликатно оправдывался перед собратьями по перу за увлечение этой темой, хотя уйти от нее не мог и все больше «погружался» в бездонную глубину одурманивающего колорита города. Для него Тбилиси был город, спасшийся от библейского потопа, где даже простые плотовщики были наделены Богом силой, необходимой для спасения страны. Его четверо плотовщиков на плоте – своеобразном грузинском натюрморте – предстают как библейские персонажи.

Тбилиси Георгия Леонидзе обладает двойной душой – библейской и богемной... Пиросмани, Саят-Нова, Иэтим Гурджи его жемчужины, к которым у него совершенно особая любовь.

И наконец, самый дорогой мотив творчества поэта – мотив благородной и возвышенной любви...

Изящная беседа поэта с дорогими сердцу госпожами. Сакральные имена – Маико, Манана, Саломе, Нино – вечно горящими звездами сверкают в гениальных видениях поэта... Они живут, как конкретные личности.

Маленькое стихотворение, посвященное Нино Чавчавадзе, – лирический медальон, с благоговением отданный несравненной красавице поэтом, потерявшим покой и превратившимся в вечно возлюбленного.

В лирике Георгия Леонидзе отразились страсти великого художника, где все эмпирическое и неэмпирическое превращается в объект нового философского познания...

**«ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ» – РОМАН**

Передо мной книга с пожелтевшими страницами, давно прочитанная, и тем не менее новая – Георгий Леонидзе, «Древо желания».

Там же приписка: «отроческие воспоминания». Похоже, поэт не совсем ясно понимал ценность своей новой книги, значительность «переселения» в новый жанр. Воспоминания и больше ничего? Неужели он не почувствовал, что у него получилось, что в эту, на первый взгляд, непретенциозную книгу вошло нечто более важное, более возвышенное и вечное, чем основанные на отроческих воспоминаниях записи? Нет, он не мог не знать этого!

И все же – «отроческие воспоминания».

А между тем автор явно колебался – к какому жанру отнести свою книгу. Первая часть ее – «В тени родных деревьев», словно бы подтверждает эти сомнения. Мы как бы слышим его взволнованное дыхание – из-под пера рождается новый художественный мир... Что это за книга, восклицает он и ищет слово, эпитет, сравнение, чтобы в конце концов найти точное определение ей. Эта маленькая книга – мои отроческие воспоминания об увиденном и пережитом в грузинском селе, говорит он. Хочу, мол, предложить ее читателю, как лоток или плетенку с фруктами, поделиться с ним этими дарами. Все здесь сказанное, говорит он, выжато из ясного весеннего утра, найдено в синеглазых фиалках...

И наконец сожаление: книгу пришлось писать быстро, всего за несколько месяцев.

Видимо, он действительно спешил. Вскоре после завершения работы над книгой его не стало.

Не знаю, как другим, но мне, как читателю, кажется, что эти скромные, «отроческие воспоминания», эти поиски жанра,



этом «лоток с фруктами» – всего лишь прием, «одеяние» широко распространенного в литературе традиционного начала или пролога.

Тот, кто написал эту книгу, прекрасно знал цену собственному «Древу желания».

Если поселить все многочисленные персонажи книги в одной большой деревне, можно узреть контуры романа. Не ограничь себя писатель подсознательно «отроческими воспоминаниями», он имел бы явную возможность создать исключительно своеобразный и колоритный роман. Стоит объединить в нашем воображении все эти жемчужины – рассказы, миниатюры, воспоминания – в одну цельную художественную ткань, возвести единую декорацию, где персонажи разыграют горемычную и злосчастную драму своей жизни, вспомнить, что роман – это прежде всего ярко, талантливо воссозданные образы людей, до которых, казалось, можно дотронуться, взглядеться в их души, как воспоминания писателя вдруг становятся нашими собственными воспоминаниями. Да, мы давно знакомы с этими людьми, они жили рядом с нами, со временем их образы стерлись, поблекли, но никак не исчезли из нашей памяти. Мы не успокоимся до тех пор, пока не воскресим эти призраки, вновь не вдохнем в них жизнь, но уже в другой действительности – художественной, на страницах книги, которую по собственной воле назвали мы «Древо желания», ибо думали, что пафос этого маленького рассказа («Древо желания» всего лишь небольшая часть книги) наиболее точно выражает пафос всего произведения. Это уже наш мир – единый и неделимый. Пусть не смущают вас щедро разбросанные подзаголовки и то, что в каждой новой части появляется новый персонаж. Они так не похожи друг на друга, но все находятся в одном общем течении, одном русле книги. Течение несет и будет нести их, пока не выбросит на какой-либо берег, пока они не истратят все силы и не покорятся той высшей воле, что распоряжается жизнью людей. И это течение напоминает нам течение романа,

который, даже будучи многосторонне разветвленным (у романа есть на это право), все же имеет основное русло и основную цель.

Нам остается признать, что «Древо желаний» ни в коей мере не является обычным сборником рассказов, хотя большинство из них выглядят вполне законченными произведениями, точнее, были бы самостоятельными рассказами, не явись они частью «Древа желаний». «Древо желаний» – единая книга и, может быть, не так уж неубедительно это сочетание – роман «Древо желаний»? Возможно, мы недалеки от истины?

Собранные в книге небольшие рассказы объединяет место действия – деревня. Здесь разыгрываются большие страсти и большие печали, здесь протекает скромная и тихая жизнь героев, которая лишь внешне кажется скромной, а на самом деле исполнена муки и горя всего мира. Тут рождаются сравнения, шутки, крылатые слова, которые и впрямь появляются сами по себе и равных которым трудно найти. Действительно, откуда у этого народа время или охота искать слово, думать о его красоте, блеске сравнения или безобидной шутке? Все идет от предков, все питает древняя земля-матушка, и слово стало оружием, в нужное время применяемым.

«Древо желаний» – возвращение призраков прошлого. Ушедшие друг за другом, они появляются из тумана памяти, чтобы разыграть свою горестную и тяжкую жизнь. Вот они – в платках, ситцевых платьях, лаптях, тулупах, без сожаления оставившие колыбели и прялки, огороды и пекарни, виноградники и поля, изнуренные безбожным трудом люди. Нам дано увидеть каждого из них, точнее, их конец, осень их жизни. Они предстают перед нами уже пожившими людьми. За спиной у них прошлое, с помощью двух-трех штрихов писатель обрисовывает его или вовсе не говорит о нем, но их сегодняшний день так живо восстанавливает прошлое, словно вся жизнь персонажей разворачивалась на наших глазах. Мы

знаем, как они жили до тех пор, пока стали персонажами книги. А теперь они доживают свои последние дни, поэтому конец каждой новеллы неизбежен: в конце придет смерть, все закончится смертью.

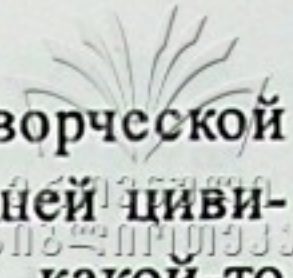
Мир персонажей «Древа желания» многообразен, каждый умирает по-своему. Остается лишь сказать, что смерть – один из главных персонажей этой книги, неотъемлемый от жизни.

Герои идут по дороге жизни навстречу смерти, постепенно теряя жизненные силы, как солнце, заходящее за горизонт.

\* \* \*

Что заставило пожилого поэта, автора блестящих стихов, исполненных внутренней энергии поэм, взяться за прозу? Такое часто происходит в литературе, но обычно автор бывает еще молод, и у него все, как говорится, впереди. Случается, автор просто находит себя в другом жанре. Георгию Леонидзе не надо было искать себя. Его поэзия свидетельствовала о том, какой это большой художник. Возможно, время, полное катаклизмов, подсказало ему поменять жанр? Это ведь были шестидесятые годы, годы резкой переоценки ценностей?

Проза Леонидзе полна высшего вдохновения, заряжена творческой страстью. Она воистину рождена временем, и это время непременно должно было прийти. Потому Георгий Леонидзе немыслим без «Древа желания». Не было бы «Древа желания», мы, да и автор, лишились бы чего-то значительного. Эта книга – плод яростной творческой энергии, и эту энергию обязательно следовало излить, причем на склоне жизни. Возможно потому автору пришлось писать быстро, в чем он и сознается читателю? Возможно, его беспокойная душа интуитивно чувствовала близость смерти? Думаю, что необязательно отвечать на эти вопросы. Имеет значение лишь то, что грузинский читатель получил книгу, которая называется «Древо желания», и как хорошо, что Бог не оставил нас без этой книги.



Любая книга, чье рождение обусловлено творческой мощью нашего народа, уровнем и возрастом нашей цивилизации, непременно явится на свет. И если по какой-то объективной или субъективной причине тот или иной автор не смог создать ее, придет другой, который сделает это за него. Литература передается по наследству. Она не возникает на пустом месте. Каждая книга имеет предшественников и потомков. «Древо желания» – наследник великих предков, в его жилах кипит кровь предшествующих поколений.

А потомки?

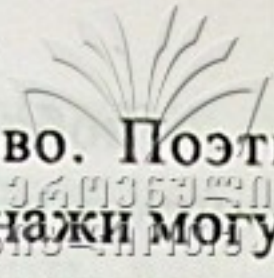
Сколько же времени прошло после написания этой книги? Потомки обязательно объявятся.

О потомках будут говорить, когда время отведет всем надлежащие им места, и наследники соединятся с «призраками прошлого».

«Древо желания» создано рукой мастера, который шел сам не зная куда, и, доверившись своей богатейшей интуиции, ваял и ваял множество образов, тысячи деталей, которые переполнили эту небольшую книгу... Она не походит на дом, на строительство которого израсходовали последний кирпич, последнюю черепицу. Здесь накопилось столько кирпичей, черепиц и извести, что можно построить и другие дома. И сам мастер не устал, победоносно смотрит на нас и говорит – вот сколько я могу сделать. Здесь все как будто происходит само по себе, ничего заранее обдуманного и целенаправленного в области формы как бы нет. Течет в половодье Иори и несет камни, заливают прибрежные рощи, проникая в сады и оставляя там сытный ил. Никакие дамбы не могут остановить эту реку. Ее надо отпустить на волю, пусть гуляет сама по себе, ей надо довериться и наблюдать за ней то с восхищением, то с ужасом – чем закончится этот паводок, что отнимет у нас река, что оставит.

\* \* \*

Смерть в этой книге естественный конец жизни персонажей. Случайно тут никто не умирает. Но раз жили эти люди



по-разному, то и смерть приходит неодинаково. Поэты умирают «поэтически», мрачные, угрюмые персонажи могут оставить жалость в сердцах людей, но природа равнодушна к их смерти.

Что значит поэтическая смерть? Не искусственна ли эта поэтичность там, где должна царить печаль, вызванная уходом человека? И не каприз ли это писателя, когда персонаж, хочешь не хочешь, умирает под расцветшим деревом? Сила таланта Георгия Леонидзе и здесь убеждает нас – все происходит именно так, как следует. Писатель ничего не придумал. А собственно, зачем ему было сочинять? Разве мало людей умирает именно в то время, когда поют птицы?

В книге смерть не является трагическим актом. Смерть естественное и, если можно так сказать, простое завершение жизни, которую прожил человек. Здесь не смерть трудна, а сама жизнь, и трагизм присутствует в большей степени в ежедневном быту, нежели в минуты кончины. Более того, персонажи этой книги ожидают смерть как спасение, как избавление.

Отношение деревни к смерти человека различное. Люди не похожи друг на друга, есть злопыхатели, есть жестокие и кровожадные типы. Для любви мало у кого остается время. Во всей книге всего две любовные истории.

Деревня собственной рукой убивает красоту («Марита») и только потом осознает свою бесчеловечность и беспощадность. Грешен в этом деле якобы защитник совести, самозванный судья и покровитель деревни Цицикоре. Вина Мариты в том, что она любила Гедиа, а ее отдали за Шете, ибо Гедиа – простой парень, Шете же – владелец овец, богач. Деревне показалось, что Марита изменила совести предков, вновь встретившись со своим возлюбленным. По мнению деревни, головной платок женщина носит не ради тепла, а ради совести. Деревня опозорила Мариту, посадила задом наперед на осла, провезла на глазах у всех по проселочной дороге. В тот день Марита умерла для села. И именно после

смерти произошло то, что должно было произойти: луч красоты и безгрешности Мариты вдруг озарил почерневшую душу деревни. Узнав о ее смерти, согрешившее село испытало большую боль. Весь год не шел дождь, сгорели поля, засохли виноградники.

Смерть Мариты приобретает почти космическое значение.

Народ своей жестокостью уничтожил чистую красоту, и народ же оплакал ее гибель, потому что он способен и на то и на другое. Жизнь безжалостна, рядом с добротой соседствует вероломство. Люди порой смеются над чужим несчастьем, а порой плачут горячими слезами. Величие жизни все-таки — в прошлом. Там остались герои, достойные прославления. В этом брэнном мире течет тусклая смиренная жизнь. Но ведь Цицикоре — это прошлое, жестокий его пережиток. Его наставлениям никто не верит, однако его боятся. Мораль Цицикоре не соответствует жизни, эта мораль устарела, обратилась в прах, а новой нет. Поэтому старик и не понял красоты и духовной чистоты Мариты. Он не только не сдержал гнев деревни, он натравил озверевших людей на молодую женщину.

Смерть к Цицикоре пришла так, как должна была прийти. Его уже никто не боится. Ему никто не верит. Его не приглашают, не учатся у него уму-разуму. И главное — в ночь смерти Цицикоре не падали звезды, не шумели необычно воды, не завывал ветер, как бывает, по народному поверью, во время смерти особенного человека. Даже собаки не завывали ночью, ничего подобного не произошло.

\* \* \*

Деревня, где живут персонажи «Древа желания», окутана туманом, неподвижна, неприглядна. Она бедна, исключение составляют несколько богачеев. Но все жители — будь то мечтатели или работяги — люди земли, выращивающие хлеб. Из «бездарной действительности» писатель должен создать

новую художественную реальность. В этой серой, застойной, на первый взгляд, жизни надо увидеть скрытый живой поток, беспокойную душу, мечтательное сердце... Мы приближаемся к месту, где собираются персонажи... Это уже наша деревня. Нас вдруг поражает разнообразие характеров ее жителей... Оказывается, эта большая, одетая в серые лохмотья деревня вовсе не однолика. Люди вовсе не походят друг на друга ни разговорами, ни характерами. У каждого свой удел, свой путь на большой дороге жизни...

Страшным оказался ежедневный быт, трагическим. Если бы не этот трагизм, вряд ли нас покорили бы персонажи «Древа...». Если бы не тихая, скрытая или явная их борьба с каждодневностью, отражение жизненных ударов – этих людей нельзя было бы назвать героями. Мечтатель Элиоз – герой, всю свою жизнь он стремится к одной высокой цели. И в этом стремлении героически погибает в возвышенной, поэтической обстановке.

Жизнь героев «Древа желания» тяжела, но не лишена красоты. Они знают, стоило родиться, но не для того, чтобы ждать смерти, а для того, чтобы почувствовать трагичность ведущего к ней пути. По большей части они одиноки, в одиночестве тянут свою лямку. Приспособившись к обстоятельствам, как бы читают в невидимой книге, заранее зная, где что случится, когда и как они согрешат, где искать спасения, а где покориться неизбежному концу.

Они прожили свою жизнь, и ничто им не было чуждо – ни добро, ни зло.

Их одиночество – это одиночество людей, все видевших и переживших.

Я люблю идиоматический язык «Древа желания», изысканную, рафинированную, поэтическую фразу, страстную жажду слова и постоянную охоту за ним. Новые композиты и освещенные новым светом старые слова.

Язык персонажей «Древа желания» насыщен острыми сравнениями и возвышенными метафорами. Вырвите эти

слова из книги, и вам трудно будет кого-либо убедить в том, что кто-то может вести беседу, так «орнаментируя» язык. К тому же ведь эти персонажи – пахари, пастухи, виноградари, люди земли. Но в художественной ткани эти реплики и поэтические «монологи» – на своих местах. Мы должны принять такой диалог персонажей, должны поверить, что там где-то – в Шатровани или Нишардзеули – именно так и говорят. Ибо другого выхода у нас нет – писатель не дает нам иной возможности. Любые «орнаменты» в языковой ткани рассказа в силу какого-то волшебства приобретают исключительную простоту и естественность. Даже самые «земные» герои – Чирики и Чикотели – говорят поэтическим языком.

У Георгия Леонидзе – особое отношение к слову. Создается впечатление, что слова, употребляемые им, до сих пор не существовали, и автор ни у кого не мог заимствовать их. Они словно бы сами родились.

«Поэты – это не только те, кто пишет на бумаге рифмы, – у многих на этой земле есть поэтический взгляд, сердце и великая мечта!»

Эта фраза – венец книги. Ради нее и написано «Древо желания». Мы должны встретиться с Элефтером, но до того перед нами прошагают лучащиеся поэтической мечтой элиозы – два разных мира, но волею Всевышнего они не могут существовать друг без друга.


«Древо желания» – прошлое, точнее – вечность прошлого. Писатель удачно ухватился за проблеск вечности и нашел то, что не нашел мечтатель Элиоз. Нашел «Древо желания», а это дано далеко не каждому.

Пройдет время, и художественные открытия книги, крылатые выражения, сравнения, сюжетные контуры обойдут многие прозаические произведения, промелькнут то здесь, то там, и их авторы будут уверены, что сами нашли этот клад.

Появятся и эпигоны. Эпигон напишет рассказ, а может, и роман, где, на первый взгляд, все будет на месте, но один недостаток все-таки найдется – книга не станет «Древом же-



лания».



Пройдет время, проза обновится, появится множество новых книг, и трудно будет установить их связь с «Древом желания». Создастся впечатление, что эти книги не имеют прошлого, что их ничто не питает, но это будет ошибочное представление. Хорошие книги не могут не быть связаны с «Древом желания» глубокими корнями, ибо новизна в литературе всегда опирается на прошлый опыт, на уже созданное, даже если она полностью отрицает прошлое. Подобное отрицание основы означает и ее признание. Несуществующее нельзя отрицать. Любую новизну порождает, наверное, «уже существующее», и она в долгу перед ним.

«Древо желания» – проявление большого таланта, который не пугала традиция и не сковывала новизна.

Здесь много традиционного и совершенно нового, что именуется современной прозой.

«Древо желания» – книга, которая пока не похожа ни на какую другую.

Ее большая внутренняя сила покоряет и пугает.

Книга заняла принадлежащее ей место. Это место ждало лишь ее, ждало давно. Никто другой не смел занять его...

Ушел из жизни Шота Нишнанидзе. Людям старшего поколения и сегодня кажется, что совсем недавно он еще считался молодым поэтом, овладевшим мастерством, чтящим великие традиции грузинской поэзии. В его творчестве никогда не было внешней, тем более показной дерзости, головокружительных рифм, вызывающих тропов и эпатазирующих эпитетов. Но для наблюдательного, серьезного читателя в его произведениях было много новизны, неповторимость стиля, художественные открытия, богатство никем еще не найденных красок.

Даже тех людей, кто просто пишет стихи, кое-как рифмует корявые строки, с грехом пополам соблюдает размеры, прибегает к смешноватым сравнениям, не так уж много. Тех, кто издает никому не нужные книги, и того меньше. А настоящих, божьей милостью поэтов чрезвычайно мало. И это естественно, и это правильно, и это прекрасно. Если бы золотые слитки лежали под каждым забором, они перестали бы быть драгоценным металлом.

Существует такой закон. Значение истинно талантливого человека всегда недооценивают, а сомнительно одаренного зачастую переоценивают. Причины здесь почти одни и те же. В жанре некролога, как правило, не дается объективной оценки творчества.

Шота Нишнанидзе не нуждается ни в каких похвалах. Его стихи – настоящая поэзия и это единственная похвала, достойная поэта.

В одном стихотворении Шота Нишнанидзе пишет: «Я благодарен этой красоте, этому несчастливому счастью».

Красота относится к миру, природе, а несчастливое счастье – это, естественно, скоротечная жизнь. Но счастье в ней все-таки есть.

\* \* \*

И страх и горечь одолеть не просто:  
В тени, а вовсе не под солнцем славы,  
Я подрастал так долго, Боже правый,  
Что не заметил собственного роста.

Благодарю, судьба. Достойней доли  
Не пожелаю, лучшего не надо:  
Я не играл трагические роли,  
И мне чужда любая клоунада.

Но если ждать бесплодия осталось,  
О, Господи, пусть повторится действие –  
Пошли рабу замедленную старость,  
Незримую и тихую, как детство.

\* \* \*

Охотничья страсть  
Неожиданно мной овладела,  
Как будто мне свыше  
Старинную песню пропели.  
Пустынник и книжник,  
Забывший ничтожное тело,  
Теперь оставляю  
Листы пожелтевшие в келье.  
Кипчак разъяренный, –  
С вершины низринусь в долины.  
Что свист соколиный,  
Домчусь до любого предела.

Настигну добычу,  
Как проливень неумолимый:  
Охотничья страсть  
Неожиданно мной овладела!



\* \* \*

Те, кто любимы, те, кто любил меня, —  
Спят беспробудно в каменной глубине.  
Те, кому нравился, те, кто нравился мне, —  
Изредка вспомнят меня у иного огня.

Весны мои отлетели на крыльях дроздов,  
И посещение прежде знакомых мест  
Стало желанным: только взгляну окрест —  
От подступившей боли стонать готов.

Чувство такое — неведомое дотоль, —  
Словно бывшее вновь отгоняет мрак.  
Горечь лекарства душу врачует так,  
Новою болью так заглушают боль.

\* \* \*

О, зависть и злоба,  
Они — вездесущая сила:  
От них не укроют  
Ни дом, ни строка, что отрыта,  
Подобно окопу.  
Одна остается защита —  
Последний окоп и надежда —  
Сырая могила.

## НЕМУЖЕСТВЕННЫЙ СТИХ



Господи, если ты любишь меня,  
Лучше убей во сне,  
Чтобы узнать не случилось мне  
Черных мгновений смерти.  
Лучше не видеть мне нового дня.  
Так и закончится все для меня  
Или... начнется на свете.

## ПЛАЧ ХАЙЯМА

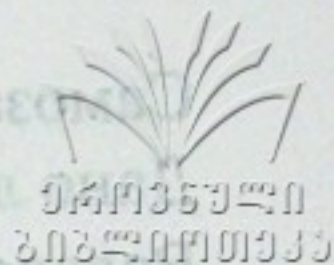
Влекумы мы какою долей злою?  
Кто мы? Где мы?  
Пред небом и Землею  
Теперь поврозь, поврозь скорбим во мгле:  
Я – на земле, увы,  
А ты, увы, – в земле!

## НА АЧИСЦКАЛИ

Прохлада ниспадающей реки –  
Продлись навеки благодать такая! –  
По мне скользят холодные мальки,  
Усач с небес свергается, сверкая.

Скорей под солнце! Лечь на валуне.  
Лицо – в тени орешины, в прохладе.  
Когда бы здесь приют нашелся мне,  
В Тбилиси ехать – да чего бы ради?!

\* \* \*



Счастье рядом пролетело:  
Неожиданно близка,  
Тронула прической ухо,  
Шепотком коснулась слуха.  
Счастье рядом просвистело,  
Точно пуля у виска.

*Перевод Яна ГОЛЬЦМАНА*

## ТРУБНЫЙ ГЛАС

*Исповедь перед Судным днем*

Когда настанет Судный день вслед за ночным  
беззвездьем,  
Меня никто не защитит от страшного возмездья.

Зачин трубы утяжелят набатные раскаты.  
Направят копья в спину мне архангелы-гонцы.  
Угрюмые лжедолжности свидетелей расплаты  
Займут без промедления чумные лжепевцы.

Завет скрижальный «не убий» я исподволь нарушил.  
По горло накрепко увяз в трясинной мгле греха.  
Пора признаться, что не раз завистливые души  
Пронзала строчка моего бедового стиха.

Я никогда не походил ни на прелюбодея,  
Ни на того, кого минул крутой любовный раж.  
Быть может добрый мой Господь по-свойски  
порадеет  
И не поставит мне в вину любовь как злую блажь.

Самозабвенно я не лгал. Но в жизни безобманной  
Дано ли дружбу сохранить, расправиться с врагом,  
Взлелеять трепетный восторг избранницы желанной,  
Велеречивостью блистать за трапезным столом?!

«Не укради...» (Как нелегко противиться соблазну.)  
Напрасно Музу подстрекал двуликий херувим.  
Судьбой и книгами клянусь: среди воришек разных  
Я не робел, но свой кусок предпочитал другим.

.....  
Взлетает солнце по утрам в тревожном гуле меди.  
Ущербный месяц над землей трубит в сигнальный рог.  
Что жизнь?.. Цветок и шум дождя... И скромное  
наследье, —  
Кроме стихов, я ничего оставить вам не смог.

*Перевод Вахтанга БУАЧИДЗЕ*

**Лия СТУРУА**

## **ОЖИДАНИЕ**

Всю зиму деревья меня ненавидят.  
Напрасно я брежу зеленым теплом.  
Одна я. И сахара сладкий апломб  
Мне гадок, а соли святое наитье

Царапает горло. И слово гранитом  
Надгробным молчит. И пронизан мой дом  
Бессрочным туманом и ветренным льдом.  
В нем белый шаг мамы над вазой разбитой.



В нем тени другие, забытые мной,  
И черного города облик иной:  
По узенькой улочке, солнцем облитой,  
Идешь ты. И белый миндаль за спиной.

\* \* \*

Как сладок лени мед в конце войны!  
Им приправляю бархатную кашу  
Из молока и солнца в синей чаше  
Прозрачных сумерек моей вины.

И правду, горькую, как черствый хлеб,  
В ней размочив, старательно глотаю.  
И, онемев, отчаянно латаю  
Прорехами зияющий рассвет.

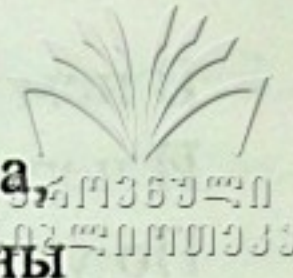
Но ваши похвалы – все та же брань.  
Бог мой, какая золотая грань  
Меня от прочих смертных отличает?

И вновь меня спасает терпкость чая –  
Овечий сыр, просоленный насквозь  
И «Витязь» мой при свете красных роз.

## СЛЕД ПОД ДОЖДЕМ

Просыпаюсь – на голову рушится дом.  
Паутинные дрязги. Хрустальные горки.  
Мой театр конца, мне немыслимо горько,  
Умерев, возвращаться в привычный Содом.





Кто меня навестит, нарушая обет?  
Кто захочет мой яд, игры в горле вулкана,  
Болтовней разноцветной прикрытые раны  
И несказанным словом горчащий обед?

Кому нужен зарезанной курицы зоб?  
Ничего не осталось. Лишь легкий озноб,  
Когда в сумрачном пепельном смоге

Надо мною твой образ встает, словно рок,  
И тоскующий взгляд, и последний упрек:  
Роза, выросшая на помойке.

## ГАМЛЕТ

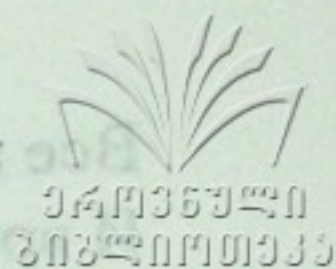
Как ветер в окнах голову морочил!  
Как пели нам цикады до утра.  
Все в прошлом. А сейчас – прожектора  
Не вырвут из кошмара дня и ночи.

Мне выбрали театр, эпоху, позу.  
Отчаяния маску – на века.  
Косится зло атласная щека.  
И принца речь таит в себе угрозу.

Но я должна любить его, пока  
Во мне моя наивность не остынет.  
Чтоб сорок тысяч братьев нам простили

Мое безумие и яд клинка.  
Что скрою я цветочками простыми?  
Кто мне поверит: зал или река?

## СОНЕТ В ЗЕРКАЛЕ



Стих – это не изображение жизни.  
Сонет – не очерк. Он, скорей, Нарцисс!  
Ему нужна река с течением вниз.  
И отражение – предтеча тризны.

К кому прикован насмерть ты любовью,  
Сонет мой? Чья коварная рука  
Невыносимый облик двойника  
Так утонченно заострила болью?

И, погубив, бессмертие дала.  
Кого скрывают гладью зеркала?  
Кто так прекрасно дик, так щедро вечен?

Скажи, чьи это худенькие плечи  
Противу мненья общего стоят?  
Храни нас Бог!.. Я вижу – это я.

*Перевод Марии ФАРГИ*

**Дато МАГРАДЗЕ**

## КАФЕ «Heineken»

В кафе темнеет. День скользит за облака,  
Дождь застирал до дыр афишу на фасаде.  
Миг одиночества, ты шел издалека,  
Входи и растворись в изысканном закате.

Все кануло – и ветер битвы, и набат,  
И время колокольню старенькую рушит.  
И где опора, где плечо твое, мой брат?  
Я в жертву превращен, себя обезоружив.



И сам себе кажусь я путником в степи,  
Шахин-Шахилом пред пиалой с шербетом,  
И виноградником, накрывшим плешь стропил,  
Довольным гаснущим, смягчающимся летом.

Где инея узор на треснутом стекле?  
Я вспоминаю скрип саней на повороте.  
Улыбка бармена: иному верить мне  
Иль показания вы прежние даете?

Врубают Хьюстон. Я свободнее дышу,  
Меню читаю, как возлюбленной посланье.  
Прощайте, братья!  
Бармен, будет пожеланье:  
«Кровавой Мери», но без крови попрошу.

## **ЖЕНЩИНА СО СТРАННОЙ ПРИЧЕСКОЙ И ПРОФИЛЕМ**

Как нежданна-негаданна  
Эта прическа с профилем.  
В янтаре словно спрятана  
Бледность, вечностью поймана.  
Промелькнул ожидания  
Векселек обналиченный.

Мастер звуков дрожание  
Красками закавычивал.

Трав ароматы щедрые...  
Всадники режут, хлыщут их,  
И забываю беды я,  
И богатею в нищенстве.

Падает небо древнее,  
Ноев ковчег колышется,  
Над мировой скверною  
Осью надежды высится.

Рельсы. Конвоя кители.  
Сон. Лепестки лавинами.  
С руганью у родителей  
Фото зачем-то вырвали.

Небеса закоптевшие,  
Тлеют леса, прострелены,  
Епитрахили, скрывшие  
Дух сенокоса летнего.

Иконостас покинутый  
Свечкой утешен, спутницей,  
Гаснет звезда, задвинута  
В лужу – творенье курицы.

Солнце спелыми нивами  
Платит за срок сияния.  
Вычел из жизни, милая,  
Я года ожидания.

Хлопья-алмазы – в лунную  
Пропась. Не счесть каратов.  
В ночь цыганскую буйную –  
Постук твоей кареты.

По сердцу ночка снежная,  
И хрипотца табачная,  
Пой же, чертовка грешная,  
Пой же, гадалка мрачная!

Что там? Печаль беспечная?  
Бодрость? Брось, обреченная.  
Шалым клеймом помечены  
Бденья мои по-черному.

На стене – ожидания  
Векселек обналиченный.  
Мастер звуков дрожание  
Красками возвеличивал.

Как нежданна-негаданна  
Женщина с прядью-лирою,  
Будто в небе распята она,  
Выпачканном порфириою.

Вазы цветочной трещина,  
Скупщика «Нет» холодное.  
Как ты нежданна, женщина  
С челкою сумасбродною.

Словно на свидание  
Нарядившись радостно,  
Небо дышит свежестью,  
Солнце входит в раж.  
Говорил бы так Хайям:  
– Наливайте дополна!  
Золота и рубай,  
Счастья – и шабаш!

Говорил бы так Хайям,  
Уловив байрама кайф –  
Загрустивший праздника  
Жаждет и фаты.  
Юноша с духанчиком,  
Важным, словно староста,  
Запросто усядутся –  
Кореша- кенты.

Но то время кануло,  
Как Семирамиды век,  
В ножны спрятан Бахуса  
Ятаган кривой.  
Говоря по совести,  
Не убудет от меня,  
Пить погода требует  
Вслед за тамадой!

Знаешь, и без выпивки  
В дамки я проследую.  
У барыг-курильщиков  
Так глаза пусты.



საქართველოს  
ლიტერატურის

Камышом поток порос,  
Вечер дарит голубей,  
И Хайяма пить зовут  
Кореша- кенты.

Теплый дождь напомним мне  
Звук шагов возлюбленной,  
Лужицею высохнет  
Смех любви былой.  
Жеребенком сказочным  
Снова дождик по сердцу  
Пробежит, исчезнув, как  
Облик чистый твой.

*Перевод Владимира САРИШВИЛИ*

Годердзи ЧОХЕЛИ

## ГРУСТНЫЕ РАССКАЗЫ

## УЧИТЕЛЬНИЦА ФИЗКУЛЬТУРЫ

Если я что-то и помню отчетливо, то благодаря цепкой детской памяти. Там, в детстве, остались мои светлые дни, мои первые цветы, появления которых я с таким нетерпением ждал по весне. И знаете, где они расцветали прежде всего, – возле могил моих дедушки и бабушки. И возле других могил, находящихся там же, – только-только просохших от снега тяжелых камней, то мшистых и угрюмых, а то почему-то блестящих, как голубая лилея, чистых, легких, словно бы невесомых и стыдливых от того, что им выпала участь могильных камней. Под этими угрюмыми и невесомыми камнями тоже лежали мои дедушки и бабушки, мои дяди, мои большие и маленькие мамиды\*, мои большие и маленькие двоюродные братья, мои тети, жены моих дядей – когда-то они росли в других селениях, потом стали невестками нашего села, прожили жизнь по нашим законам и обычаям, кто-то из них рано овдовел, но не сдался, осиротелую свою любовь укрыл в тайнике души, как укрывают золой уголье, чтобы сохранить его жар, и потужив, взял на себя тяжкое бремя жить и работать дальше, воспитал сирот, иных выдал замуж, иных женил, через всю жизнь пронес скрытое в тайнике сердца

---

\* Сестры отца.




осиротелое чувство, пока однажды не повстречался со смертью. И вот эта милая моя мужественная тетька (кто знает, сколько раз жизнь надрывала ей сердце, но она никогда никому не показывала этого) лежит здесь, под тяжелым камнем, и мы, ее внучатые племянники, я и мои маленькие двоюродные братья, бежим сейчас к этим камням. Пришла весна, и больше всего на свете нам хочется увидеть первый цветок, пробившийся на свет возле них. Мы ищем здесь цветы потому, что это место самое солнечное и снег здесь сходит раньше всего.

Зима была длинной и изнуряющей. Конечно, и в ней таилась своя красота и прелесть, она принесла нам, детям, много радости, но потом кошмаром обволокла землю, и кабы не весна, вовсе не собиралась освобождать ее. Да она и сейчас здесь, и не думает уходить, лишь на кладбище, на этом солнечном пригорке, чуть оробела и отступила, и мы бежим туда сломя голову, я и мои маленькие двоюродные братья. Мое село – одна большая семья, одна община, на всех – одна молельня, и все мы живем по законам этой общины и этой молельни. Рядом с молельней – общинная горка, здесь в праздники деканоз\* зажигает свечи, здесь же забивают скот, приносимый в жертву, и все от мала до велика преклоняют колени, отсюда уходят в армию мужчины, рожденные в селе. С этой горки деканоз, окончив молитву, трижды скатывает вниз маленького Чохели, после чего он и становится носителем этой фамилии, служителем фамильной молельни – это называется «приобщение к Образу». Тут же, на горке, стоят воткнутые в землю семь камней – гладких, прокоптелых от пламени свечей, символизирующих семь законов нашей общины. Они

---

\*Служитель образа (иконы) в некоторых районах горной Грузии.



клеймят позором тех, кто преступит эти законы, кто изменит чести и долгу нашего рода, нашему Образу, и знаете, кого порицает один из этих камней – невестку, которая, овдовев, бросит сирот и выйдет замуж во второй раз. Может быть, потому и старятся здесь мои тетушки – велика сила Образа, и один из камней общинной горки может прогневаться на них.

И все же весна берет свое.

Солнце заставило-таки ужасную зиму обнажить грудь.

И мы бежим туда.

И ничто не сравнится с тем чувством, которое завладевает тобой, когда после этой жуткой зимы ты натыкаешься на фиалку, взошедшую у могильного камня твоих дедушки или бабушки, дяди или мамиды, или же безвременно овдовевшей тети, жены твоего дяди.

Почему-то мне кажется, когда я попаду на тот свет, первыми меня там встретят мои вдовы тетушки с букетами фиалок в руках... А до той поры...

А до той поры я бегу через горный склон в школу. Внизу по щебнистому руслу через прибрежный лес мчится мутная Черная Арагви, подобно шаферу на адском коне. К одному из берегов Арагви вплотную подступает небольшой холм, за которым начинается поле, единственное ровное место во всем ущелье. На этом поле и стоит моя школа, двухэтажное строение с большим двором впереди, огороженным каменным забором. На первом этаже расположились классные комнаты. Деревянная лестница ведет на второй этаж, где находятся учительская, кабинет директора и кабинет географии и анатомии, с человеческим скелетом в углу и большими картами мира, развешанными по стенам. Эта комната внушает нам непонятный страх – на стенах континенты,

моря и океаны, большие и малые страны, реки, на столах – глобусы, которые можно заставить крутиться – это называется вращение Земли, и среди всего этого человеческий скелет с беспомощно висящими руками!

«Интересно, этот скелет и вправду человеческий?!»

«Если он и вправду человеческий, ведь на его могиле могла расцвести фиалка...»

«А может быть...» Неожиданно раздается звонок.

Звонок висит на втором этаже, в конце коридора. Я выбегаю из кабинета. Не приведи Господи, директор увидит! Похоже, его ничто не радует в этом мире. Он строгий, очень строгий, его побаиваются и ученики, и учителя. Учителя все – из равнинных мест, кто откуда. Мы дали им прозвища по предмету, который они преподают или по месту, откуда они родом. Учительницу русского языка мы зовем «Русула», химичку – «Туша», потому что она из Тушети. Все они какие-то странные. На уроке русского, например, достаточно начать заданное наизусть стихотворение бойкой скороговоркой, как «Русула» тут же останавливает ученика (который наверняка дальше и не потрудился выучить): – Садись, пять! Знаю, что знаешь! А вот меня она почему-то невзлюбила. Пока я не прочту стихотворение наизусть от начала до конца, при этом каким бы бойким не было начало, меня она никогда не остановит и тем более не скажет, что знает, что я знаю. А однажды, когда я выдал пушкинский стих без единой запинки, вlepила мне двойку.

– За что? – обиделся я.

– За то, что не знаешь.

– Как это не знаю, я ведь только что сказал его от начала до конца!

– То от начала до конца, а с конца до начала не знаешь!



– Что?!

– Прочти стихотворение от конца до начала, и я поставлю тебе хорошую отметку.

Я попытался было, но... Вот так сложились мои отношения с «Русулой».

Однажды весной у нас появилась высокая тучная женщина – учительница географии. Она обожала пение, просто с ума по нему сходила, чего не скажешь о географии. Если директора не было в школе (его частенько вызывали в районный центр, в отдел просвещения), учительница географии во время своего урока выводила нас во двор, расстилала на земле свое необъятное, подбитое ватой пальто, опускалась на него, рассаживала нас вокруг себя и заводила песню: «Цинцкаро-о, я прошла вдоль Цинцкаро-о...» При этом делала нам знак рукой, давайте, мол, подпевайте. Ну мы, разумеется, подпевали. Теперь вы имеете представление о моих географических познаниях. Когда я вижу на стене карту, мне так и хочется затянуть «Цинцкаро» или «Мравалжамиэр».

Чуть не забыл, наша «Русула», которая так придиралась ко мне, почему-то побаивалась своей коллеги «Туши» (они жили в одном доме) и, бывало, торжественно сообщала нам:

– Дети, хочу доверить вам одну тайну.

– Тайну?!

– Я знаю, когда умрет «Туша»!

– Когда?! – хором восклицали мы.

– Либо днем, либо ночью!

Ну что на это скажешь!

Однажды «Русула» купила новые сапоги, пришла в класс и пожаловалась нам: «Жмут, не знаю, что делать, если кто из вас придумает, как быть, чтобы не жали, пятерка обеспечена аж до самого восьмого класса» (наша

школа была восьмилеткой). Мы стали наперебой предлагать разные «рецепты». Я сказал: «Налейте в сапоги водку, они и расширятся». «Ты, видать, хочешь, чтобы я совсем не смогла ходить? Пока я здесь учительница, ты с двойкой не расстанешься!»

Я умолк.

Не знаю, чьему совету она последовала, но на следующий день «Русула» заявила в сапогах, переделанных в босоножки, и, похоже, была весьма довольна собой.

Тогда я учился то ли в пятом, то ли в шестом классе. А еще раньше, в третьем или четвертом, к нам из районного отдела просвещения прислали новую учительницу. Это было во времена коммунистов; окончивших институт распределяли кого куда – быть безработным не полагалось. Так появилась моя первая учительница физкультуры.

Это была средних лет женщина. Одна нога ее была короче другой сантиметров на двадцать. Приковыляла она, значит, спросила директора.

– Директор вот уже месяц, как болеет, – ответила завуч, – а что вам надо?

– Меня прислали к вам преподавать ботанику.

– Но у нас есть учительница ботаники, – завуч, прямо скажем, растерялась.

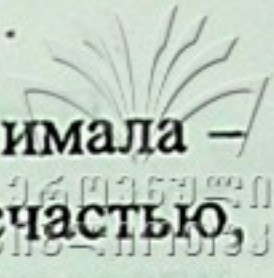
– Зачем же тогда меня распределили к вам? – грустно спросила женщина.

– Ладно, до возвращения директора что-нибудь придумаем, – пожалела ее завуч и повела в учительскую.

Бедняжка со своей укороченной ногой с трудом преодолела некрутую лестницу.

Ее назначили учительницей физкультуры.

Она проводила объединенные уроки в третьем и четвертом классах.



В физкультуре она, конечно, ничего не понимала — она ведь была специалистом по ботанике. К счастью, перед школой расстилалось широкое поле. Как только раздавался звонок, она с трудом спускалась по лестнице, выводила нас из классов, выстраивала по росту и говорила:

— Ну-ка, дети, внимание!

Мы вытягивались.

Она становилась впереди и приказывала:

— Следуйте за мной, дети! Делайте, как я!

И мы делали.

— Раз, два, раз, два! — громко, насколько могла, чеканила она.

И мы, учеников двадцать, хромая, обходили поле перед школой.

Это и были наши занятия физкультурой.

Пока не вышел на работу директор и не увидел, как двадцать его учащихся, ковыляя, маршируют по полю.

— Что эта дура делает? Что делает эта дура?! — закричал он из окна своего кабинета.

На его крик прибежала завуч.

— Что делает эта дура? — вопил директор.

— Проводит урок физкультуры, Георгиевич!

— Урок чего?

— Физкультуры!

— Кто она? Откуда взялась?

— Прислали из райотдела просвещения преподавать ботанику, но... До вашего прихода я временно назначила ее учительницей физкультуры.

— Немедленно убрать ее, убрать немедленно, пока она все Гудамакари не заставила хромать! — орал директор.

Урок физкультуры был сорван.

Потом нашей физкультурнице выделили два или три часа в неделю для преподавания ботаники в старших классах.

Был у меня дядя-вдовец, с трудом справлялся со своими сиротами. Он женился на ней.

Теперь мы уже вместе с ней ходили из деревни в школу.

Дорога шла вниз по склону, и спуск ей давался труднее, чем подъем.

Из уважения к ней мы, дети, вставали ни свет ни заря, чтобы вместе отшагать расстояние от дома до школы.

Тяжелее всего приходилось зимой.

На склоне был один лавиноопасный участок, и мы старались пройти его как можно скорее, чтобы не угодить в лавину.

Наша учительница, как могла, старалась не отставать от нас.

И вот однажды раздался чей-то крик:

— Скорее, лавина!

Сломав голову мы бросились бежать — лавина нас едва не накрыла. С каким-то ужасным шелестом пронеслась она за нашими спинами. Опасность миновала, но мы еще долго бежали без оглядки.

Потом наконец остановились. Перевели дух. Огляделись. И обрадовались, что все оказались на месте.

И вдруг растерянно стали переглядываться.

Нашей учительницы физкультуры, нашей тети Хохобы (так ее звали) не было среди нас.

Мы посмотрели назад.

Лавина, постепенно стихая, оседала в овраге.

В тот день мы не пошли в школу. Вернулись в село.

Ее нашли в полдень.

И теперь один из этих могильных камней, среди которых я и мои маленькие двоюродные братья ищем по весне фиалки, принадлежит Хохобе, моей первой учительнице физкультуры, моей тете.

И я очень надеюсь, во всяком случае почему-то мне так кажется, что когда я попаду на тот свет, первыми меня встретят мои вдовы тетушки с фиалками в руках, и среди них будет и она, Хохоба.

А до того сколько зим минует, сколько весен!

### ПЕЧАЛЬ КОСТЕЙ

Кто хоть раз был летом на Бурсачирском косогоре, может смело утверждать, что видел рай. Посреди склона грохочет река, по обеим ее сторонам – море самых различных цветов, а если идти вверх и вверх по склону, попадаешь в белое царство рододендронов. В котловинах между косогором и другими склонами отливают синевой маленькие озерца. С одной стороны косогора, почти упираясь острием в небо, возвышается утес. Он стоит мрачен и недвижим, в то время как все вокруг него брызжет жизнью: цветы, источники, ключи, бьющие из скалы, вороны – черные пятна на фоне прозрачно синего неба и орлы, цари-повелители подлунного мира. Внизу меж огромных камней несется река, время от времени она сдвигает их с места, как бы говоря, – не валяйтесь здесь без дела, шевелитесь, ведь вы на этом свете, а на этом свете все должно жить. И камни, похоже, внимают реке: перевернутся и застынут на месте, перевернутся и застынут на месте. Лишь утес замер в неподвижности, как будто нет у него никакой связи с жизнью. Словно стоит он лишь для того, чтобы указывать всем: это – земля, а



там – небо!

Ну и что?

Разве земля и небо – не одно целое? Кто разделил их?

– Тот, кто разделил жизнь и смерть, – говорит утес. Не говорит, конечно, а своей неподвижностью как бы свидетельствует об этом.

Под утесом в скале – перевал.

Через этот перевал и ходят путники, как ходили в незапамятные времена и, верно, будут ходить, пока стоит этот утес, пока на Бурсачирском косогоре не устанут распускаться цветы по весне.

Пришла весна, и расцвел Бурсачирский косогор.

Поет жизнь.

Все ликует вокруг.


Лишь на небольшом холме пониже перевала человеческие останки под огромным камнем источают грусть.

Эта могила – единственная в округе, одинокая, заброшенная, беспризорная. Никто не знает, чьи это останки, как звали их хозяина. Известно лишь, что это был путник, сорвавшийся с перевала, которого милосердные люди предали земле. Положили сверху этот огромный камень – единственный могильный камень на много верст вокруг. Земля под камнем осела с одной стороны, и оттуда белеют кости. Они смотрят так печально, что сердце невольно сжимается от боли, кажется, они взывают к тем, кто снаружи, о чем-то молят их.

Чьи они?

Куда он шел, этот человек? Где родился? И почему оказался в этой земле?

Наверное, у него были сестры, братья, они радовались друг другу, ведь их родила одна мать... Теперь уже и их, конечно, нет в живых. Останки их, верно, покоятся



где-то на одном кладбище, и только этот брат нашел свой вечный покой вдали от дома, где его так ждали. Может быть, эти печальные останки молят о том, чтобы их перенесли поближе к родным могилам. А может быть, судьба разбросала братьев и сестер по белу свету, и кости их лежат в земле вдали друг от друга, вдали от останков матери, которая их родила.

Разве поймешь что-нибудь в этом мире?! Вертится земля, вертится, а с нею вертимся и мы.

Земля вертится и цветет.

Цветет, и краше ее нет ничего на свете.

Она так же красива, как Бурсачирский косогор, покрытый узорами и шитьем из самых различных цветов, полный жизни, ликующий.

Ликующий и торжествующий.

Торжествующий, потому что жизнь вокруг бьет ключом.

Лишь кости, белеющие под одним из здешних камней, источают грусть, и сердце прохожего сжимается от боли... Но остается надежда, надежда на то, что Бог велик, и на том свете он соберет воедино всех братьев и сестер. Там же их встретит родная мать, и они возрадуются. Возрадуются, как радуется и цветет прекрасный, подобный раю, Бурсачирский косогор.

## Д Р А Н Г А Л А

*Моему брату Годердзи Марсагишвили посвящается*

Вы видели дэва?\*

Нет?!

Может быть, хотя бы слышали о нем?

---

\*Сказочный персонаж – рогатый волосатый великан, похожий на человека.

Тогда вы имеете представление о Дрангале.

Все его так зовут – Дрангала. Никто уже не помнит, как нарекли его родители, священник, крестный. Да он и сам этого не знает.

Дрангала и все тут.

Хлебнет «Жипитаури»\*, придет в хорошее расположение духа, сам, как дэв, и характером ему под стать – разбушует, и никому невдомек по какой причине, то ли из-за того, что прошло, то ли из-за того, что будет, а может, на жизнь вообще взъярится, идет, за ним пыль столбом, и ревет:

– Драмбоди! Драмбоди! Драмбоди!

Вокруг одни горы.

Высокие горы, как сам Дрангала, высокие. А он – между гор.

У него кончилось «Жипитаури» и он спешит к соседу: Драмбоди! Драмбоди! Драмбоди! Словно кроме этого слова ничего не знает. И слово это – его собственность. Никто другой не произнесет его – не имеет права.

Впрочем, кто знает, сколько у Дрангалы есть, что сказать, и он таит это в душе, прячет в сердце.

Может быть, горам известно его заветное.

Впрочем, эти же горы держат его, не пускают ни туда, ни сюда.

Вверху небо!

Внизу Дрангала сотрясает землю: Драмбоди! Драмбоди! Драмбоди!

Вокруг горы.

Дрангала – не сумасшедший, нет, и не какой-нибудь злодей.

Дрангала – пастух.

Другого такого пастуха во всем ущелье не сыскать.

---

\* Водка домашнего изготовления.



Дрангала – не злой.

У него нежное, как у зяблика, сердце, но когда требуется, он проявляет такую твердость духа, какая может быть разве только у этой отвесной скалы.

Зимой Дрангала уходит с отарами на зимние пастбища. В степях он тоскует по горам.

Под его присмотром ягнятся овцы.

Он заботится о ягнятах, как о своих детях, – подносит к матерям, дает сосать молоко, потом снова относит в ягнятник.

И когда Дарьяльским ущельем он вновь возвращается в горы, сердце его само исторгает: – Драмбоди! Драмбоди! Драмбоди!

– Дрангала идет! – горы раздвигаются в стороны, чтобы дать дорогу великану.

Перезимовавшие отары усеивают пастбища – вот праздник для него.

На склоне расцветают рододендроны – вот раздолье для него.

Время от времени с утесов срываются орлы и парят у него над головой.

К вечеру он скучивает овец в загонах, и сам устраивается на ночь тут же, поблизости.

В полночь к отаре подкрадывается бурый медведь, но собаки, почуяв его, с лаем бегут наперерез, а впереди собак – Дрангала.

Перепуганный насмерть медведь скрывается в зарослях рододендрона.

Дрангала души не чает в своей отаре.

У него и дети есть, и жена-красавица, и когда сменщик-пастух поднимается в горы, Дрангала спускается в село, по-своему приголубит домашних, хлебнет умиротворяющее душу «Жипитаури».

И захмелеет, конечно.

Так нагрузится, что горы начинают качаться.

И пока не придет его черед пастишить в горах, пьет, гуляет.

Вот и сейчас он идет к дому своего двоюродного брата, где надеется получить умиротворяющую душу и развеивающую тоску напиток. Идет и горланит: Драмбоди! Драмбоди! Драмбоди!

Услышав его рев, женщины, находящиеся в доме, спешат на второй этаж... Это – тетушки Дрангалы, они укрываются от его воплей.

Вот он подходит к дому.

– Геджиа! Геджиа!

В ответ – ни звука.

– Геджиа!

Снова тишина.

– Драмбоди!

Тишина.

– Драмбоди! Драмбоди! Драмбоди! Нина выходи!  
(Нина – жена Геджии).

– Чего тебе? – подает голос Нина.

– «Жипитаури» есть?

– Все выхлестал Геджиа, ни капли нет.

– Врешь!

– Клянусь Геджией и тобой, нет ни капли.

– Стало быть, нет ни капли, и ты клянешься мной и Геджией?

– Клянусь.

К дому снаружи приставлена лестница. Дрангала прислоняется к ней спиной, поднимает ее и относит в сторону.

– Ну так оставайся там до нашего с Геджией прихода.

Он несет на спине лестницу и кричит:



– Драмбоди! Драмбоди! Драмбоди!

– Дрангала, слышь, Дрангала! Что ты делаешь?

Погоди, погоди, пойду поищу!

Дрангала останавливается.

Женщина выбегает на балкон с бутылкой «Жипитаури».

– Вот одна осталась у Геджии!

Дрангала приставляет лестницу к дому.

Нина сбегает по ней, подносит ему хлеб и сыр. Дрангала унимает душу, смотрит на покачивающиеся горы, а с наступлением сумерек, сам качаясь, бредет по дороге к дому.

И как все мы однажды простимся с этим миром, так прекрасным весенним днем распрощался Дрангала с Хеви, с Казбеги, с жизнью, навсегда распрощался из-за маленького ягненка, которого унесла река.

Отара проходила по мосту, и овца с ягненком упали в реку. Овца легко выплыла на берег, а ягненка понесла вода. Овца с ревом бросилась за ним по берегу.

Дрангала поспешил ей на помощь.

Он хотел перехватить ягненка прежде, чем начнутся водопады, но не успел. И все же прыгнул в воду.

В том месте река с ревом и грохотом низвергалась в пропасть. Грохот и рев воды увлекли за собой ягненка, а вместе с ним и Дрангалу.

Пастухи, наблюдавшие за происходящим, онемели от ужаса.

Воцарилась тишина, которую нарушало лишь блеяние овец.

Дрангалу долго не могли найти. На тот свет он попал без проволочек, утонувший ягненок привел его туда, сыграв роль жертвенного тельца, которого закалывают для покойника. И кто знает, может быть, входя в загро-

бный мир, Дрангала по обыкновению проревел: Драм-  
боди! Драмбоди! Драмбоди!



Во всяком случае на этом свете, там, где Терек  
задушил в своих объятьях Дрангалу с ягненком, в реве  
реки отчетливо можно различить: Драмбоди! Драмбоди!  
Драмбоди!

Пойдите, послушайте.

*Перевод Лианы ТАТИШВИЛИ*

**Котэ ХИМШИАШВИЛИ**

**ДВА РАССКАЗА**

*Котэ Химшиашвили, мой брат, был старше меня на шесть лет. Даже в далеком детстве, когда мы оба были детьми, он казался мне взрослым человеком. Почему? Потому что он и в детстве вел себя по-мужски. На мои бесконечные вопросы всегда давал исчерпывающие ответы – на какое-то мгновение задумывался, засовывал руки в карманы, поднимал глаза к потолку, как будто собирался там что-то вычитать, и терпеливо объяснял мне все, что было непонятно. И это еще более возвышало его в моих глазах, усиливало мое уважение к нему.*

*Котэ постоянно что-то читал, что-то писал. Он перечел всего Брэма, прекрасно знал мировую флору и фауну. Часто ходил с отцом и дядей на охоту. Но и любил играть со сверстниками. Сооружал из досок «штаб» во дворе, сколачивал войско из приятелей, и начиналась «война». А зимой, лежа на ковре, часами мог руководить сражениями между «белыми» и «красными». Роль первых играли зерна кукурузы, роль вторых – зерна лобии. «Красные», естественно, всегда побеждали. Однажды, когда я спросила, как это лобии может победить, он в сердцах ответил: «Что ты понимаешь?!» Это был, пожалуй, единственный случай, когда мой вопрос вызвал у него раздражение – наверное, я невольно вторглась в его стратегические планы. Он был в нежной дружбе с мамой и тетей, вообще со всеми близкими. Потому и хранят в своих сердцах память о нем его родные и близкие – те, кто еще жив. От всего его облика – красивой внешности, задумчивых зеленых глаз – исходил какой-то свет и покой.*

*В 1934 году на страницах «Мнатоби» появился его рассказ «Бабушка Элисабед». Котэ тогда было семнадцать лет. Рассказ не остался незамеченным в литературных*



кругах. Котэ предрекали блестящее будущее. Для нашей семьи это был настоящий праздник. Потом его рассказы регулярно печатались в разных журналах и газетах, и очень скоро в молодом талантливом и образованном юноше признали истинного писателя. А когда в «Чвени таоба» («Наше поколение») был опубликован роман Котэ «Джонка Хорнаули», произведение вызвало большой ажиотаж. У него появились сторонники и противники, но отрицать, что роман написан талантливым, смелым, мыслящим писателем, никто не мог. Когда в 1941 году началась Отечественная война, Котэ взяли на фронт. Он с улыбкой говорил всем, что следующий роман назовет «Джонка Хорнаули идет на войну».

В 1942 году была арестована большая группа молодых людей – свыше тридцати – и Котэ в том числе. Их обвинили в заговоре против советской власти, и вдохновителем заговора признали Котэ Химшиашвили. Семнадцать человек были приговорены к высшей мере, и в том же году, 17 октября, прекрасный писатель, у которого впереди была вся жизнь, был безжалостно расстрелян.

Котэ реабилитировали лишь 20 июня 1978 года. В 1981 году был издан сборник его новелл, куда вошел и роман. К счастью, общественность Грузии с большим интересом и любовью приняла книгу Котэ Химшиашвили. Тогда еще были живы друзья его юности, в прессе появилось много замечательных статей.

Два рассказа, предлагаемые читателю, – «Черный скрипач» и «Колос созрел» – Котэ в свое время сам перевел на русский язык. Они, как, впрочем, и все остальные произведения Котэ, бережно хранились в архиве Нуну Кадейшвили, жены Котэ, прекрасного переводчика и знатока французского языка.

Независимо от того, что Котэ мой брат, я очень ценю его творчество. Пришло время, и мы поменялись ролями. Ему все еще двадцать пять, а я уже намного старше его, и хотя я не теоретик литературы, думаю, не ошибусь, если скажу, что оба эти рассказа (да и не только они) принадлежат перу законченного мастера.

Додо Химшиашвили - Вадачкория

## ЧЕРНЫЙ СКРИПАЧ



ЭЛЭНЭНЭНЭН  
ЭНЭНЭНЭНЭНЭН

Он жил на третьем этаже многоквартирного каменного дома, в маленькой комнатке в самом конце длинного коридора. Соседи редко видели этого смуглого человека с черными, густыми бровями и черными, почти без белков, глазами; редкие серебряные нитки в длинных бачках еще больше подчеркивали его смуглость. Носил он черный костюм, черную шляпу, черный галстук, все черное, даже сорочки; ходил всегда со скрипкой в черном футляре; только на левом отвороте пиджака единственным светлым пятном во всем его облике выделялась серебряная лира – знак того, что он был или считал себя человеком искусства. «Черный скрипач» – так прозвали соседи этого одинокого и молчаливого человека. Должно быть, у него не было друзей; почтальон никогда не спрашивал его фамилии, и соседи не помнили, чтобы у него бывали гости. Даже в бюро похоронной музыки, где он работал, его мало знали. Музыканты считали черного скрипача нелюдимым. Во время похорон и панихид он никогда не принимал участия в их беседах, которые они вполголоса вели в перерывах под плач и вздохи публики. Смиренно, с печальным лицом стоял он в углу, и если бы не скрипка в его руках, можно было бы подумать, что он в глубоком трауре. Он любил похоронный марш Шопена и играл его не без вдохновения, явно нервничая, когда кто-нибудь из музыкантов начинал фальшивить, что, признаться, случалось нередко. Но на этом все кончалось. Ни в чем остальном не находил он вдохновения, ни к чему не испытывал интереса... Прирожденная робость и одинокая, холостяцкая жизнь превратили его в редко встречающегося в наше время меланхолика. Целые дни проводил он на

церемониях скорби. Поздно ночью возвращался в свою полутемную, пропитанную мышинным запахом комнату, просматривал вечернюю газету, перечитывая в первую очередь похоронные объявления, и ложился спать. Иногда, правда, на симфонических концертах, когда в программе был Шопен, его можно было увидеть где-то в четвертом ярусе оперного театра. Но это случалось крайне редко. Он хорошо зарабатывал, но ходил в поношенном костюме, брюки лоснились; на локтях пиджака зияли дырки; черная мягкая шляпа поблекла и покрылась въевшейся пылью. Деньги были, а интереса к жизни — нет.

Шли годы, и ходил черный скрипач, как блуждающая гамма траурной мелодии; проходил мимо всех событий жизни, спеша на панихиды или похороны со своей скрипкой в черном футляре.

Где-то строили новые жилые дома. Одни переселялись туда, другие вселялись в их прежние квартиры. У черного скрипача появилась новая соседка. Это была женщина не первой молодости, с серебром в волосах, но с живыми, карими глазами, полная, подвижная, сильная. Она все время что-то напевала и насвистывала, убирая свою новую квартиру, и не упускала случая заговорить с соседями. Все узнали, что она работница шелкоткацкой фабрики, живет одна. Новая квартирантка в первый же день обратила внимание на черного скрипача. Соседи сообщили, что он очень тихий, смирный человек, даже чересчур тихий, и, вероятно, — скрипач. Ей понравилось его прозвище — «черный скрипач». Сама она была очень шумливая, жизнерадостная, и ей нравилась тихая грусть в других; к таким людям она испытывала какое-то покровительственное, материнское что ли, чувство. И вместе с тем, она обожала музыку. В общем,

к черному скрипачу она почувствовала определенную симпатию.

В первый раз они заговорили друг с другом у общего крана, в кухне.

– Вы музыкант? – спросила она, глядя на маленькую серебряную лиру на отвороте его пиджака.

– Да, – скромно ответил черный скрипач, наполняя графин с отбитым горлышком.

– Я очень люблю музыку, – сказала она и ногой двинула ведро, – знаете, сегодня вечером по радио будут передавать концерт из произведений Шопена. У меня хороший радиоприемник, заходите, послушаем.

– Концерт Шопена?.. – Черный скрипач растерялся; из переполненного графина вода полилась ему на руку, забрызгала брюки; ему хотелось послушать Шопена, но ... «А почему бы нет?» ... – подумал он вдруг. – С удовольствием!.. Если не побеспокою... – добавил он и покраснел.

Но соседка не дала договорить:

– Заходите, пожалуйста, ...непременно, я вас сама позову, когда начнется.

На другой день черный скрипач пошел заказывать себе новый костюм. Его впервые увидели без скрипки. А через неделю соседи по коридору были приятно удивлены, получив приглашение присутствовать на свадьбе новой квартирантки с черным скрипачом.

На свадебный пир пришли ее друзья с фабрики, стахановцы, директор. Подали прекрасное кахетинское вино, темное, густое. Бесперывно играл патефон. Все очень веселились, черный скрипач в новом черном костюме, утонув в мягком кресле, тихо улыбался, и затуманенными от вина и счастья глазами с обожанием смотрел на свою подвижную как ртуть невесту, которая

производила больше шуму, чем все гости вместе с патефоном. Когда выпили за здоровье всех присутствующих и отсутствующих, и еще больше развеселились, кто-то вспомнил о таланте жениха. Все стали просить, требовать, чтобы он сыграл им что-нибудь веселенькое. Невеста притащила скрипку. Он сперва, конечно, отказывался для пущей важности, потом торжественно встал и открыл черный футляр. Все притихли.

Черный скрипач привычным движением поднес скрипку к щеке, взмахнул смычком и ... замер.

Он вдруг осознал, что собирался сыграть похоронный марш Шопена, свою самую любимую вещь.

Но ведь сегодня его свадьба! Гости хотели услышать что-нибудь веселенькое... Веселое? Он не помнил, не знал ни одной веселой, хоть сколько-нибудь жизне-радостной мелодии. Он порылся в памяти, но напрасно, похоронные марши Шопена, Шуберта... Да, все это он сотни раз играл на похоронах и панихидах, он знал эту скорбную, заунывную, тоскливую музыку, но радостных звуков, песни счастья никогда еще не извлекал из своей скрипки. Да он никогда и не думал об этом! Вся его прежняя жизнь сложилась так, что самый простой напев радости не звучал в его душе. Он мог играть и любил слушать только печальную музыку; может быть глубокую, проникновенную, но все же делающую человека еще более несчастным. Его скрипка умела только плакать. Но скрипачу больше не хотелось плакать... и все здесь тоже хотели смеяться. Скрипач беспомощно посмотрел вокруг себя. В комнате было тихо, гости молчали. Черное вино агатом поблескивало в граненых бокалах. Он взглянул на свою невесту. Какое-то мгновение они смотрели друг другу в глаза, и ему показалось, что она поняла.

– Не надо, милый... – чуть слышно произнесла она, перестав улыбаться.

И в следующую минуту гости услышали резкий диссонансный звук – черный скрипач, уронив смычок, резким движением пальцев порвал струны своего старого инструмента.

И, пьяный от счастья и вина, тихо засмеялся.

## КОЛОС СОЗРЕЛ...

Услышь меня, сестренка! Он меня поцеловал!.. Клянусь тобой, поцеловал!.. Не знаю, что и сказать... И когда я прикладываю руку к груди, кажется, что в ней трепыхаются голуби.

Это было для меня так неожиданно, так поразило меня!.. Мне так хочется рассказать обо всем, а мысли подобны моим растрепанным кудрям.

Представь себе, сестренка, в тот вечер мы возвращались из подшефной школы. Комсомольская ячейка организовала рейд с целью проверки готовности к уборке урожая.

Мы очутились с ним в одной бригаде. Это хороший парень, воспитанный, в меру сдержанный. А я на собраниях ячейки вытворяю такое, ты можешь себе представить?! Задаю необычные вопросы, требую разъяснений, так что секретарь ячейки клянет свою судьбу, члены бюро сожалеют, что приняли в комсомол такую строптивую девчонку...

В то время, когда разгоряченная молодежь беспокойно гудит в зале, ель покачивается у открытого окна, председатель за столом, покрытым красной материей, срывает гнев на звонке, секретарь в неведении, что запи-

сывать в протокол, когда вожди со своих портретов смотрят внимательнее и я ликую от такого поворота в собрании – непременно поднимается Вахтанг (мой попутчик) и, покрывая все голоса, вносит такое предложение, что зал мгновенно притихает. У него своеобразная манера разговора: левая рука на поясе, а правая – в такт словам будто гвозди в воздух вбивает.

Сказанное он претворяет в дело, и не будь его, нашу ячейку из-за меня постоянно бы трясло. Итак, мы с Вахтангом провели рейд, кстати, большое дело сделали. Бестолковый председатель колхоза упустил из виду, что в уборочной машине следовало заменить ножи. Как только мы явились, мы сразу же это заметили, хотя машины были смазаны, блестели, – да не так-то просто провести комсомольцев!

Мы накинулись на председателя, и пока он не послал человека на лошади в местечко за ножами, не отстали от него.

А не заметь мы это, уборочные машины были бы пущены с тупыми ножами, и не смолотый вовремя урожай уничтожили бы ветры, град и проливные дожди.

Мы внимательно все осмотрели и обещали колхозникам помочь субботниками, а также прислать бригаду культобслуживания. Затем мы отправились обратно.

Солнце уже заходило, мы шли полем. Деревня от нашего местечка расположена в трех километрах. Вахтанг не только на собраниях хорошо говорит, он вообще прекрасный собеседник. Он много смешил меня, ты же знаешь, какая я хохотунья – дай мне только повод.

Милая моя сестренка, как приятно, когда вечером повеет прохладой, ветер пробежит по золотым колосьям, в зрелом поле поднимутся волны, а нога скользит на узкой тропинке в скошенной траве, полевые цветы

кланяются, ветерок кокетливо треплет волосы, раздувает/ полы платья и что-то нашептывает.

Мы шли рядом медленным шагом. Я полной грудью вдыхала воздух, напоенный ароматом полей, цикады неумолчно стрекотали, низко летали ласточки, изредка доносился изумленный крик перепелки.

Колосья уже созрели, сожмешь такой колос в руке, потом распрямишь ладонь, а в ней зерна. Я сплела из колосьев венок, надела его на голову, будто богиня...

Солнце скрылось за горами. Вдали лес вырисовывался черными контурами. Мы приблизились к домам, окрашенным в красный цвет, к пестрым садам и огородам, и тут наши дороги должны были разойтись. Мы ненадолго остановились... Он должен был спуститься вниз, а я напрямик домой. Мы стояли и молчали. У обочины дороги чернел ежевичный куст с колючими, запутанными ветвями. Послышалось пение дрозда. Я протянула руку попутчику.

— До свидания, мне туда... — Он с улыбкой пожал мне руку и ... не знаю, милая сестричка, то ли он нагнулся ко мне, то ли я поскользнулась и невольно прильнула к нему, а может, это ветер нас толкнул друг к другу?.. Знаю лишь, что мое лицо неожиданно очутилось у его груди, он взял меня руками за плечи, притянул к себе и поцеловал в щеку... На мгновение перестал петь дрозд, умолкли цикады, застыл ветер и замерли ласточки.

Он взглянул мне в глаза и, не промолвив ни слова, в несколько прыжков очутился за кустами, только белая сорочка мелькнула в зеленых ветвях.

Удивительно, что я до сих пор не замечала, какие у него красивые и ласковые глаза...

Я осталась одна и мне стало очень стыдно; я поспешно пошла в другую сторону, лицо мое пылало, я не



могла понять, что со мной происходит.

Я шла не поднимая головы, кусты цеплялись за подол платья и останавливали меня, будто выпрашивая, как все это произошло. Дрозд пропел мне что-то, цикады звонче застрекотали, маки хитро подмигивали, и мне чудилось, они все видели, а теперь посмеиваются надо мной.

Я ускорила шаг, ветер что-то нашептывал мне, затем повис у меня на шее и стал напевать. Я мчалась мимо кустов и деревьев, не думая ни о чем, пытаюсь ускользнуть от ветра.

И наверное бежала бы долго, если бы неожиданно не растянулась на земле, споткнувшись о разбросанный хворост. Но я быстро вскочила, стала стряхивать с платья комочки земли и коры и вдруг — громко рассмеялась. Издали меня можно было принять за сумасшедшую; стою посреди поля одна, отряхиваю платье и безудержно хохочу. Что меня так радовало — не понимаю и, возможно, никогда не пойму.

Почему он меня поцеловал? Меня до сих пор никто не целовал... Я все еще чувствую на левой щеке прикосновение его губ. Милая моя, ты знаешь, что это мне напоминает? Прикосновение спелого персика, когда его кожура чуть задевает кожу... Нет, не персика, а дуновение ласкового ветерка, да не ветерка, а осязание бархата, именно бархата или голубинового пуха, мягчайшего и нежнейшего. Как только я примчалась домой, сразу же бросилась к зеркалу. Мне казалось, что я обнаружу на щеке следы его губ, но ничего не было видно, только лицо по-прежнему пылало.

Вот, оказывается, что это такое! Я часто прикладываю ладонь к щеке и чувствую внутренний рисунок поцелуя. Сестренка моя, целовал ли кто тебя, ты ведь

уже давно живешь и учишься в городе, напиши мне о своих переживаниях, как мне интересно, потому что в романах об этом смутно пишут, а в нашей ячейке вообще ничего не говорят.

После этого мне все представляется необычным, другим. Не знаю, как я с ним встречу? Что я скажу ему? Что скажет он мне?

Не поступил ли он дурно, поцеловав меня? Как ты думаешь? Мне кажется, что он ни в чем не провинился, если...

О, из моего венка сыплются зерна на бумагу, видно созрел уже колос!

Я в замешательстве, не могу усидеть на одном месте, успокоиться.

Что делать, считай меня безумной, но я не могу угомониться. Ведь он меня поцеловал!..

Ты слышишь? Он меня поцеловал! Это меня так поразило!.. Ведь меня никто еще не целовал!..



и что наконец им удастся  
сотворить одно единое целое  
из разметанных по всему белу свету  
микроскопически малых  
и подчас заурядных,  
но ощутимо реальных  
духовных существ-единиц.

Еще до меня,  
да и на моем веку не однажды,  
рождалось это великое целое.  
И вот оно сотворяется вновь:  
неторопливый человеческий Разговор,  
предполагающий бездну досуга  
и дружелюбия море,  
исключающий мелкие страсти,  
тайные страхи  
и вероломство...

Если вслушаться в Разговор сердцем,  
можно представить себе воочию,  
как он тянется непрерывною паутинною нитью  
через века и тысячелетия, а то и дальше.  
Эта картина радует взор и вселяет надежду —  
так приятно кружится голова.  
Еще отрадней она восторженной душе,  
парящей выше птиц и облаков...

\* \* \*

Лишь какой-то частью своей  
человек — элемент природы.  
Другая же часть его,

неощутимая и незримая,  
но, как воздух, реальная,  
для большинства непостижима.



Не напрасно, терзаясь сомнением,  
пребывает он всю свою жизнь  
между землею и небом,  
тяготая то к ней, то к нему.  
Единицы лишь представляют себе,  
да и то лишь туманно —  
как возник человек, для чего;  
и поэтому их жизнь  
озарена улыбкой догадки...

## ПРЕЕМНИК

*Памяти друга Дато Давлианидзе*

От тяжелой руки жестокого варвара  
погибал в бою эллин —  
точеные пальцы  
в смертных судорогах  
рыли землю.

Победитель склонился над умирающим  
и стал шарить у него на груди.  
Нашел пилку для ногтей,  
совсем еще теплую,  
и покинул поле сражения...

А потом, удобно устроившись  
на первом попавшем бугре,  
неуклюже стал чистить свои грубые ногти...

## НАШИ СУДЬБЫ



Мы все стремимся —  
кто с камнем, кто с крестом —  
достичь вершины,  
чтоб тут же покорить другую.  
Но тем быстрее мы катимся  
к подножию своей горы  
с первоначальным грузом  
и с благоприобретенным впридачу  
и повторяем все тот же путь  
и ту же роковую ошибку,  
заложенную в нас.

Блажен,  
кто множеством вершин  
и быстротою восхожденья не соблазнился,  
а, замедля шаг, противился  
человеческой природе,  
как устарелому закону,  
и поднимался на единственную гору  
всю свою жизнь,  
лишь к смерти достигая ее вершины...

\* \* \*

Медленно,  
не напрягая воли  
и без участия чувств,  
тяну за свободный конец  
клубка противоречий,  
перешедших ко мне от предков  
и умноженных мной.  
Предвосхищаю

неизмеримую глубину  
и — в конце концов —  
свет,  
невесомость,  
забвение...



\* \* \*

С высоты  
не слышно орлиного клекота.  
Воздух на всех «этажах» напоен  
неистовым щебетом,  
свистом,  
чириканьем мелочи птичьей  
и самоотверженным писком  
мелких же грызунов,  
без страха выползающих  
из своих норок.  
В честь смелости такой  
впору петь дифирамбы...

### СКАЗКА

В цветнике был фонтан небольшой,  
поливавший цветы прохладой своею.  
Там садовник ходил туда и сюда,  
держа под мышкой сникшую лилию,  
раскрывал ее как папирус,  
вносил мертвые и цветущие имена.  
Однажды иссяк источник,  
извергнув осадок — последнюю дань цветам.  
Они так и застыли,  
как росли, как цвели, как отцветали.  
Садовник свернул свой папирус

и опустился на край сухого фонтана.

Он ждал там и ждал,

он ждет по сей день

среди цветов окаменелых...

\* \* \*

На руинах старинного храма

по весне расцветают деревья.

Почитатели мертвой святыни

вместе с детьми приходят сюда

любоваться цветением.

Осенью деревья приносят

диковинные плоды.

Малыши с опаской ими играют,

озираясь на взрослых...

## БРАТЬЯ

С каждым днем все мрачней,

все безрадостней взор

кровных братьев моих,

и все ниже к земле

гнутся они

под тяжестью бездны забот,

придуманных ими,

или навязанных им.

Почти все они ходят,

понутив голову,

в поисках мелких монет,

оброненных ими когда-то

на бесконечных зигзагах блужданий...



Когда осторожно берешь брата  
за его длинный, не вполне чистый нос  
и, преодолевая брезгливость,  
приподнимаешь его голову к небу,  
она тут же беспомощно падает  
ему на грудь,  
будто нет у нее стержня,  
опоры.

Но в глазах его,  
вдруг широко распахнувшись,  
на миг-другой отражаются  
птицы, деревья и звезды...

## А Д А М

Ослушавшись Бога,  
он в наказание себе  
разменял свое

бессмертие

и разделил

с потомством своим...

\* \* \*

И в самое мирное время  
у нас на всех «фронтах»  
идет кровопролитный бой  
с незримым, но вездесущим

врагом.

А воображаемая цель  
так манит далью, осязаемо

близкой,

и дразнит близостью,  
бессмысленно далекой...

Заза ТВАРАДЗЕ

«С»

Воскресное утро июля. Спящий спит в своей квартире, с улицы до него доносится невыносимый гул машин. Он спит и не перестает думать об этом гуле. Машины медленно ползут вверх, с трудом одолевая крутой склон Саирме. Вереницы груженных щебнем самосвалов и амортизированных полуприцепов тянутся вверх к вершине горы, напоминая гигантских июльских жуков, которые тащат гигантские ноши в свои гигантские норы. А Спящий спит, и гул этот сверлит ему мозг. Порой оглушительный рев одного из моторов пронзает его в самое сердце, на что сердце откликается каким-то странным трепыханием, а сознание Спящего фиксирует страх – как бы оно (его сердце) не осталось в этом конвульсивном, вечно трепещущем состоянии навсегда. И действительно, не исключено ведь, что шум здешнего мира пронзит этот постоянно сокращающийся кусочек мышцы так, что окончательно выведет его из строя. Шум способен разладить сердце, а разлаженное сердце – это ржавые ворота смерти; разболтанные, сорванные с петель валяются они в траве. Капли росы проступают на ржавых замшелых прутьях, опутанных плющом; в предрассветных сумерках тысячи механических насекомых ползают по ним и точат, точат физиологическую медь сердца, растаскивая ее по кусочкам и пряча в своих подземных сквозных норах. Подталкивая добычу к отверстию в земле, они размыкают механические челюсти и выбрасывают ее в никуда. Человек, наверное,

просто клоака, переваривающая все предметы и явления этого мира и выбрасывающая их в никуда.



Во сне с человеком происходят странные вещи. К примеру, вам слышится чей-то разговор или простая незатейливая мелодия — кто-то пальцем стучит по клавишам. Этот звук доносится с нижнего этажа. Но вы слышите его так отчетливо, будто звучит он не где-то внизу, а у вас в мозгу. Трень, трень, трень. Проснувшись, вы обнаруживаете, что звука, который так настойчиво слышался вам во сне, вовсе нет. А может, он так естественно вписался в общий шум города, дома, множества разных квартир, в панораму, сотканную из тысяч других голосов, что стал едва уловимым. И слух ваш уже не фиксирует звук, так резко звучавший во сне. Мелодия или слова, произносимые женщиной или ребенком, которые так отчетливо звучали во сне, как будто не было в мире иных звуков, это настырно-монотонное звучание бесследно тает в многоголосом шуме здешнего мира; ускользает со вращающегося диска бытия сквозь зной и плоскость июльского дня вниз по вертикали к самой смерти, за которой уже нет ни единого голоса или звука этого мира.

Странные вещи происходят с человеком во сне и одна из них — сновидение. Спящий спит и ему снится улица, перекресток широкого проспекта Церетели, где когда-то жил его друг, угодивший впоследствии в психиатрическую клинику; друг оставил семью, после чего, непощенный бывшей женой, поселился у своих, не простивших его родителей. В то время он часто заходил к «С» (буквой-звуком «С» во сне обозначается слово «Спящий») и делился своими проблемами, а именно — он не нашел своей цели в жизни, и жизнь для него стала тяжким мертвым бременем; он сетовал, что воля его сла-

беет, отчего ему уже не под силу влачить эту мертвую необходимость, а в те редкие моменты, когда он ощущает прилив жизненных сил, он понимает, что состояние это эфемерно и недолговечно. В такие минуты он не раз помышлял о самоубийстве, но решиться на это не мог, все из-за той же слабости воли.

«С» пересек улицу. Мимо проносились тусклые автомобили. Дул сильный ветер, и улица была пустынна. Весь проспект от самого здания лаборатории по переливанию крови и до научно-исследовательского горнорудного института казался обезлюдевшим. «С» пошел вдоль тротуара и, дойдя до книжной фабрики, расположенной на противоположной стороне, увидел свою жену. Она шла против ветра, слегка ссутулившись. Ветер трепал ей собранные в узел волосы. Взор продолговатых ее глаз охватывал весь проспект – и правую и левую стороны разом. На ней было пестрое длинное платье, которое она носила еще тогда, когда была замужем за «С». И, как это случалось обычно, она и на этот раз заметила его прежде, чем он ее, и остановилась в ожидании, пока он приблизится.

– Как живется тебе с новым мужем? – спросил у нее «С».

Бывшая жена ответила ему взглядом, выражавшим прежнюю привычную для него теплую иронию. Эта теплота и ирония были присущи им обоим, когда они жили вместе. А после их развода каждый унес с собой частицу этого чувства.

– Ты связала с ним свою жизнь навсегда?

В ее молчаливом утвердительном кивке таились неуверенность и страх за будущее.

«С» мгновенно уловил это.

– Мы ведь прекрасно знаем друг друга, – сказал он

ей, — будто сращены от рождения, будто мы одно целое, поделенное надвое. Скажи мне правду, ты его любишь или боишься одиночества?

Жена вскинула на него глаза, полные наигранного возмущения и энтузиазма.

— Разумеется, люблю! Разве смогла бы я выйти замуж не любя?!

До этого дня «С», узнав о замужестве жены, тревожился, думая, что она поступает опрометчиво, что вышла замуж от тоски и одиночества, опасался, как бы брак этот не принес ей новые страдания. И сейчас, услышав ее ответ, почувствовал облегчение, смешанное с разочарованием. За судьбу жены он был уже спокоен, но в то же время испытывал досаду. Кроме того, он силился понять, чем вызвано преувеличенное возмущение, прозвучавшее в ее ответе. Возможно, желанием убедить его в том, что брак был по любви. Впрочем, «С» всегда было трудно разобраться в этих нюансах.

Бывшая жена задумчиво посмотрела на него и повторила:

— Разумеется, люблю! — Потом так же задумчиво добавила: — Пока люблю, а что будет потом, не знаю...

Теперь уже в ее словах не было никакой фальши.

— Наш брак оказался ошибкой. Такой же ошибкой был и развод. Может, твое второе замужество — тоже очередная ошибка? — с каверзой в голосе спросил «С».

В тот момент эта каверзность показалась ему как нельзя более уместной. И невдомек ему было, что каждый ответ жены опережал его вопрос. Впрочем, утверждать это с полной ответственностью было бы трудно, так как все здесь происходило как во сне. И говоря по правде, это и впрямь был сон. «С»-то ведь спал. И тем не менее беседа их происходила в действительности.

Они пошли по улице навстречу ветру. Завернули за угол и оказались внутри приземистого помещения. В конце коридора виднелась маленькая комната. В комнате был накрыт стол. Вокруг стола сидели несколько человек – бывший тесть «С», новый муж бывшей жены и их общий друг. В прихожей хлопотали женщины. Комната была без окон.

– Входите, входите, пожалуйста к столу, – встретила их в дверях родственница бывшей жены.

«С» долгое время приходился им родней и никто не считал бы его тут посторонним. Он и сам не должен был испытывать неловкости. В конце концов, что тут особенного, если усядутся за один стол – он, его бывшая жена и теперешний муж бывшей жены. Ведь и они, и сам «С» были людьми достаточно цивилизованными... Особенно «С» – он до мозга костей был пропитан этой самой цивилизованностью, а также страхом перед дикостью, лежащей в основе этой цивилизации.

Общий друг поднял бокал с жидковатым желтым вином.

– За тебя, брат! – обратился он к «С», потом обернулся к бывшей жене «С» и ее новому мужу: – Будь здорова, Ната! Будь здоров, Нико! – И, наконец, к бывшему тестю «С», который сидел, сдвинув брови, напротив «С»: – За второе замужество вашей дочери. Счастья им и продолжения рода! – Говорил он это без всяких шуток. Чувствовалось, что он уже изрядно охмелел.

– Твое здоровье! – нехотя ответил бывший тесть и осушил бокал. Он не знал куда девать глаза, и, повернувшись к двери, стал звать жену: – Циала! Открой нам консервы!

В этом злосчастном и призрачном мире почему-то всех женщин всегда зовут Циалами, особенно – тещ.

«С» взглянул на бывшую жену. Ната сидела, опустив голову, о чем-то задумавшись. Она никогда не любила застолье и тосты.

– Странно! – сказала она для себя и засмеялась. В ее сознании не совмещались эти два мужа. Один – такой прежний и близкий, второй – такой новый и тоже близкий.

Чуть погодя она снова засмеялась. Затем, откинув голову, громко расхохоталась.

– Друзья мои! – произнесла она со смехом и с какой-то вызывающей иронией. – Ну что скажешь, муженек, а? – неловко смеялась она. – А ты что скажешь, муженечек? – Она переводила взгляд с «С» на его второе «я». Скорее на свое новое «я» в нем.

«С» тоже рассмеялся. Он и в самом деле чувствовал себя здесь своим.

– Малахольная! Ну точно малахольная! – насмешливо и с любовью произнес он.

– Дружочки мои, муженечки! – бывшая жена смеялась каким-то механическим, почти истерическим смехом.

Циала принесла консервы со свежим зеленым салатом. Аккуратно разложила их на столе и, выходя из комнаты, погладила мужа по голове. В ответ он ласково коснулся ее руки и задержал в своей. Она встала за спиной мужа.

Общий друг сдвинул брови и снова наполнил бокал. Лицо его выражало обеспокоенность. Это был несложный прямодушный человек. Он обернулся к «С».

– Сними часы! – строго потребовал он.

– Зачем я их должен снять? – запротестовал «С».

– Сними часы и дай их мне! – протянул он руку в ожидании.



Спящий снял с руки часы и вручил другу.

Тот положил их на стол возле своей тарелки с жареной картошкой и острой подливой.

– Вот так! – сказал общий друг. – Засекаем время, четыре минуты третьего.

Потом повернулся к бывшей жене «С».

– И ты мне дай свои часы!

Он произнес это так решительно, будто задумал конфискацию всех хронометров мира.

Бывшая жена без слов передала ему маленькие квадратные часики с ажурным металлическим браслетом. Старый друг положил их рядом с часами «С».

– Между прочим! – он поднял вверх указательный палец и многозначительно произнес: – Между прочим, время на ваших часах в точности совпадает.

Спящий взглянул на друга и улыбнулся.

«Странно, – думал он в своем сне, – все происходит так, будто когда-то уже было наяву и сейчас вспоминается мне в этом сне. Интересно, возможно ли такое?» – размышлял он во сне, а снаружи ему слышалось громыхание какой-то машины. Легковой автомобиль с барахлящим мотором, пыхтя, поднимался вверх по мощеному склону, с трудом одолевая подъем. Внизу, под самыми окнами «С», кто-то, видимо, включил сигнализацию. Непрерывные гудки, казалось, откуда-то из потустороннего мира проникали в скорбную реальность его сна, но ведь у всего на свете есть конец. Гудки постепенно стихли и тарахтящая машина, наконец, одолела подъем. Фон в сознании Спящего, отражающий реальность города, очистился, и на его месте расплылось аморфное, почти бесцветное пятно, а издали доносился чей-то монотонный голос: «Зачем тебе часы? Зачем тебе часы? Зачем тебе часы?» Вопрос этот повторялся столько раз, что в конце концов



полностью приковал к себе внимание Спящего.

– Я должен засечь время! – серьезно произнес во сне общий друг. Он продолжал стоять, все еще держа указательный палец кверху. – Я назначаю себе регламент, а то как заведусь, буду говорить без остановки. – Он оглядел сидящих за столом. – Думаю, это всех устраивает?

– Поживем – увидим! – с сарказмом в голосе проговорил бывший тесть.

– Мой тост состоит из двух частей, – начал общий друг. Под действием выпитого вина слова выскакивали из него сами собой. – Прежде всего хочу сказать о любви. Когда я посещал церковь, там говорилось о любви к Богу, говорилось, что это главное и что любовь человеческая всего лишь суетное, тленное чувство. – Он обвел взглядом «С», его жену, ее мужа, тестя, тещу и после короткой паузы продолжил: – Но в Библии сказано, что Бога никто не видел! И вот поэтому человеческая любовь – это обыкновенное, на первый взгляд, земное чувство есть предпосылка к Божественной любви! Любящие души будут вместе и в мире вечном! – сказал он.

Сознание Спящего дало трещину. Вместе с гулом машин ему уже слышатся и голоса соседей. Плачет ребенок, плачет без умолку. А мать ребенка и еще другая женщина, по-видимому родственница, пытаются унять его, но ребенок не унимается. – Ааа! Аааа! – слышится его громкий безудержный плач. Этот надрывный голос пронзает сознание «С». «Может, ребенок ошпарил руку?» – подумал он во сне и тут услышал произнесенные им же самим слова:

– В мире вечном нет браков! – он произнес это четко и гулко. – Люди там будут просто общаться друг с другом, как ангелы!

Общий друг стоял слева от него. Он строго сверху вниз глянул на «С».

– Браков нет! Но есть нечто другое! Ты помнишь Мчедлидзе?! – выкрикнул он зычно голосом архангела.

Вопрос этот не удивил «С», поскольку он заранее знал – именно сейчас Мчедлидзе вспоминает его.

– Какого Мчедлидзе? – спросил он лишь для того, чтобы не нарушилось нечто, оживляющее логику сна.

– Наркомана!

Разумеется, он его помнил.

– Представь, – продолжал друг, – представь, что этот самый Мчедлидзе оказался в длинном коридоре с комнатами по обе стороны. В каждой комнате ожидают его люди разных профессий и устремлений. Какую из этих комнат, по-твоему, он выберет?

Было ясно, что именно хотел сказать старый друг. И «С» без колебаний ответил:

– Ту, в которой собрались наркоманы. – При этом он почему-то кинул многозначительный взгляд в сторону тестя и его нового зятя. Их лица, глядящие на «С», как-то выпятились в сумерках сновидения.

– Вот именно! – подтвердил общий друг. – Каждый тянется к себе подобным! Так будет и в мире вечном! А сейчас я перехожу ко второй части своего тоста. – Он поднял бокал, повернулся к бывшему тестю и бывшей теще – теща возвышалась над сидящим за столом мужем, положив ему на плечи руки – лицо ее выражало рассеянность и концентрированное невнимание. Общий друг, взглянув на них из-за стакана, выпалил скороговоркой: – Госпожа Циала! Господин Нодар! Будьте здоровы! Счастья вам и радости.

С этими словами он осушил бокал.

Бывшая жена «С», сидящая справа напротив общего

друга, потянулась к своим часам. Взглянула на них.

– Ровно четыре минуты! – сказала она. Было странно, что такой непрактичный, как она, человек, сосредоточил свое внимание на столь материальной вещи, как время.

Старый друг, качнувшись, плюхнулся на стул. Голова у него свесилась набок. Глаза бессмысленно уставились в одну точку. Лицо выглядело утомленным и бледным. Будто что-то распирало его изнутри и вот-вот готово было выплеснуться вместе с сердцем. На кончике носа у него повисла капля то ли вина, то ли пота.

Тост в честь тещи и тестя был произнесен предельно кратко, но «С» знал, что друг вложил в него глубокий смысл: что вот уже сорок лет они вместе и что в течение всего этого времени они любили, любят и будут любить друг друга. И что никого ближе нет у них на свете. И что терпеливо преодолевая трудности, они заботятся о семье. Что как-то давно муж-таки изменил жене – жена увидела это собственными глазами. Но этот единичный легкомысленный акт не смог разрушить их любви. Жена простила его, поскольку любила, и муж вернулся к ней, потому что тоже любил. Они и по сей день живут в любви и согласии и растят внучку – единственного ребенка «С» и его бывшей жены.

Все это бывший друг вместил в одну фразу, так как одна фраза, сказанная во сне, включает в себя все, что находится за пределами потусторонней реальности, где, подобно медным жукам, ползают по-странному целеустремленные механизмы, – мир, беспредельно развернутый в перспективе сознательного и бессознательного, где каждое чувство, каждый мотив, представление и взаимосвязь бесконечно глубоки. Ведь фраза воспринимается тем, кому это снится, и персонаж, только что произнесший эту фразу, говорит со Спящим так, что

между его словами и сознанием слушателя нет никаких физических барьеров. Персонаж сам является словом. Он проникает непосредственно в психику спящего. Он живет в нем самом – и в то же время сидит за столом слева от него. Голова у него свесилась набок, глаза слипаются. Вся его сущность открыта сознанию Спящего. Ему ничто не удастся скрыть от «С» – ни единого тайного умысла или чаяния, ни тошноты, ни капли, повисшей на кончике носа, ни того, что кроется за его намеренно кратким тостом. И все же что-то скрытое остается в нем. Именно то, что является сновиденным в этой действительности. Или, говоря иначе, – то, что существенно в этой сновиденной действительности.

А «С» уже во сне знал, что все это было сном. Хотя в следующую минуту эта уверенность куда-то улетучилась, поскольку слова друга задели в нем нечто глубоко сокрытое. Во сне ведь контролирующий механизм ослабевает. Он ощутил вдруг, что вся его выдержка, помогавшая скрывать от всех тяжесть, скрытую от него самого, отказала ему, улетучилась одним махом, и он произнес так, как если бы это происходило наяву:

– Я не хотел признаваться, что мне тяжело. Очень тяжело.

Он сказал это, глядя на бывшую жену. Она слушала его и казалась такой красивой, какой никогда не была в действительности.

– Когда мы расстались, я мечтал, чтобы ты вышла замуж. Я думал, что после этого мы оба успокоимся. Но сейчас, когда это произошло на самом деле... Сейчас я осознал, что у меня нет никого на свете ближе тебя. Все мое существо, оказывается, устроено в соответствии с тобой. Меня будто выпотрошили, опустошили.

«С» не собирался этого говорить. Понимал, что

должен был сдержаться, не следовало взваливать на бывшую жену, готовящуюся к новой счастливой жизни, этот тяжкий груз — сознание того, что кто-то страдает по твоей вине; но согласно неумолимому закону сна, подразумевающему удовлетворение неудовлетворенных желаний, он не смог сдержаться. В тот момент, находясь во сне, он был уверен, что все это происходит наяву.

— Ты не хотел жить с нами! — сказала жена.

— Не хотел и в то же время хотел, — ответил Спящий.

— Тот, кто хочет, ведет себя иначе, — бросила ему жена.

— Сколько раз я предлагала тебе поселиться отдельно. Только ты, я и ребенок. И никто больше. Сколько раз просила тебя начать сначала. Но ты не хотел.

— Странно, почему? — спросил «С». — Я ведь любил тебя. И ты меня любила. Ближе у нас никого не было. Почему так случилось?

— Не было у тебя любви. Семья не клуб, куда заглядываешь, когда вздумается, поболтаешь и уйдешь. В семье, обычно, живут. А ты не торопился домой. — Бывшая жена преданно и осторожно взглянула на нового мужа. Сидела высоко подняв голову. Выпрямившись. Как царица. Вернее, пыталась так выглядеть.

— Почему же я так страдаю сейчас? — задумчиво произнес Спящий. — Теперь я понимаю, что самое дорогое, что у меня было на земле, это вы. Ты и ребенок. У меня такое чувство, будто смерть забрала у меня самого близкого человека или будто я сам умер...

— Довольно! — заорал неожиданно бывший тесть и хлопнул ладонью по столу. — Сколько можно долбить мозги друг другу, вот уже десять лет долбите и долбите и других задолбали! Это вы внесли разлад в мою семью, — крикнул он, свирепо глядя на «С». — Это вы превратили мой дом в судилище! А сейчас, когда все вроде бы

утряслось, когда человек, — он бросил взгляд на общего друга, — когда человек произносит тост за семью, вы снова хотите устроить здесь это судилище? Да кто тебя о чем спрашивает? К чему эти выступления, оправдания? Сидишь за столом, сиди и будь добр говорить о том, что относится к тосту! А нет — так молчи! — грозно закончил он.

«С» посмотрел ему прямо в лицо. Седина в волосах оттеняла его бледность. Лицо его словно вспухло и увеличилось. Изменилось до неузнаваемости. Это было уже совсем другое лицо — хорошо знакомое Спящему. Перед ним сидел его собственный отец, это было его лицо со сдвинутыми на переносице бровями и грозным сверкающим взглядом. Он тяжело дышал, едва сдерживая гнев, и при этом свирепо вращал глазами, как это бывало, когда «С» был еще ребенком. Тогда голос отца звучал для него оглушительно, как рев тысячи водопадов. Он смотрел в лицо «С», требуя от него искренности, стойкости и непоколебимости. Глядя в это лицо, «С» никогда бы не рискнул возразить ему наяву. Но сейчас он решился, поскольку на чашу весов была поставлена вся действительность.

— Вы не правы! — возразил он вежливо, но упрямо. — Я коснулся именно той темы, которую затронул сам тамада. Говоря о любви и выборе, он имел в виду именно нас — меня и мою бывшую жену. А не кого-то другого!

С этими словами он взглянул в глаза седому мужчине, у которого по-прежнему было лицо его отца.

— Не вас он имел в виду! — зло процедило лицо отца. — Он произнес обычный тост в честь обычных людей. Он и не думал говорить о вас!

«С» повернулся к общему другу (тот сидел в той же позе, свесив голову набок) и отчетливо по слогам выго-

ворил:

– Скажи, ведь ты подразумевал меня и мою жену, говоря о любви? – При этом он думал: «А вдруг он не расслышит меня? А вдруг он умер или навсегда потерял сознание?! Тогда уж никто никогда не узнает, что именно хотел он сказать этой фразой, зафиксированной лишь моим сознанием, фразой, которую никто, кроме него, не сможет засвидетельствовать».

Общий друг с трудом приподнял голову. Оглядел каждого по отдельности, словно только что очнувшись от летаргического сна.

«Скажи им, ты ведь имел в виду меня и мою жену, говоря о любви!» – «С» не произносил этих слов во второй раз. Он лишь в уме повторил их.

«А вдруг он откажется! – мелькнуло у него в голове. – А вдруг я и тут неправ, оскандалюсь перед своим отцом, перед своей женой, перед ее новым мужем (как унизительно!), перед тестем и тещей. Неправ, как всегда, во всем и со всеми и даже сейчас в моем собственном сне!»

Общий друг снова огляделся по сторонам. Сложил на столе руки, лицо его приняло нормальное выражение. Затем спокойно, голосом совершенно трезвого человека заявил:

– Да, именно вас я имел в виду!

И умолк.

Человеком он был несложным и простодушным, а потому за сказанной им фразой не таилось никакой иной мысли. Вернее, таилась именно та мысль, которая была выражена сказанным. Одна единственная мысль – она сияла в печальном ареале сна и сияние ее прорезало тьму, уходя в бесконечность.

– Слышали, он имел в виду нас! Наши взаимоотно-

шения! Это очень трудная проблема. Это боль, и не только моя! Это наша общая боль! Боль каждого человека! Но сейчас я один должен испытывать ее! Теперь-то вы поняли, о чем шла речь. Зачастую самые простые слова таят в себе необъяснимую тайну! А впрочем, хватит. Я не желаю больше продолжать этот разговор, — с этими словами «С» встал и оглянулся на тестя. Тот снова принял свое прежнее обличье: мирное, незлобивое. Одновременно с «С» поднялся со своего места и новый муж бывшей жены. «С» знал о нем лишь то, что человек он добрый и порядочный, хотя контур его нижней челюсти позволял думать о глубоко скрытых в нем, еще не проявившихся признаках жестокости или безумия. Но сейчас в нем не было даже намека на жестокость. Взгляд выражал удовлетворенность и уверенность и вместе с тем какую-то деликатную заботливость. Словно испытывая чувство вины, он неловко протянул руку Спящему.

— Надеюсь, не будешь поминать меня лихом, — смущенно проговорил он, — я к тебе очень хорошо отношусь. Буду заботиться о твоём ребенке и своей новой супруге. Думаю, мы и в дальнейшем останемся добрыми друзьями.

«С» молча протянул ему в ответ руку — сейчас это уже не имело никакого значения. Простая формальность. Спящего куда-то уносила река, а он (новый муж бывшей жены), стоя на берегу, продолжал с ним беседовать. «С» без слов протягивал ему руку, но руки их так и не встретились. Вторая попытка тоже не принесла успеха — руки их как-то неловко ударились друг о друга. Стукнулись костяшками пальцев. Попытались в третий раз и лишь на мгновение прикоснулись руками друг к другу, ладонь нового мужа оказалась более мягкой и крупной, чем у «С». Спящий первым отнял руку, считая свой долг



исполненным. А мужчина, занявший его место, какое-то время еще пытался дотянуться до него пальцами — видно, все еще считая себя в долгу перед ним. Потом сел с выражением замешательства на лице.

Эта бестолковая, нелепая возня с рукопожатием длилась ровно столько, сколько понадобилось, чтобы вспомнить, что все это происходит все в том же сне. Он взглянул на соперника. Тот также пребывал во сне. Это было явно — он спал сидя на стуле. А до того, будучи так же во сне, пытался пожать руку «С», желая как-то утешить или ободрить его. Но ведь это был сон Спящего, и его же сознание предостерегало его от бесконечных жалоб, советовало не бередить раны, понять, не стоит толочь уже разбитое. Сновидение сновидением, а боль болью. Спящему пора было уходить. Не следует взваливать эту тяжесть на бывшую жену, которая с такой любовью, так доброжелательно смотрит на него. Пусть он сам несет свое бремя. До его сознания донесся какой-то шум. Плакал ребенок. Плакал без умолку. «Тсс, не бойся, не бойся!» — повторял женский голос. Потом оба этих голоса заглушил рев мотора. Какая-то машина, тарахтя, ползла вверх по улице Саирме. Одолев подъем, стихла. Воцарилась мрачная тишина. Тишина и непосильная тяжесть.

И в этой тишине и в этой тяжести, которая становилась все мрачней и непосильней, Спящий встал и распрощался со всеми.

Жена вышла его проводить. В коридоре они остановились.

— Всего доброго! — неловко произнес Спящий.

— Всего хорошего! — Бывшая жена смотрела на него, и лицо ее казалось ему таким же, каким было тогда в дни первых их встреч. «Как хорошо, что ты есть на

свете!» – говорил ей тогда «С». «И ты есть – хорошо!» – отвечала она ему тогда. Это и впрямь было – сосуществование в нигде.

«Странно, – думал «С» во сне, – как мы встретились и вот навсегда расстаемся. Почему так случилось?!»

– Ты не хотел жить с нами! – ответила ему во сне жена.

«Хотел, – подумал он также во сне. – И в то же время не хотел».

Жена во сне же заметила:

– Эх, поздно уже об этом говорить.

– Поздно, – согласился он. – Все эти годы ты была рядом, а я тебя не замечал. Видно, потому, что мы очень похожи. Это какая-то абсолютная схожесть, и потому образ женщины, который я носил в себе, не совпал с твоим, – сказал он во сне.

Жена посмотрела на него с выражением обиды на лице, чуть не плача.

– Об этом надо было думать раньше, пока мы не поженились!

– Раньше у тебя был другой образ, – сказал «С» во сне.

– И ты был другим! – ответила она во сне.

Трижды коротко просигналила машина. «С» не понял, откуда неслись эти звуки – из сна или с улицы из-под окон его новой квартиры. «Кольцо!» – спохватился он и сунул руку в карман.

– Я верну тебе кольцо! – смущенно сказал он.

– Оставь его себе.

Он протянул ей обручальное кольцо.

Она неловко взяла его.

Кольцо проскользнуло у нее между пальцами, пока-тилось по полу, она наклонилась, подняла и взглянула

на него.

– Пусть оно будет у тебя. Спрячь его! – сказала она, возвращая ему кольцо.

Спящий принял его обратно. Лишь во сне – в его сне – они вновь обменялись кольцами.

– Странно, – сказала бывшая жена, – с каким трудом я наклонилась, видно, в доме очень низкий пол.

В ответ на эти слова что-то внутри у Спящего будто взорвалось. Он вспомнил: она уже говорила это когда-то, но не во сне, а наяву – на старой квартире Спящего, где в течение нескольких лет они жили все вместе.

Он хотел выкрикнуть ее имя, но сознание словно сковало его какими-то железными клещами. Откуда-то издалека, с улицы слышался чей-то крик, относящийся к чему-то совсем другому. «Выноси!» – звучал незнакомый мужской голос. – «Выноси! Осторожно! Опускай!» Слышался шум мотора. Очередной самосвал с тяжелым грузом, тарахтя, поднимался вверх по подъему. Шум. Шум.

– Ребенка навещай, – серьезно сказала ему жена, – хотя бы изредка, не забывай ее, а то и она забудет, что у нее есть отец!

– Непременно буду, – ответил Спящий, – где сейчас она?

– Там.

Жена указала рукой в сторону двора, туда, где стояло дерево. Потом медленно повернулась, и, как бы закружившись в печальном вальсе с невидимым партнером, удалилась, даже не оглянувшись на двор, на бывшего мужа, на дочь.

Под деревом стояла их девочка. Маленькая, бледная.

– Как живешь, дочка?

Она стояла, не поднимая глаз.

Тебе, наверное, грустно?

Девочка взяла его за руку и ничего не ответила.

– Почему ты грустишь?

– Мама ушла, – неожиданно расплакалась девочка, – ушла и больше не приходит ко мне. Противная мамочка! Не знаю, почему она не приходит!

– Мамочка занята. Она закончит дела, и вы снова будете вместе. Я тоже приду. Буду приходить каждый день, – говорил ей «С». – Мамочка совсем не противная. Просто у нее пока дела. Увидишь, вы все время будете вместе. Мамочка не противная! – говоря это, он шел вдоль улицы, оставляя позади себя двор и дерево. Далеко остались и его близкие – дочь и жена. Его бывшая семья. – Мамочка не противная! Мамочка не противная! – повторял он в своем сне.

Панорама вокруг менялась по мере того, как он двигался вперед. Менялась, следуя каким-то неукоснительным законам, приводящим в движение и меняющим все: внутренний мир человека, сновидения, вселенную, в которой обитаешь и в которой, куда бы ты не ступил, сталкиваешься с чем-то, что тебе не принадлежит, будто кто-то силой пытается навязать тебе это. Все это не твое, не любимое и никогда не станет твоим. А то, что твое, что любимо, что хоть раз тронуло твое сердце и запечатлелось в нем, – согласно все тем же неукоснительным законам сна или яви, меняется, ускользает от тебя и постепенно исчезает из виду.

Картина меняется. Спящий снова стоит на перекрестке, где он некогда стоял уже прежде. Тогда на этом месте он встретился с бывшей женой. Теперь тут никого не было. Только ветер и голые деревья, раскачивающиеся на ветру, как висельники. Несколько тусклых автомобилей пронесли мимо. Спящий озирался по сторонам.

Перед ним развернулся город – такой же бесцветный и тусклый. Безмолвный и пустынный. Город сна. Он видел каменные здания. Дидубе. Сабуртало. Вере. Вдали возвышался массив Вардисубани. По всему этому городу рассеяны его прежние близкие – мать, отец, братья, друзья – все по отдельности друг от друга. Каждый в своей семье. Ни с кем из них его не связывало ничто, кроме сна и этого тусклого ареала, где в какой-то ветреный день соединились на миг и тут же безнадежно разобшились все и вся.

«Часы! – неожиданно осенило его. – Мои часы!»

При этой мысли бесследно стерся весь пейзаж. Он видел только собственное запястье. Он смотрел и видел широкую, болезненно бледную полосу – след от часов. А сами часы так и остались лежать на столе возле тарелки общего друга, мерно отсчитывая мгновенья сна. Остались там, в той семье, в том пространстве, до которого теперь Спящему не было никакого дела. Неужели и в этом тоже был какой-то символ?

Он резко повернул обратно. Просунул голову в одно из черных отверстий, полных какого-то летаргического безмолвия. Тишина. Потом впереди что-то забрезжило. Послышался звон посуды.

– Входи, входи! Присядь к столу! – услышал он приветливый голос, и родственница жены с тарелками в руках пронеслась куда-то мимо. Он пошел в глубь коридора. Дверь в комнату была приоткрыта. Он заглянул внутрь. Все по-прежнему сидели за столом. Словно и секунды не прошло после его ухода. Прямо сидел бывший тесть. Справа от него – новый муж бывшей жены со своей новой женой. Слева – общий друг. Место «С» в конце стола оставалось незанятым.

– Юнона! Скажи нам что-нибудь, Юнона! – говорил

тесть пришедшей в гости родственнице, которая, стоя за спиной общего друга, одобрительно смотрела на бывшую жену и ее нового мужа.

«Часы! – просунув голову в дверь, прошептал «С» старому другу. – Я забыл часы, передай мне их!» Но друга его просто-напросто не замечал. Не замечали его и остальные. Только бывшая жена взглянула на него своими продолговатыми глазами, словно что-то смутно припоминая, но тут же вновь устремила взгляд в сторону родственницы, пришедшей в гости. «Дай часы! Слышишь, я не хочу входить!» – продолжал шипеть Спящий.

– Взгляните! – донесся до него голос старого друга, который в это время смотрел на новобрачных. – Вы только взгляните, какое чудо! Как они стали походить друг на друга!

– Верно, верно, до чего же они похожи! – подтвердил тесть. – Это я заметил только сейчас, после твоих слов! Поразительно! Не правда ли?


– А вы как думали! – включилась в разговор родственница, почтенная дама. – Всегда так бывает. Люди, когда они вместе, становятся похожими друг на друга!

С этими словами она уселась на пустующее место, на котором совсем недавно сидел «С», и заботливо пожала запястье новобрачной.

«Часы», – уже ни к кому не обращаясь, прошипел «С», глядя на новобрачных. И тут же обнаружил поразительное сходство между ними. Совершенно одинаковые выпуклые лбы, одинаковые рты, одинаковый разрез глаз и овал лица. «Боже правый! – подумал он. – Как же они, оказывается, похожи! Глядя на них и не подумаешь, что они не брат с сестрой, что они не созданы друг для друга! А я-то думал, мы похожи. Но ведь и мы когда-то походили друг на друга! А теперь вот они... Видно, в

человеке есть какой-то механизм, создающий эту схожесть двух близких людей. Странно, как это получается, что внешность отражает суть человека и меняется в соответствии с ней. Таким вот образом формируется род, формируется раса!» – размышлял он во сне, и из головы у него не выходил образ бывшей жены – ее новый образ, который он прежде не видел или не замечал. Лицо это было много красивей того знакомого ему лица, к которому он так и не смог привязаться, таким, каким он хотел бы видеть его, если бы она по-прежнему оставалась его женой, каким он однажды увидел его и потерял из виду...

Снова послышался шум. Он проник в подсознание, нарастая, заполнил собой пространство, проник даже за черту, на которой обычно стихали и замирали все доносящиеся извне звуки. Какая-то огромная неуклюжая машина, то ли «КрАЗ» то ли «КамАЗ», гудя, подобно гигантскому издыхающему жуку, ползком взбиралась вверх по отлогому склону Саирме, груженная не то песком, не то щебнем, не то другим каким-то стройматериалом. Водитель изо всех сил жал на газ. Казалось, какой-то обалделый современный механический Сизиф тащит вверх по подъему Саирме свой извечный груз. За ним, сигналивая и глухо грохоча моторами, следуют в малолитражках другие маленькие Сизифы. Большой Сизиф, похоже, навеки загородил им дорогу. Рев его машины становился все громче и громче. Сердце у Спящего затрепыхалось, на какое-то мгновение ему показалось, что оно навсегда останется в этом трепещущем конвульсивном состоянии. Такое действительно могло произойти. Этот оглушительный рев мог так стеснить непрерывно сокращающийся кусочек мышцы, что она разладилась бы навсегда. «Надо бы закрыть окно», – подумал он во сне, не в силах оторвать головы



от подушки. Невыносимый гул уже заполнил всю его плоть, врезался в кости, в желудок. И вдруг шум прекратился. Будто существо, таскающее камни в гору, достигнув вершины, сорвалось в пропасть. Воцарилась черная тишина. Тишина и черная тяжесть.

Сколько времени длится сон?

Каких-нибудь десять минут. Но в нем сосредоточена долгая жизнь, кратко и сжато представлено ее содержание, четкой резьбой обозначенное на стенке сознания. Сама же жизнь – оборотная сторона сна. Это ткань, расчерченная неясными непонятными линиями. Она длится и длится, будто нет у нее ни конца, ни начала. Каждая из ее линий устремлена в бесконечность, изгибаясь подобно убегающим вдаль рельсам, которые сольются лишь в иллюзорном зрении. Или же, как параллельные прямые неэвклидовой геометрии, пересекутся не здесь, а где-то в бесконечности или же не пересекутся нигде и никогда.

*Перевод Гины ЧЕЛИДЗЕ*



**«КАК МЫ ПИШЕМ»**

**НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ АНКЕТЫ ОТВЕЧАЕТ  
ПИСАТЕЛЬ МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ**

**Подготовительный период. Длительность его.**

– Собственно говоря, подготовительного периода у меня нет. Вся текущая жизнь и есть такой период. Я не принадлежу к тем художникам, для кого старомодны такие понятия, как озарение, вдохновение, наитие. Без них нет творчества. Но это отнюдь не значит, что процесс созидания легок. Приходится очень много работать.

**Каким материалом преимущественно пользуетесь (автобиографическим, книжным, наблюдениями и записями)?**

– У лирического поэта в основе всего, наверно, лежит биография. Стихотворение можно написать о чем угодно, на первый взгляд, о незначительных вещах, маловажных людях, третьестепенных происшествиях, ерундовых событиях, о животных и т.д., но поднять все это на истинную высоту искусства. На примере простой семьи можно рассказать о существенных явлениях общества.

**Часто ли прототипами действующих лиц являются для Вас живые люди?**

– Лирический поэт сам является прототипом, его творчество прежде всего самовыражение. Этим он отличается от эпического поэта.

**Что Вам дает первый импульс к работе (слышанный рассказ, заказ, образ и т.д.)? Данные в этом отношении о каких-нибудь Ваших отдельных работах.**

– Кажется, Ювенал говорил, что негодование рождает стихотворение. Но он, как известно, был сатириком. По-моему, творчество – это попытка восстановить нарушенную гармо-

нию между автором и объективным миром. Большинство стихотворений подтверждают это. Ну а что является импульсом к работе, сказать трудно. Постоянного, можно сказать, нет.

**Когда работаете: утром, вечером, ночью? Сколько часов в день – максимум?**

– Расписания работы у меня, естественно, нет. Рабочий день ненормирован. Пишу в любое время суток. Если взялся за произведение, обязательно довожу его до конца.

**Примерная производительность – в листах в месяц?**

– Регулярности, равномерности в творчестве у меня нет.

**«Допинг» в процессе работы?**

– Никакого. Занимаюсь этим делом абсолютно трезвым.

**Техника письма: карандаш, перо или пишущая машинка? Делаете ли во время работы рисунки? Сколько раз переписываете рукопись? Много ли вычеркиваете в окончательной редакции?**

– Записи могут быть на коробке сигарет, троллейбусном билете. Текст сперва пишу от руки, но окончательная рукопись должна быть отпечатана на машинке. Вариантов может быть даже десять. Исправляю до тех пор, пока не покажется, что лучше не сделаю. Во время работы рисунки делаю непременно. Они помогают думать. Не люблю многословия. Все должно быть сказано коротко.

**Составляете ли предварительный план, и как он меняется?**

– Не составляю. Доверяюсь процессу писания.

**Что оказывается для Вас труднее: начало, конец, середина работы?**

– Конец.

**На каких восприятиях чаще всего строятся образы (зрительных, слуховых, осязательных и т.д.)?**

– Преимущественно на зрительных.

**Ставите ли себе какие-нибудь музыкальные, ритмические требования?**

– Разумеется. Скажем, танцевальный ритм всегда отли-

чается от маршевого ритма. И поэзия и проза строятся на интонации. Вообще ритм важнее рифмы. Стихотворение может существовать без рифмы, но без ритма – никогда.

**Проверяется ли работа чтением вслух (себе или другим)?**

– Обязательно. Я люблю привлекать других. В какой-то мере так решается вопрос – удалось или нет произведение.

**Какие ощущения связаны у Вас с окончанием работы?**

– Радость. Творчество сходно с беременностью. Закачиваешь и чувствуешь облегчение.

**Меняете ли текст при последующих изданиях?**

– Исправление вообще свойственно мне. Но на уровне поправок, без кардинального вмешательства.

**Оказывают ли на Вас какое-нибудь влияние рецензии?**

– Рецензии читаю внимательно. Справедливые замечания принимаю к сведению. На глупые не обращаю внимания.

**Тамаз ЧИЛАДЗЕ**

## **ТОЛКОВАНИЕ СНОВ**

### **Драма**

#### **Действующие лица:**

Бакури — 65 лет

Солико — 40 лет

Тасо — 80 лет

Гостиная с двумя окнами. Справа, в глубине, виднеется часть прихожей, слева дверь в другую комнату.

Бакури играет в шахматы с Солико, который сидит к нам спиной.

**БАКУРИ** – Вот так!.. Мы же договорились, ход не переигрывать. Ладно уж, ходи... Значит, о чем я говорил, единственный, кто до конца, преданно борется за жизнь короля – это королева. Скорее поезд сойдет с рельс и уступит тебе дорогу, чем эта венценосная шлюха расстанется со своей роскошью, наслаждением, неутолимой любовью к пажам. Брысь отсюда!.. Понятно... Взбунтовавшиеся пешки ползут со всех сторон, гибнут, снова оживают, время от времени получают награды – я вам скажу, что и пешки к наградам равнодушны. Некоторые даже становятся владельцами коней – всадник, гордый и независимый, как древний римлянин. А ну-ка

кыш!.. Полюбуйтесь на него!.. Тщеславие – вот что толкает вперед пешки, и они, подчиняясь этой страсти, словно муравьи, сплоченные общим инстинктом, ползут вверх, к вершине, к трону, и вот, под конец, какая-нибудь из них, уже украшенная венцом королевы, сменившая пол ради венца, потрепанная травести, занявшая трон прежней королевы, а порой и вместе с ней, рядом с ней, как наложница, наделенная королевскими правами, порхает по чистому полю, сминая ряды безымянных рядовых, каковым была она сама совсем недавно, всего несколько ходов назад, и ничего ей не угодно, ничего не интересно, кроме полного их уничтожения... Мат, мой дорогой, посмотри – бац! – и конец!.. Ты что, спишь?

СОЛИКО – Я, пожалуй, пойду, папа.

БАКУРИ – Боже великий, он опять за свое. Ну куда ты пойдешь? Ты же видишь – рушится все вокруг. Хочешь, выпей коньяку, поправь настроение. И я выпью с тобой за компанию...

СОЛИКО – Не хочу. Я на машине. К тому же дождь.

БАКУРИ – Выпей через «не хочу». Ну-ка, вставай да поживей! Что ты еле двигаешься, а еще молодой человек. Сколько тебе лет?

СОЛИКО – А ты не знаешь?

БАКУРИ – Как не знать... В этом году тебе исполнилось 40. Ведь помню?!

СОЛИКО – А ты говоришь – молодой...

БАКУРИ – Ну, положим, о старости тебе еще рано думать...

СОЛИКО – Зато ты у нас вечно молодой...

БАКУРИ – Это я знаю.

СОЛИКО – В общем, я пошел... Уже пора. Пока я доберусь до дому, будет совсем темно. Я не люблю ездить ночью. Неважно вижу и нервничаю, как бы не наехать

на что-нибудь... А тут еще дождь... Ты же знаешь, мне трудно ездить по мокрой дороге. (Встает, со смехом.) А может, я спущусь, а машины уже нету...

БАКУРИ – Ну так выгляни! Грузины ведь только ради машины и смотрят в окно.

СОЛИКО – А смысл какой... Где у тебя коньяк?

БАКУРИ – Открой буфет, теперь немного нагнись – или поясница болит? Видишь бутылку?

СОЛИКО – Вижу.

БАКУРИ – Значит, на зрение еще не жалуешься. Достань рюмки, они там же. Вот молодец! Дай мне бутылку, я открою. Вот так. (Разливает коньяк по рюмкам.) Достаточно?

СОЛИКО – Я же сказал тебе...

БАКУРИ – Чуть-чуть не повредит..

СОЛИКО – Я же сказал, что не пью.

БАКУРИ – Это тоже не дело. Возьми рюмку. Вот так. Теперь давай чокнемся. За нашу встречу! Давненько я тебя не видел.

СОЛИКО – Ты же знаешь, какая теперь жизнь!

БАКУРИ – Небось уже год прошел.

СОЛИКО – На улицу выйти страшно...

БАКУРИ – А может, и все полтора.

СОЛИКО – Я звонил тебе совсем недавно.

БАКУРИ – Искренне признателен.

СОЛИКО – Если что-то нужно – скажи!

БАКУРИ – Что мне может быть нужно?

СОЛИКО – Не знаю... Бензина вообще нет, даже если деньги есть – не купишь.

БАКУРИ – А у тебя есть деньги?

СОЛИКО – Есть... Все равно надо целый день в очереди стоять. Я о бензине говорю.

БАКУРИ – Давай лучше вышьем!

СОЛИКО – А за что мы выпьем?

БАКУРИ – Я же сказал, за нашу встречу.

СОЛИКО – Да, конечно, за встречу!.. Редкий случай, чтобы отец заставлял сына пить.

БАКУРИ – Кто тебя заставляет? Нет, дорогой, не хочешь, не пей. Но я-то знаю, что ты попиваешь...

СОЛИКО – Птичка на хвосте принесла?

БАКУРИ – Не забывай, что это Тбилиси, мой милый. Здесь все всё знают и хотят сообщить другим...

СОЛИКО – Не так уж я пью...

БАКУРИ – Это уже детали. Главное, что пьешь. Давай еще по одной. Отличный коньячок!..

СОЛИКО – Мне достаточно.

БАКУРИ – Не буду же я в одиночку пить!

СОЛИКО – Как угодно, но мне хватит... Тем более, дождь...

БАКУРИ – Как раз из-за дождя я и пью.

СОЛИКО – А я боюсь дождя... Тем более ночью. Я же сказал тебе, что плохо вижу.

БАКУРИ – Это от меня в наследство. Я тоже плохо видел, с возрастом пройдет...

СОЛИКО – Когда все-таки?

БАКУРИ – Когда будешь в моих летах. Будешь прекрасно видеть, лучше, чем сейчас.

СОЛИКО – Будет тебе...

БАКУРИ – Не веришь?

СОЛИКО – Как я могу поверить! К старости зрение ухудшается, а не улучшается.

БАКУРИ – К старости – да....

СОЛИКО – Прошу покорнейше меня простить, я забыл, с кем разговариваю...

БАКУРИ – В старости действительно ухудшается зрение, слух. Таков закон природы. Никуда не денешься.

Поэтому, мой мудрый сыночек, не надо стареть!..

СОЛИКО – Можно подумать, это от меня зависит!

(Пьет.)

БАКУРИ – Разумеется, только и только от тебя.

СОЛИКО – Имей в виду, я больше пить не буду. Это последняя.

БАКУРИ – Чего же ты меня даже не подождал?

СОЛИКО – Чтобы побыстрее избавиться.

БАКУРИ (наполняет бокалы) – Твое здоровье!

СОЛИКО – Благодарю.

Пьют.

БАКУРИ (наполняет бокалы) – Давай еще по одной и все! Потом езжай, куда хочешь. Я же не буду тебя силой удерживать. Где ты теперь работаешь?

СОЛИКО – В банке. Банк новый, коммерческий.

БАКУРИ – И что ты там делаешь?

СОЛИКО – Ты наверно знаешь, что я закончил экономический факультет.

БАКУРИ – Конечно, знаю...

СОЛИКО – Вот и работаю заместителем управляющего.

БАКУРИ – Здорово!

СОЛИКО (машет рукой) – Да ничего особенного.

БАКУРИ – Звучит хорошо – заместитель управляющего! Даже лучше, чем просто управляющий.

СОЛИКО – Я и должен быть управляющим, но...

БАКУРИ – Будешь.

СОЛИКО – Не уверен. Посадили деревенщину мне на голову.

БАКУРИ – Давай выпьем за банк!

СОЛИКО – За банк!



БАКУРИ – И за всех заместителей управляющих!

СОЛИКО – Почему за всех?

БАКУРИ – А кто еще, кроме нас, выпьет за них?

СОЛИКО – Ты прав, никто не выпьет... Давно я коньячком не баловался...

Пьют.

БАКУРИ (наполняет бокалы) – А что ты пьешь обычно?

СОЛИКО – Вино.

БАКУРИ – Вино требует много времени.

СОЛИКО – Отец...

БАКУРИ – В чем дело?

СОЛИКО – Ты думаешь, что...

БАКУРИ – Расчувствовался?

СОЛИКО – Я всегда тебя помню...

БАКУРИ – Это неплохо... А мать навещаешь?

СОЛИКО – Звоню иногда.

БАКУРИ – А она?

СОЛИКО – Что она? Давай, еще по одной.

БАКУРИ – Сейчас... Она тебе звонит?

СОЛИКО (пьет) – Наконец согрелся, а то мне все время холодно... (Наполняет бокал.)

БАКУРИ – Это уже старость.

СОЛИКО – У меня какая-то внутренняя дрожь... Как начнется, никак не проходит...

БАКУРИ – Я об этом и говорю...

СОЛИКО – О чем?.. Нет, она мне не звонит... Знаю, что у нее все в порядке, железное здоровье, муж-академик. Впрочем, зачем я тебе это рассказываю, ты, наверное, все знаешь лучше меня...

БАКУРИ – Не наверное, а точно. Во всяком случае,



лучше тебя.

СОЛИКО – Интересовалась, как дети... Конечно, звонила, по-моему, один раз. Да, один раз звонила.

БАКУРИ – И что потом?

СОЛИКО – Ничего. Давай лучше выпьем за тебя.

БАКУРИ – Спасибо. За нас обоих.

СОЛИКО – Почему за обоих?

БАКУРИ (смеется) – Никто другой за нас не выпьет...

СОЛИКО – Это точно... (Пьют.) Никто на этом свете за нас – отца с сыном – не выпьет. Только мы, мы сами должны выдюжить, должны исправить это, выпить за себя. Я с детства не люблю дождь. Всегда прятался. Но где спрячешься? Просыпался среди ночи, дрожал от страха, понимая, что за окном дождь. Накрывался с головой одеялом... Она еще спрашивает, как дети. Она ведь не видела их ни разу, даже издалека. Ты видел, помнишь, я их приводил как-то...

БАКУРИ – Конечно, помню... Мальчик немного тощий... Я тоже таким был. Меня мама доходягой называла...

СОЛИКО – Как называла?

БАКУРИ – Доходягой... Я был худой, лупоглазый, как кузнечик... Как только он вошел...

СОЛИКО – Да, я втолкнул его первым...

БАКУРИ – Застыл в дверях и уставился на меня. Что такого вы сказали обо мне, что он онемел от страха? Представляю, чего только не наболтали...

СОЛИКО – Не выдумывай, ничего такого мы не говорили...

БАКУРИ – Твоя жена вообще меня не знает...

СОЛИКО – Так получилось. Чем больше проходило времени, тем больше она стеснялась. А потом, ты ведь

знаешь, уже трудно...

БАКУРИ – Ты прав. Я никого не виню. И не упречаю, так (смеется), как говорится, констатирую факт. У девочки бабкины глаза, видно, что растет красавица. Она подошла ко мне и поцеловала. Это ты ее научил?

СОЛИКО – Ей-богу, нет, это она сама. Я так удивился, что всю ночь об этом думал: как она выскользнула у меня из рук, подбежала к тебе, обняла и поцеловала.

БАКУРИ – Как они вошли, я их сразу узнал. Да как не узнать, кто еще мог прийти ко мне? Но не только поэтому. Знаешь, даже странно, поднимаю голову, вижу – в дверях стоит худенький мальчик в коротеньких штанишках. У меня сердце так и подскочило. По-моему, я даже испугался. В последнее время я то и дело вижу сны да и живу как во сне. Ну, думаю, это тоже сон. Кто только мне не снится, все, кроме родственников, близких, как про себя зову. Может, вам и обидно, что я вас близкими называю, но это так, чтобы от посторонних отличить. Тебя, твою жену, которую так и не знаю, твоих детей и ... твою мать, которую не видел ровно 25 лет... А вообще вы и есть мои близкие, во всяком случае, Господь задумал вас как моих родственников. Если бы не я, вас бы тоже не было на свете. Разумеется, это не касается твоей матери и твоей жены. Но кто знает, может, и они родились, чтобы стать моими близкими.

СОЛИКО – Папа, ты же знаешь, что...

БАКУРИ – Говори, говори смелее!

СОЛИКО – Чего-чего, а смелости мне не занимать.

БАКУРИ – Вот и выкладывай.

СОЛИКО – Захочу – скажу.

БАКУРИ – Не злись.

СОЛИКО – Ты знаешь, что как отца... я тебя терпеть не могу... Но какая-то сила... сверхъестественная сила

все время тянет меня к тебе... Странно. Я себя ненавижу/ за это... Больше всего за свою слабость ненавижу.

БАКУРИ – Ты признаешь собственную слабость?

СОЛИКО – Конечно. Разве то, что я сейчас здесь, с тобой пью коньяк – не слабость?.. То, что прихожу раз в год, даже звоню – не крайняя степень слабости?

БАКУРИ – Не волнуйся, бывает и хуже.

СОЛИКО – Как будто кто-то швырнул гранату в нашу семью, нас раскидало в разные стороны, но мы живы... Точнее, не живы, а невредимы.

БАКУРИ – Ты складно говоришь, как поэт!

СОЛИКО – Это со мной бывает, когда немного выпью... Тоже наследственная слабость... Что делать, никуда от этого не деться. Иногда хочется залезть руками себе в душу, нащупать там этот ген, этого крохотного размалеванного клоуна, который и меня часто поддразнивает. Я даже иногда его вижу...

БАКУРИ – Когда выпьешь?

СОЛИКО – Да... когда выпью. Он похож на маленького желто-красного петушка.

БАКУРИ – И тебе хочется оторвать ему голову...

СОЛИКО – Да, именно так.

БАКУРИ – Очертить вокруг него круг...

СОЛИКО – Да, цепочкой очертить круг...

БАКУРИ – И смотреть, как он трепыхается, как подскакивает обезглавленный, но не может вырваться из этого круга, как скорпион из огненного кольца.

СОЛИКО – Кто?

БАКУРИ – Скорпион!

СОЛИКО – Да... скорпион... Я был совсем маленький, когда впервые увидел, как режут петуха...

БАКУРИ – Я зарезал...

СОЛИКО – Ты...

БАКУРИ – В Бакуриани это было...

СОЛИКО – Да, в Бакуриани...

БАКУРИ – День был ненастный...

СОЛИКО – Да, день был ненастный...

БАКУРИ – Твоя мать, накинув мою куртку на плечи, держала таз...

СОЛИКО – Да, она бросила петуха в таз и унесла, удовлетворенная добычей...

БАКУРИ – Это семья... Тогда у нас была семья...

СОЛИКО – А я стоял и смотрел на вас... В тот день у меня впервые появилась эта дрожь... Я убежал, за домом была гора навоза, я сел прямо в крапиву, съежился, спрятал голову в плечи, пытаюсь унять дрожь, сотрясавшую тело...

БАКУРИ – Да, ты был нервным ребенком.

СОЛИКО – Я был нервным ребенком?

БАКУРИ – Так врачи сказали – нервный. Почему ты удивляешься? Дети часто бывают нервные. Потом это постепенно проходит...

СОЛИКО – Я вообще не был ребенком..

БАКУРИ – Как это?

СОЛИКО – Смешно, правда?

БАКУРИ – Нет, почему же... Совсем не смешно.

СОЛИКО – Так было... В действительности... Страшно, когда не можешь совладать с собой.

БАКУРИ – Не пей больше.

СОЛИКО – Теперь уже поздно. Не надо было меня заставлять!

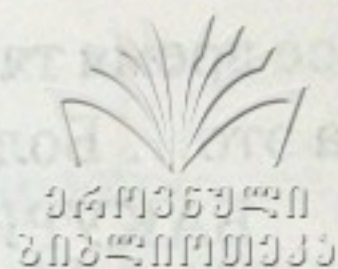
БАКУРИ – Я хотел по одной чарочке.

СОЛИКО – А сколько мы выпили?

БАКУРИ – Не знаю, я не считал.

СОЛИКО – Вот видишь!

БАКУРИ – Я не думал, что...



СОЛИКО – Что ты не думал?

БАКУРИ – Что ты так пьешь.

СОЛИКО – Вот это и плохо.

БАКУРИ – Что плохо?

СОЛИКО – Что ты не думал.

БАКУРИ – Да, я помню... Во дворе пахло навозом.

У хозяина дома было две коровы. Ты открывал ворота, когда их пригонял пастух... Тогда как раз вышла моя первая книга, поэтому мы отдыхали вместе... Всей семьей. В Бакуриани мы ездили из-за тебя, у тебя вздулись железки, врач посоветовал Бакуриани. Ты спал вместе с нами, боялся засыпать один...

СОЛИКО – Да, я всегда боялся засыпать один – до сих пор. Вообще, не могу один оставаться в комнате. Хочу, чтобы рядом кто-то был, обязательно...

БАКУРИ – Совсем как...

СОЛИКО – Я же говорю тебе – это генетические слабости... Ну и что дальше?

БАКУРИ – Не понимаю.

СОЛИКО – Как ты теперь?

БАКУРИ – Теперь?

СОЛИКО – Да, теперь?

БАКУРИ – Я же сказал тебе, не пей больше.

СОЛИКО – Только одну (пьет.), ничего, я привык, мне часто приходится выпивать. Ты представляешь себе, что такое коммерческий банк?

БАКУРИ – Банк – он и есть банк.

СОЛИКО – Вот именно, банк есть банк. Приходится иметь дело с кем угодно... Есть такое выражение – пестрый люд.

БАКУРИ (смеется) – А ты знаешь, мы ведь тебя в зоопарке, можно сказать, зачали.

СОЛИКО – Где-е?

БАКУРИ – В зоопарке. Ниже Хилианской улицы, в огороде...

СОЛИКО – Значит, в капусте меня нашли.

БАКУРИ – Примерно так... Жилья у нас не было, мы с твоей мамой там и встречались, на берегу речки Вере, в присутствии своры собак...

СОЛИКО – Так я и думал!

БАКУРИ – Среди помидорных кустиков...

СОЛИКО – Теперь мне понятно, почему я дрожу, когда вижу людей. Спасибо тебе за откровенность. Значит я – дитя природы, грузинский маугли. Как говорится, где родился и вырос, моя родина там. Водил ли ты меня в детстве в зоопарк? Я что-то не припомню.

БАКУРИ – Нет, не водил.

СОЛИКО – Тебе было не до меня.

БАКУРИ – Наверное так.

СОЛИКО – Между отцом и сыном не может существовать «наверное». А ну, представим себе на минуту, что я не помню, водил ли я своих детей в зоопарк или цирк. А в цирке мы с тобой бывали?

БАКУРИ – Нет, и в цирке не были.

СОЛИКО – Вот видишь! И после этого хотят, чтобы я был образцовой личностью.

БАКУРИ – Кто хочет?

СОЛИКО – Все, общество.

БАКУРИ – А где оно, это общество?

СОЛИКО – И не знают, что ребенок растет в зоопарке и цирке. Не обязательно зачинать младенца в зоопарке – не у всех же такой неукротимый и пылкий папаша, но чтобы вырасти человеком, окружение зверей необходимо. Иначе где научиться человечности. Негде! Негде! Таким образом, папочка...(Пьет.)

БАКУРИ – Я же говорил тебе, не надо больше...

СОЛИКО – Разве это неправда? Скажи, если я не прав, и я сразу умолкну... Меня совсем не трудно заткнуть... Мне уже все ясно. Или я уже это говорил? Да, все понятно. Это ведь тоже цинизм, что я, пухленький, педантичный, наивный финансист, зачат на берегу реки Вере, среди помидорной рассады, в присутствии бездомных псов? Цинизм – вся моя жизнь, и наверное, так и должно быть. У меня вообще есть собственное представление о человеческой жизни. Ты же знаешь, я люблю философствовать. Я вообще считаю, что после Хиросимы, которая, очевидно, была логической точкой существования человечества, началось дополнительное время, затянувшееся, как зевота. Я думаю, что все, появившиеся на свет в это дополнительное время, так же несчастны, как и я. Нет, несчастны не то слово. Они – как и я, обойдены судьбой, да, так, пожалуй, лучше! Неудачники! – как мы обычно говорим, точнее, ты говоришь. Неудачник не может быть несчастным... Когда я родился, человечество уже закончило свою созидательную деятельность. Для одной цивилизации, пожалуй, все, что только возможно, было уже изобретено для истребления людей – начиная с презерватива и кончая водородной бомбой. Но цинизм существования, касающийся не только меня, как бешеный пес, хватает за пятки катящуюся под откос планету. Разве это не цинизм, когда создателю водородной бомбы присваивают Нобелевскую премию. Значит, мы гибнем и даже не чувствуем этого... Или радуемся, что гибнем, но, конечно, не осознаем, что радуемся... Я понятно говорю? Когда я был здесь полтора года назад, ты сказал, что мир непременно погибнет, ибо на свет явились святые, получающие зарплату из кассы жандармерии. Я много раз думал об этом, очень много. Все размышлял – ошибка это или судьба, или, может, самоу-



бийство, расцвет инстинкта глобальной гибели... Что, у нас больше нет коньяка? Мы все выпили?

БАКУРИ – Да, нету. Хватит. Больше пить не надо.

СОЛИКО – Кто знает, сколько надо и сколько не надо! Никто, папочка, никто этого не знает. Об этом тебе говорит сбежавший из зоопарка зверь, который инстинктом чует приближение всяких ужасов – землетрясения, пожара, наводнения, не знаю, назовите это как хотите. Я оттого и сбежал, потому и оказался среди вас. Человечество уже сделало свое дело, я ведь сказал тебе. (Открывает дверцу буфета.) Вот и вторая бутылка! Еще лучше, чем первая. Как это я не заметил! Что-то странное со мной происходит, даже среди миллиона бутылок я замечаю только одну. Давай-ка откроем, вот так. В мире мне более всего приятны три звука – когда открываешь бутылку, заводишь машину и стон женщины, мы с тобой знаем когда. А точнее – ты знаешь, ты большой специалист по этой части. Где бы я ни был, всюду слышу о твоих похождениях. Ты настоящий Казанова, папочка, Казанова. Молодец, да и только! Может, ты и сейчас не прочь, а? Я вижу гантели, эспандер, видно, тренируешься вовсю. И девочки, небось, навещают, чувихи. А где в это время бывает моя сумасшедшая бабка?

БАКУРИ – Тс-с!

СОЛИКО (наливает коньяк, пьет) – Я спрашиваю, где моя чокнутая бабка, где эта ведьма?

БАКУРИ – Замолчи! (Глазами показывает на соседнюю комнату.)

СОЛИКО – Неужели к ней вернулся рассудок?

БАКУРИ – Как можно так говорить о бабушке? Это тебя, наверное, на митингах научили.

СОЛИКО – Да, я забыл, ты ведь и митинги не любишь.



БАКУРИ – Не люблю.

СОЛИКО – И наше движение.

БАКУРИ – Услышит, жалко ее.

СОЛИКО – Она по-прежнему играет в куклы?

БАКУРИ – Пусть, кому это мешает.

СОЛИКО – Что значит – пусть? Ты считаешь нормой, когда бабушки играют в куклы?

БАКУРИ – По-моему, совершенно не принципиально, считаю я это нормой или нет...

СОЛИКО – А что принципиально в таком случае?

БАКУРИ – Если хочешь знать правду, я лично совершенно не считаю игру в куклы безумием... И вообще я редко встречал таких мягких и безобидных людей... Которые умеют слушать... Пусть сидит себе в уголке и слушает...

СОЛИКО – Значит, ты разглагольствуешь, а она тебя слушает! Нашел слушателя!

БАКУРИ – Да я вообще ничего не говорю...

СОЛИКО – А что же она тогда слушает?

БАКУРИ – Мы сидим вдвоем молча и слушаем друг друга.

СОЛИКО – Постой, постой, посмотри на меня! Ты что, тоже?..

БАКУРИ (с улыбкой) – Ну, посмотрел.

СОЛИКО – Ты случайно не того? Ты, очевидно, решил окончательно свести меня с ума! Как это – сидим молча и слушаем друг друга?!

БАКУРИ (с улыбкой) – Похоже, что ты никогда этого не поймешь.

СОЛИКО – И слава Богу! Не надо мне этого...

БАКУРИ (после паузы) – Ты прав, слава Богу, что тебе этого не надо...

СОЛИКО – Вот это, я понимаю, зять! Надо мне при-

тащить сюда своих ребят с видеокамерой, пусть заснимут, как вы сидите молча и слушаете друг друга. Странно... Странно... Вокруг меня все странно. Не могу разобратся, ни за что не могу ухватиться. Откуда эта немыслимая любовь между тещей и зятем? Разве это не признак катастрофы? Вот еще один пример цинизма. Дочь убежала из дому, живет с другим, а мамаша остается с покинутым мужем, сидит, играет в куклы и слушает молчащего зятя. Объясните мне, что это такое, это ли не безумие? Стопроцентный маразм!

БАКУРИ – Чего ты кричишь, я же просил говорить потише, чтобы она не слышала.

СОЛИКО – Вы только посмотрите, как он о ней заботится!

БАКУРИ – В самом деле забочусь.

СОЛИКО – Что же она не взглянет на меня хоть разок, я же, в конце концов, ей не чужой. Может, я даже в большей степени ее внук, чем твой сын.

БАКУРИ – Ты о чем? Я что-то не понимаю.

СОЛИКО – Ладно, неважно... Я потом тебе объясню, в другой раз, если, разумеется, ты сам не знаешь.

БАКУРИ – А что я должен знать?

СОЛИКО (зовет) – Бабушка Тасо, где ты?

БАКУРИ – Оставь ее в покое.

СОЛИКО – Все играет.

БАКУРИ – Ну играет.

СОЛИКО (кричит) – Бабушка Тасо!

БАКУРИ – Успокойся, она сама придет.

Входит Тасо.

СОЛИКО – А вот и бабушка Тасо! Здравствуй, бабуля, как ты поживаешь? Я пришел специально тебя

навестить. Ты узнаешь меня? Я твой внук, Солико. Ну, посмотри на меня. Может, выпьешь со мной немножко? (Обнимает ее.) Я люблю бабушек из-за запаха. Я даже во сне по этому запаху скучаю. Можно я тебя понюхаю? Не «Шанель» же это, что ты так ломаешься. По-моему, она меня не узнала! Да и как узнать, если мы полтора года не виделись. Нынче даже год считается большим сроком. На год теперь даже преступника не осуждают. Кто теперь выдержит год в кутузке, скажите на милость! Человек сегодня живет от года до года. Господи, как мне нужна бабушка! Я без бабушки зверем вырос! Давайте выпьем за наших бабушек и дедушек, за несостоявшихся банкротов и мотов. В самом деле, как провели этих замечательных людей – ведь никто из них не признает за собой вины! А я, между прочим, с искренним уважением относился к ним. Вот и осталась у меня одна бабулька – Тасо, а толку-то – все равно она меня не узнает. Наверное, терпеть не может политиков, как и ее зять. Бабушка, что тебе принести, скажи, чего тебе хочется? Очки в золотой оправе не обещаю, но что-нибудь... Короче, говори, что хочешь...

БАКУРИ – Оставь ее в покое.

СОЛИКО – Почему это? Что я, не имею права поговорить с бабушкой, с матерью моей мамы? Если хочешь знать, мы с ней более близкие родственники, чем вы – теща и зять. Я, между прочим, ее внук. Знаешь поговорку: сын покорил мое сердце, а внук – сердцевину сердца. Главное, иметь сердце. Бабушка, остался у тебя этот самый дефицитный товар? Есть еще у тебя сердце? Дай мне увидеть это чудо, дай услышать его стук. Я так давно его не слышал! Бабушка Тасо, ты не слышишь меня? Хоть раз взгляни на меня, ну, пожалуйста!

ТАСО (садясь на стул) – Я свою нянечку Олю

сестричкой звала. А ей, представляете, это казалось обидным. Она сердилась: Тасо, Тасо, Тасико, не выводи меня из терпения! (Смеется.) А мне нравилось называть ее сестричкой. Эта старушка с такими добрыми руками действительно казалась мне посланной Богом сестрой... Ведь у меня не было сестры ни в детстве, ни потом, и вообще не было никого, кого я могла бы называть сестрой, кроме няни Оли. А она, глупенькая, сердилась. Сидела на кухне и плакала. И еще курила. По-моему, она для того плакала, чтобы мы ей не мешали курить. Я не люблю табачный дым. А кто любит, если только сам не курит? Никто... Зачем же я должна любить?.. У нас были большие настенные часы, когда они звонили, у меня сердце от страха сжималось. Оля говорила, что у них такой голос – непременно оживут. И я не отходила от часов, ждала, когда они оживут. Отец хотел их кому-то подарить, но я не разрешила. Я люблю старинные часы, старинные вещи. Старинные вещи – уже как живые. Если бы человеку хватило времени, он бы дожил до их воскрешения. (Указывая на Солико.) Кто это такой?

СОЛИКО (прижимая руку к груди) – Это твой внук, ты не помнишь?

ТАСО – Не помню...

СОЛИКО – Что значит не помнишь?! Твой собственный, единственный внук – и не помнишь?

БАКУРИ – Я же сказал, оставь ее в покое.

СОЛИКО – Конечно, конечно, оставлю. Сейчас, сию минуту... Куда это я попал, вы в самом деле ненормальные!

БАКУРИ (кричит) – Замолчи! (Улыбаясь, примирительно.) Давай лучше поговори со мной, что ты пристал к старушке...

СОЛИКО – Да меня самого нормальным не назо-

вещь. Остались ли вообще на этом свете нормальные люди? Как определить – кто нормальный, а кто нет? Бабуля, хочешь, я тебе принесу «Барби», она на доллары продается. Сейчас, бабуля, все продается только на доллары. Если хочешь, я приведу «Барби», она славная девчонка! Я недавно ее для своей дочки купил, для Нуцико, она так обрадовалась, ты себе даже представить не можешь! А мне казалось, что ее вообще обрадовать невозможно. Целыми днями она сидит и рисует, молчит, не произносит ни слова. Я поинтересовался – что, думаю, она рисует. Оказалось – ничего, проводит волнистые разноцветные линии. Я в тот день и фломастер ей принес, но «Барби» она обрадовалась больше. Она – твоя правнучка, а ты ее прабабушка, понимаешь?

ТАСО – Кто этот человек?

СОЛИКО – Ты не узнаешь меня, да? Никогда меня не видела и даже о моем существовании не слышала, так ведь?

Тасо встает, одну руку прячет за спину, другую поднимает вверх и описывает в воздухе круг.

СОЛИКО (отцу) – Что это она делает?

БАКУРИ (с улыбкой) – Танцует.

СОЛИКО – Да, но...

БАКУРИ (с улыбкой) – А что тут такого?

СОЛИКО – Ничего? Ничего такого?

БАКУРИ – А что, собственно, произошло?

СОЛИКО – Ты считаешь, что ей как раз до танцев?

ТАСО (садится, складывает руки на коленях) – Итак, мои дорогие, самым интересным, наверное, было бы ожившее зеркало – ведь оно столько поглотило, словно ненасытное морское чудовище. Вот оно и выплеснет все,

выплюнет, исторгнет назад. Перепутается тогда все — опухшие от слез глаза, перекосившийся от злости подбородок, налитый ненавистью кадык... Несчастливые люди особенно привязаны к зеркалу... (После паузы.) И еще...

СОЛИКО — Бабушка, я пью за тебя, вместе с твоими зеркалами, часами, комодами. Вот я скоро открою антикварный магазин, заберу тебя и посажу посреди салона. Не знаю, как насчет вещей, но ожившие деньги я тебе точно покажу. Пока у нас ожили только деньги, и это очень интересно. Вчера ко мне в кабинет вошла одетая в глубокий траур женщина. К груди она прижимала портрет молодого парня с черной траурной лентой. Я поднялся ей навстречу, спрашивая, чем могу быть полезен. Она вдруг грохнулась на колени, протянула мне обеими руками портрет и завопила: оживи, верни мне мои деньги! Я-то думал... Короче, не стоит об этом говорить. Мой отец — писатель и может не так меня понять. Но ты, верящая в ожившие вещи, поймешь, с каким удивительным явлением мы имеем дело! Нынешний воскресший Лазарь — деньги, бабуля, деньги! А ну, попляши еще, у тебя очень ловко получается! (Хлопает в ладоши.)

Тасо танцует.

(Обращаясь к отцу.) Кто все-таки вам помогает — ведь нужен хлеб, продукты с рынка или из магазина?

БАКУРИ — Мы ни в чем не нуждаемся...

СОЛИКО — Пляши, бабуля, пляши!

БАКУРИ — Остановись, довольно.

СОЛИКО — А ты почему не хлопаешь? Бабушка Тасо обидится!

БАКУРИ — Я сказал — довольно.

СОЛИКО – Чего ты злишься? При чем тут я? Если что не так – прости великодушно! Что взять с выросшего безродным сиротой мальчишки!

БАКУРИ (улыбаясь) – Ты столько говоришь, что у меня разболелась голова.

СОЛИКО – Ничего подобного! Я вообще ничего не говорил. Вот бабушка Тасо пляшет, а я в ладоши хлопаю. Не хлопать? Пожалуйста, не буду. Но бабушка обидеться может, что тогда будем делать? Обидим бабушку?

БАКУРИ (с улыбкой) – Хорошо, не будем обижать...

Тасо садится, складывает руки на коленях.

СОЛИКО – Бабуля, не хочешь еще потанцевать?

БАКУРИ – Ты же видишь, она устала.

СОЛИКО – Это и есть деспотизм – женщина хочет танцевать, а мы ей мешаем. Дайте мне мегафон! Да здравствует свобода! (Хлопает в ладоши.)

Тасо снова принимается танцевать.

БАКУРИ (ударяя кулаком по столу) – Прекратить!

Тасо вздрагивает, останавливается, садится, сложив на коленях руки, выпрямив спину, словно прилежная ученица.

СОЛИКО – А ты, оказывается, и кричать умеешь!

БАКУРИ (улыбаясь) – Хватит нам танцев...

СОЛИКО – Хорошо еще наши ребята тебя не видят...

БАКУРИ – А что было бы?

СОЛИКО – Объявили бы тебя предателем нации или агентом Кремля.

БАКУРИ (с улыбкой) – За что?



СОЛИКО – За то, что мешаешь женщине танцевать. Грузию, между прочим, спасли женщины. Да здравствует грузинский танец, не имеющие в мире равных телодвижения, да здравствует торжество грузинского гена! Слава бабушке Тасо! (Пьет. Утирая ладонью губы.) Где тут у вас туалет? Я вас на минуту покину, не скучайте... Я сейчас... Я и не знал, что у меня бабушка – плясунья. Прямо Нино Рамишвили... (Натыкается на стул, чуть не падает.) Зачем ты заставил меня пить... Я чуть не грохнулся на пол... «Нет, не расстанется с жизнью грузин...» Я сейчас приду. Не скучайте. Бабуля, я сейчас вернусь... (Выходит, шатаясь.)

ТАСО (негромко) – Дождь.

БАКУРИ – Да, дождь.

ТАСО – Очень опасно...

БАКУРИ – Да, опасно...

ТАСО (достаёт из кармана передника куклу, ласкает ее) – Испугалась, бедняжечка? Еще спрячемся ненадолго, совсем немного осталось... (Прячет куклу в карман фартука и складывает руки на коленях. После паузы.) Значит так...

Пауза.

Еще немного...

Пауза.

Дождь...

БАКУРИ – Не плачь.

Входит Солико.

СОЛИКО (умытый, приглаживает волосы) – Ты, бабуля, права, мы все сестрички. Ты права. Иначе кто я такой? Отца своего терпеть не могу и все равно прихожу. Зачем, какая сила меня притягивает, не знаю, не знаю...

Делает вид, что не узнала меня. Ты лучше себя обманывай! Плясать принялась при мне зачем-то. А затем, что я и в прошлом году заставил тебя танцевать. Мы вместе танцевали. Я был пьян. Да, и тогда тоже. Ну и что, зато сплясали на славу. Оба. И ты, и я. Прекрасно меня узнала и нечего притворяться... (Неожиданно оборачивается к отцу.) Почему ты заставляешь меня пить?

БАКУРИ – Это я заставляю? Нет, вы только посмотрите на него!

СОЛИКО – Ты же знаешь, что в пьяном виде я за руль не сяду. Прекрасно знаешь. К тому же еще дождь... Я боюсь дождя. Это ты тоже знаешь...

БАКУРИ – Если боишься, оставайся здесь, никто тебя не гонит.

СОЛИКО – Здесь? (Смеется.) Здесь? (Делает рукой в воздухе круг.) Здесь?

БАКУРИ – Да, здесь. Я тебе постелю в своей комнате.

СОЛИКО – О-о-о, это большая честь!.. (Смеется.) Остаться здесь? Но ведь... Нет, объясните мне, если можно, почему я должен здесь остаться? Что я вообще здесь потерял? Объясните, пожалуйста, что значит это слово «здесь»?

БАКУРИ (улыбаясь) – Ты пьян. Я не знал, что тебе надо так немного.

СОЛИКО – Немного? (Пьет.) Теперь будет много! Значит, ползут, ползут и ползут вверх, как муравьи. Вот так. Все хотят, даже муравьи, вылезти из этого гнилого болота. Все! Все, кроме тебя и моей бабки. Вы погружены в свои сны. Ты, кстати, по-прежнему видишь сны?

БАКУРИ – Да, вижу. (С улыбкой.) Меня трудно изменить...

СОЛИКО – И так же кричишь по ночам?

БАКУРИ – Да, так же...

СОЛИКО – Ну кто сейчас видит сны, скажи на милость, кому сейчас до снов, все летит в тартарары, какие уж тут сны!

Подходит к отцу, садится рядом, обнимает его. Отец тоже кладет руку ему на плечи. Они сидят, обнявшись, и смотрят друг на друга.

СОЛИКО – Почему ты на меня смотришь?

БАКУРИ – А ты, ты почему?

СОЛИКО – Мне интересно, похож я на тебя или нет.

БАКУРИ – Нет, совсем не похож. Ты же сам это знаешь.

СОЛИКО – Естественно, знаю... Но... Почему я так ужасно не похож на тебя, почему я совсем, совсем другой... (Улыбается.) Расскажи мне какой-нибудь сон.

БАКУРИ (улыбаясь) – Ты только что сам сказал, что теперь не до снов!

СОЛИКО – Расскажи, прошу. (Икает.) Моя супруга, Нинико, призналась, что никогда не видит снов.

БАКУРИ – Твоя мама тоже представления не имела о снах, хотя обожала, когда я рассказывал...

СОЛИКО – Как можно рассказывать сны?

БАКУРИ – А что тут такого?

СОЛИКО – По-моему, это то же, что рассказывать, как действует твой желудок. (Икает.) Вот и мамочка меня вспомнила. Ха-ха-ха!

БАКУРИ – Почему ты смеешься?

СОЛИКО – А тебе разве не смешно?

БАКУРИ – Что тут смешного?

СОЛИКО – Никто не смеется над моими остротами. Анекдоты я не запоминаю. А если запомню – не могу

рассказывать. А мне так хочется рассказывать анекдоты, чтобы все смеялись. Некоторые ловкачи карьеру на анекдотах сделали.

БАКУРИ – Больше тебе ничего не хочется?

СОЛИКО (помолчав) – Больше ничего. Ты на самом деле лежал в больнице?

БАКУРИ (улыбаясь) – Когда это было!..

СОЛИКО – Небось помогал кому-нибудь...

БАКУРИ – Уже и не помню!

СОЛИКО – Никак не оставишь свое донкихотство?

БАКУРИ – Что-о?

СОЛИКО – Не понял до сих пор, что время помощи ушло...

БАКУРИ – Ушло?

СОЛИКО – Ты что, не понимаешь, о чем я говорю?

БАКУРИ – Не понимаю.

СОЛИКО – Ушло, осталось в прошлом. Помощью ты губишь и себя, и других.

БАКУРИ – Я этого не знал...

СОЛИКО – Теперь никто никому не помогает. В этом заключается помощь. Когда каждый для себя – так меньше вреда. Ты не знал?

БАКУРИ – Нет, не знал.

СОЛИКО – Ничего, с сегодняшнего дня будешь знать.

БАКУРИ – Да, теперь буду знать.

СОЛИКО – Хочешь, я расскажу тебе твой сон?

БАКУРИ – Расскажешь мне мой сон?

СОЛИКО – Да, твой... Ты скучаешь? Все равно у тебя нет другого выхода, видишь, как я тебя крепко держу. Начинать?

БАКУРИ – Интересно...

СОЛИКО – Дай только вспомнить.

БАКУРИ – Ты забыл мой сон?

СОЛИКО – Значит так. (Изменившимся, взволнованным голосом, чувствуется, что каждому слову придает большое значение.) Из таинственных недр природы выплывает еще один, новый вечер и окутывает землю. Звезды, прикованные к оконным решеткам, словно узники, начинают свои ночные размышления, которые потом, словно сны утешения, раздают всем, кто спит, как убитый, уставший влачить за собой скрипучую телегу бытия. Сон – это зеркало смерти. А вечер – пустой, огромный, каменный лабиринт, по которому мы, взявшись за руки, бредем, словно дети, бредем по темному и холодному коридору и слышим, и чувствуем, хотя и не видим, что впереди, перед нами идет еще кто-то и тащит что-то тяжелое. Что? Ответь мне! Неужели мы никогда не встретим того, кто идет в темноте, впереди нас?..

Они долго и молча смотрят друг на друга.

Узнаешь?

БАКУРИ – Да, но...

СОЛИКО – Ты удивляешься, что я это запомнил?

БАКУРИ – Хотя бы и этому... Это ведь очень старые стихи.

СОЛИКО – Главное, что твои!

БАКУРИ – Я уже не помню, писал ли когда-нибудь стихи...

СОЛИКО – В библиотеке колонии был журнал «Мнатоби». Однажды я открыл его и сразу наткнулся на твои стихи. Вырвал этот лист и взял себе. Перед нами кто-то идет в темноте. Я боюсь этого стихотворения, оно как заклинание. Во всяком случае для меня. Я всегда боялся колдунов. И тебя, наверное, боюсь поэтому.



БАКУРИ – Ты меня боишься?

СОЛИКО – Да... (Икает.) Прошу прощения, Оче-

нь...

БАКУРИ – Меня?

СОЛИКО – Конечно. Иначе зачем бы я приходил сюда, только страх приводит меня, и ничто иное.

БАКУРИ – Зачем ты выучил эти стихи наизусть?

СОЛИКО – Честно говоря, сам удивляюсь – они без рифмы и вообще без ничего. Что за стихи!

БАКУРИ – Потому выучил, что они мои?

СОЛИКО – Просто там нечего больше было читать. Потом я испугался. Уже себя самого.

БАКУРИ – Почему? Что такого случилось?

СОЛИКО – Однажды... (Икает) Кто это меня так часто вспоминает? Кому я мог понадобиться!.. Я чуть не убежал, не мог больше там оставаться. Меня чуть собаки не разорвали, сожрали бы живым... Бабушка, ты любишь животных? Я тебя спрашиваю, бабуля!

БАКУРИ – Вчера, во сне, я хотел всем рассказать, как я умер... Чего только не приснится! Поэтому я должен был куда-то идти. Мне снилось, что я сижу в лифте и вдруг смотрю – ангел прилетел. Он снял с себя крылья, отряхнул их, словно зонт, свернул, сложил и улыбнулся мне.

СОЛИКО – Я думаю, что этим ангелом была бабушка Тасо.

БАКУРИ – Возможно. Возможно, что это была она... Я сказал, что прощаю всех, виновных в моей кончине. Вот именно. Это я хотел сказать. Меня привели в огромный зал, тысячу прожекторов направили в лицо. Мне было так жарко, что я обливался потом. И самое удивительное было то, что в том же зале, под заснеженным мостом, с арок которого свисали огромные сосульки, по-

хожие на погасшие люстры, я видел скованную льдом реку и на берегу этой замерзшей реки стоял ты. Я ведь только во сне вижу своих родственников! Ты вырезал во льду полыню. Как будто из ямы кто-то смотрел на меня... Я оправдывал всех, всех!.. Удивительно, как быстро исполнился этот сон... Я даже не думал, что ты вообще умеешь читать. Я думал, ты разбираешься только в цифрах. В этом заключались все твои знания...

СОЛИКО – Между прочим, приблизительно так это и есть. Если ты думаешь, что я и другие твои сочинения читал, ошибаешься. Если думаешь, будто я верю, что ты рассказываешь мне сон, еще более ошибаешься... Я понимаю, что ты хочешь сказать.

БАКУРИ – Я ничего не хочу сказать.

СОЛИКО – Ладно, ладно, хватит об этом.

БАКУРИ – Я в самом деле рассказываю тебе сон и ничего другого не имею в виду и ничего другого не хочу сказать. А что мне вообще говорить!.. Уже поздно... Из-за своего состояния я не могу уже отличать сон от реальности. Причем сон значительно интереснее, чем моя настоящая жизнь...

СОЛИКО – Напрасно ты оправдываешься...

БАКУРИ – Я оправдываюсь?

СОЛИКО – Да, и с большим опозданием. Хотя, кто знает...

БАКУРИ – Оправдываться никогда не поздно.

СОЛИКО – Но кому и зачем это нужно? Кто поет колыбельную на кладбище!

БАКУРИ – Что ты сказал?

СОЛИКО (икает) – На кладбище, говорю. (Икает.) Прошу прощения... колыбельную.

БАКУРИ – Не думай, что я приbedняюсь. Просто мне захотелось поговорить с тобой, хотя ты меньше всех

способен понять меня. Я убежден, что Бог лишил тебя способности отличать правду от лжи. Однако это не минус, а Божья благодать – ты застрахован от напрасных душевных терзаний, ведь ничто так не похоже на правду, как ложь.

СОЛИКО – Бабуля, бабуля, а ты животных любишь?

БАКУРИ – Послушай, я, кажется, с тобой разговариваю.

СОЛИКО – Ну вот, я тебя слушаю. Что дальше?

БАКУРИ – Отвечай!

СОЛИКО – Что отвечать?

БАКУРИ – Зачем ты сюда пришел?

СОЛИКО – Повидать тебя, повидать бабушку. Соскучился. Что за вопрос – зачем пришел! Не прихожу, спрашивают, почему не приходишь, прихожу – зачем приходишь. Ничего не понимаю! Или я чокнутый, или... Разве бабушка не сказала тебе, зачем я пришел. Ведь наша бабушка ясновидящая, Пифия, Кассандра, не знаю, кто там еще был прорицателем! Бабушка ведь видит все. Для нее не существует расстояния, времени, стен. От нее не скроешься. Вот такая у нас бабушка! Бабуля, скажи-ка, зачем я пришел сегодня сюда? Кстати, мне самому это интересно, потому что я на самом деле не знаю, зачем пришел, какая сила тянет меня сюда, зачем я сюда бегу. (Икает.) Извините! Это точно Нинико меня вспоминает, прицепилась. Небось стоит у окна и ругает меня последними словами. Только что из Турции вернулась, полна энергии. О, как изощренно она ругается, мне до нее далеко! Иду, иду, Нинико, не волнуйся. Вот бабушка скажет, зачем я пришел, и я сразу отправлюсь домой. Ничего, что дождь, ничего, что я напился. Да, напился. Представь себе, что напился! (Икает.) Мда... Еще одно испытание! Жена Акакия ворвалась однажды в час ночи в



полицейский участок в Париже с криком: пропал ребенок, помогите мне его найти! Сколько лет вашему ребенку, мадам, спросил полицейский. Сорок, ответила она. Бедный полицейский чуть в обморок не упал. Надеюсь, моя жена так не поступит, не опозорит меня, не станет звонить в полицию. Мы, слава Богу, не в Париже. Вы со мной согласны, что это не Париж? У нас мужчина в сорок лет еще ребенок, его жалеют, его страшно выпускать на улицу. (Икает.) Пардон!..

БАКУРИ – Никто тебя отсюда не гонит. Я же сказал – оставайся на ночь.

СОЛИКО – Попробуй скажи это Нинико, посмотрим, что она тебе ответит. О-о, Нинико – это сила! (Передразнивает ее.) Дети, быстрее в постель! Кому я говорю! Не заставляйте повторять меня дважды. (Хлопает в ладоши, топает ногой.) Раз, два, три! (Обычным голосом.) Бабуля, скажи, наконец, ты животных любишь? (Встает, подходит к бабушке, опускается перед ней на одно колено.) Скажи! (Поет.) «Скажи мне, красавица, любишь ли ты меня...» Ну как? Эту песню я посвящаю тебе, моя милая прорицательница!..

ТАСО (словно вслух вспоминает что-то) – Длинный, пушистый, блестящий мех на хвосте так трепетал, словно кто-то невидимый постоянно на него дул...

СОЛИКО – На кого он дул, на кого? (Встает. Кричит.) Соотечественники! (Прикрывает глаза руками.) Ух!

БАКУРИ – Подойди, сядь рядом, куда ты бежишь?

СОЛИКО – Мне пора.

БАКУРИ – погоди, Тасо напоит нас чаем.

СОЛИКО – Не хочу чай. Ничего не хочу. Ничего! Что тут происходит?.. Не хочу ни оставаться, ни уходить... Вообще ничего не хочу... Ну-ка скажи, бабуля, как трепетал мех, покажи нам, нет, лучше я сам тебе

покажу. (Становится на четвереньки.) Мяу, мяу... Ну-ка, подуй на меня... Нет, не хочу, кошкой тоже не хочу, несмотря на то, что кто-то постоянно на нее дует. Я муравей, слышишь, папа, муравей, который терпеливо ползет, лезет, карабкается вверх, к верхушке. Муравей – самое замечательное творение на земле. Если оставим в стороне все остальное, человек именно от муравья научился стоять в строю. (Вытянувшись в струнку, марширует по комнате.) Раз-два, раз-два! Стой! Смирно! Равняйся! Вольно! Все цивилизации созданы рабами и солдатами, держащими строй...

БАКУРИ – Ими же и разрушены...

СОЛИКО – Да, и разрушены тоже... Я помню этого кота! Потасканного, непомерно жирного. Ему даже на стул трудно было вскочить... Он на нас смотрел прищуренными глазами, презрительно, словно оккупант... Но я боялся маму... Это был мамин кот, ее баловень... Однажды я ошпарил его кипятком, как будто случайно. Ну и досталось же мне! Не знал, куда укрыться. Наверное, меня спасло то, что ради кота убивать сына все-таки считается не интеллигентным поступком. Ты помнишь?

БАКУРИ – Нет, этого я не помню.

СОЛИКО – Мама искрила, словно ее подключили к электросети. У нее одинаково блестели волосы, глаза, косметическая маска на лице, украшения... Именно тогда сказала моя ясновидящая бабушка: – «Вижу колючую проволоку и за проволокой – мальчика». Ты и это не помнишь? Она на 7 лет раньше срока увидела меня в колонии... Я убежал и заперся в туалете. Я никак не мог унять мучительную дрожь, снова охватившую меня. Хотел даже вас позвать на помощь... Папочка, ты ведь поэт, витаешь в облаках, а сверху не видно, как наша цивилизация сама себя сожрала. Как пожирает собственные

внутренности... Следователь спросил меня, где работает отец. Я ответил, нигде не работает, он писатель. «Вах? – удивился следователь. – Доносы пишет?» Он не знал значения этого слова. Так что, папочка, не расстраивайся. То, что должно быть разрушено, – разрушится.

**БАКУРИ** – Куда бежишь, иди ко мне!

Солико снова садится рядом, снова обнимает отца за плечи.

**СОЛИКО** – Ну вот, я пришел. Что прикажешь?

**БАКУРИ** – Я просто позвал тебя...

**СОЛИКО** (после паузы) – Ты боишься смерти?

**БАКУРИ** – Очень... Конечно, боюсь.

**СОЛИКО** – Почему?

**БАКУРИ** – Не знаю. Смерти все боятся.

**СОЛИКО** – Почему ты боишься, не задумывался над этим? Все по разным причинам боятся смерти. Смерть любит причину, так ведь? (Икает.) Ох, Нинико, Нинико!

**БАКУРИ** – Ты прав...

**СОЛИКО** – Если я прав, то ответь, лично ты, по какой конкретной причине боишься смерти?

**БАКУРИ** – Знаешь, я как-то не думал об этом... Может, потому, что больше не смогу умереть, боюсь, что больше не буду бояться.

**СОЛИКО** – Я опять забыл, с кем разговариваю, так мне и надо! При чем тут смерть, когда человек пышет здоровьем и крепче многих таких, как я.

**БАКУРИ** – Да будет тебе...

**СОЛИКО** – Вот ты сказал, что всех оправдываешь...

**БАКУРИ** (смеясь) – Это было во сне!

**СОЛИКО** – Сказал, что в смерти своей никого не винишь...

БАКУРИ – Да, в случившемся виноват я один...

СОЛИКО – А разве что-то случилось?

БАКУРИ – Не понял?

СОЛИКО – Мне казалось, все мы благополучно выкрутились.

БАКУРИ – ???

СОЛИКО – Мама нашла свой путь, я – свой, ты – свой. Все кончилось по-американски – хэппи эндом. Только прежде, чем я окончательно отправлюсь в последний путь, хочу сказать одну вещь...

БАКУРИ (со смехом) – Хочешь оставить мне завещание?

СОЛИКО – Нет. (Смотрит на отца долго, не отрываясь.) Нет, ничего... (Кладет на стол руки и роняет на них голову.)

Пауза.

БАКУРИ – Ты спишь?

Солико не отвечает.

БАКУРИ – По-моему, он действительно заснул.

СОЛИКО (медленно поднимая голову) – Все знали, все, и среди всех, разумеется, ты, что мама встречается с другим. Они ничего не стеснялись. Напротив, как будто звали всех полюбоваться на их роман. Наверное, товарищи за моей спиной смеялись надо мной. Мне было 15 лет, ровно столько, сколько надо, чтобы от стыда и унижения кусать себе локти. Вот тогда ты возненавидел меня. Точнее, я возненавидел тебя за твое спокойствие. В 15 лет я уже почувствовал, что я один на этом свете. Мне было очень тяжело. Я задыхался. Мне было стыдно за тебя. А он почти ежедневно привозил маму домой на

своей машине. Ты не мог не видеть этого, не знать. Несколько раз я опускал письмо в наш почтовый ящик. Из вырезанных из газеты букв составил анонимку, как в кино...

БАКУРИ – Мне очень трудно говорить это, но я все равно должен сказать. Мне кажется, ты не любил свою мать... Я ничем не могу это объяснить... Все время думаю об этом. Это явная патология.

СОЛИКО – Никакая это не патология. Я могу сформулировать это точнее. Она не любила нас, она нас оставила.

БАКУРИ – Кого нас?

СОЛИКО – Меня и тебя.

БАКУРИ – Ты так думаешь?

СОЛИКО – Да, так и было. Она только и делала, что кокетливо крутилась перед зеркалом.

БАКУРИ – Женщина должна быть кокетливой.

СОЛИКО – Нам она нравилась и без этого. В общем, я ненавижу тебя за то, что ты терпел столько унижений. В один прекрасный день я украл из ящика пистолет, принадлежащий отцу моего товарища и...

БАКУРИ – Зачем ты мне это рассказываешь? Я все прекрасно знаю.

СОЛИКО – Я не тебе рассказываю, а для себя выясняю детали. Разбираю проигранную партию. Где я допустил ошибку? Иначе получается, что я проиграл партию, не допустив ни одной ошибки. Разумеется, я имею в виду себя. Для вас я сам был ошибкой, со своим идиотским самолюбием, от которого я, слава Богу, избавился, так как почувствовал, что если меня что-то погубит в этой жизни, так это, в первую очередь, самолюбие... Я поджидал их у подъезда, и когда мама поднялась по лестнице, я выстрелил в ее кавалера. Не буду

скрывать – я хотел убить его, целился прямо в сердце, но попал в бедро. Отбросил пистолет, сел и заплакал. Нет, не от страха, от жалости к самому себе. Такого со мной раньше никогда не случалось. Я понял – это ужас, когда человеку жалко себя. Пожалуй, ничего более неприятного я никогда не испытывал... Он подполз ко мне, обнял за ноги и взмолился: спаси меня, позови кого-нибудь, я истекаю кровью. Я вскочил и начал кричать «спасите». Когда тебя подпустили ко мне во время суда, ты дал мне пощечину, я запомнил ее, как укус змеи, нет – укол скорпиона! Наверное, скорпион еще опаснее... Пять лет я провел в колонии, ты не навестил меня ни разу, даже издали не помахал мне рукой... Мама тоже не появилась...

БАКУРИ – Ты меня опозорил.

СОЛИКО – Это я тебя опозорил?! Я? Нет, я в самом деле сойду с ума.

БАКУРИ – Сожалею, что ты до сих пор так этого и не понял...

СОЛИКО – Я и не мог этого понять.

БАКУРИ – Да, наверное... На суде он сказал, что пистолет у него случайно выстрелил.

СОЛИКО – Если бы мой товарищ не сдрейфил и не проговорился, что я украл пистолет у его отца, мне бы вообще ничего не грозило...

БАКУРИ – И это ты называешь мстью?

СОЛИКО – Такие уж мы слабаки, а вы зато невероятно благородные, милостивый государь!

БАКУРИ – Терпеть не могу этого – «вы», «мы»! Кто это, интересно, придумал?

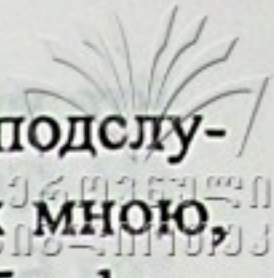
СОЛИКО – Ребенок, который проштрафился, да, именно проштрафился, причем самым роковым образом; вы можете дать ему оплеуху в присутствии милицио-

неров, а сами на сверкающих коньках скользите по льду лжи и предательства. (Изображает, как «взрослые» катаются на коньках.) «Привет, привет!», «О, кого я вижу!», «Как вы поживаете, дорогой?», «Благодарю вас, отлично!», «Какой прекрасный сегодня лед, не правда ли?», «О-о, лед действительно превосходный!», «В прошлом году он был значительно хуже», «Вы правы, с каждым годом лед становится все лучше и лучше»...

Пауза.

(Обычным тоном.) А когда я оттуда вышел, сам не хотел вас видеть... Я перебрался к крестной. Вы тоже, надо сказать, не особенно из-за этого убивались. Однажды — я же сказал тебе, что мы слабаки — я все же пришел к вам. Мне даже не понадобилось подниматься домой — ты играл во дворе с детьми, такой же голый по пояс, как они... Короче говоря, ты меня предал.

БАКУРИ — Ничего я тебя не предавал. Так же, как не предавал других. Если, конечно, не считать изменой то обстоятельство, что я подчинился тому порядку, который узаконен нашим обществом, то есть и я тоже метастазой лжи включился в мотор ненависти. Меня всегда душило какое-то необъяснимое чувство. Ощущал я также, как ежесекундно старею. Словно на обледенелом склоне. (Смеясь.) Вот тебе, пожалуйста, опять твой лед! (Обычным тоном.) Я поскользнулся и покатил вниз. А еще я знал, что эта преждевременная старость — результат вынужденного терпения. Рано стареет тот, кто вынужден что-то терпеть. Меня ошеломило открытие, что убереечь от превратностей человека может один только эгоизм. Внешне ничего не изменилось, только ночи, ночи превратились для меня в адскую муку.



Несметное множество событий – пережитых и подслушанных где-то, прочитанных или придуманных мною, перемешанные друг с другом, превратившиеся в бесформенную массу, кипели, как водоворот, вовлекший меня в свое бешеное вращение, и я трепыхался, как эпилептик в невидимых когтях недуга...

Пауза.

Ты понял что-нибудь?

Пауза.

На первом этаже нашего дома жил...

СОЛИКО – Кто?

БАКУРИ – Не все ли равно, ты его не знаешь...

СОЛИКО – Если все равно...

БАКУРИ – Ты хочешь спросить, зачем тогда я рассказываю тебе об этом?..

СОЛИКО – Да, зачем рассказываешь?

БАКУРИ – Да так, для себя, вслух делюсь воспоминанием...

СОЛИКО – Ты что, не знал об этом с самого начала?

БАКУРИ – Чего не знал?

СОЛИКО – Того, что всем заправляет эгоизм?

БАКУРИ (не отвечает, думает что-то про себя, словно вообще забыл о присутствии Солико. Потом негромко начинает) – У него была специальная машина для инвалидов, а точнее «Москвич», переделанный для инвалида. К машине его жена подносила на руках. Куда он ездил – не знаю. Может, зарабатывал как таксист. Какое мне дело! Это произошло возле нашего подъезда. Их было трое, в военной форме, с автоматами в руках. Не отбира-



неров, а сами на сверкающих коньках скользите по льду лжи и предательства. (Изображает, как «взрослые» катаются на коньках.) «Привет, привет!», «О, кого я вижу!», «Как вы поживаете, дорогой?», «Благодарю вас, отлично!», «Какой прекрасный сегодня лед, не правда ли?», «О-о, лед действительно превосходный!», «В прошлом году он был значительно хуже», «Вы правы, с каждым годом лед становится все лучше и лучше»...

Пауза.

(Обычным тоном.) А когда я оттуда вышел, сам не хотел вас видеть... Я перебрался к крестной. Вы тоже, надо сказать, не особенно из-за этого убивались. Однажды – я же сказал тебе, что мы слабаки – я все же пришел к вам. Мне даже не понадобилось подниматься домой – ты играл во дворе с детьми, такой же голый по пояс, как они... Короче говоря, ты меня предал.

БАКУРИ – Ничего я тебя не предавал. Так же, как не предавал других. Если, конечно, не считать изменой то обстоятельство, что я подчинился тому порядку, который узаконен нашим обществом, то есть и я тоже метастазой лжи включился в мотор ненависти. Меня всегда душило какое-то необъяснимое чувство. Ощущал я также, как ежесекундно старею. Словно на обледенелом склоне. (Смеясь.) Вот тебе, пожалуйста, опять твой лед! (Обычным тоном.) Я поскользнулся и покатил вниз. А еще я знал, что эта преждевременная старость – результат вынужденного терпения. Рано стареет тот, кто вынужден что-то терпеть. Меня ошеломило открытие, что убереечь от превратностей человека может один только эгоизм. Внешне ничего не изменилось, только ночи, ночи превратились для меня в адскую муку.

Несметное множество событий – пережитых и подслушанных где-то, прочитанных или придуманных мною, перемешанные друг с другом, превратившиеся в бесформенную массу, кипели, как водоворот, вовлекший меня в свое бешеное вращение, и я трепыхался, как эпилептик в невидимых когтях недуга...

Пауза.

Ты понял что-нибудь?

Пауза.

На первом этаже нашего дома жил...

СОЛИКО – Кто?

БАКУРИ – Не все ли равно, ты его не знаешь...

СОЛИКО – Если все равно...

БАКУРИ – Ты хочешь спросить, зачем тогда я рассказываю тебе об этом?..

СОЛИКО – Да, зачем рассказываешь?

БАКУРИ – Да так, для себя, вслух делюсь воспоминанием...

СОЛИКО – Ты что, не знал об этом с самого начала?

БАКУРИ – Чего не знал?

СОЛИКО – Того, что всем заправляет эгоизм?

БАКУРИ (не отвечает, думает что-то про себя, словно вообще забыл о присутствии Солико. Потом негромко начинает) – У него была специальная машина для инвалидов, а точнее «Москвич», переделанный для инвалида. К машине его жена подносила на руках. Куда он ездил – не знаю. Может, зарабатывал как таксист. Какое мне дело! Это произошло возле нашего подъезда. Их было трое, в военной форме, с автоматами в руках. Не отбира-

йте машину, – сказал я, – жалко человека.

СОЛИКО – Это во сне было?

БАКУРИ (после паузы) – Да, во сне...



Пауза.

СОЛИКО – Я очень удивился, когда узнал, что бабушка Тасо осталась с тобой. Неужели она обнаружила в тебе хотя бы каплю человечности? Удивительно. Впрочем, что удивительного – она же у нас ясновидящая, видит больше и лучше, чем другие. Может, это мы слепые, а она...

БАКУРИ – Да, она по собственной воле осталась со мной. Твоя мать хотела ее забрать, но она не соглашалась. (С улыбкой.) Не захотела расставаться со мной...

СОЛИКО (крутя пальцем у виска) – Потому что...

БАКУРИ – Нет, не потому.

СОЛИКО – Именно потому!.. Вот меня, например, она не узнает, родного внука. В куклы играет в свои 80 лет!

БАКУРИ – Ну и что?

СОЛИКО – Спрашивает, видите ли, про меня, кто этот человек!..

БАКУРИ – Сам виноват.

СОЛИКО – С какой стати?

БАКУРИ – Она чувствует, что ты ее не любишь.

СОЛИКО – Разве я обязан ее любить?

БАКУРИ – Вот она и чувствует.

СОЛИКО – Я вообще никого не люблю... Хватит. Довольно. Баста!

БАКУРИ – У каждого свои причуды. У всех. Одни ловят рыбу в реке, в которой давно уже нет ни одной рыбешки. Другие вырезают из журналов картинки, тре-

ты собирают счастливые трамвайные билетки, некоторые обожают кошек, а некоторые гуляют с собачкой. Не знаю, какие тебе еще примеры привести... Кто-то – вот она – в куклы играет...

СОЛИКО – Но почему? Я хочу знать, почему?!

БАКУРИ – Не знаю... Как тебе сказать... Смотри, самолет не может пойти на посадку, пока не истратит все горючее. И человек не может уйти из этого мира, пока целиком не избавится от запаса нерастроченной любви. Любовь он обязан оставить здесь, на земле... Но дело в том, что иногда тот, кого ты любишь, именно он, не нуждается в твоей любви... Ты понимаешь или я говорю непонятно?

СОЛИКО – Нет, понимаю.

БАКУРИ – Больше я ничего не могу сказать тебе, просто не в силах объяснить по-другому...

СОЛИКО – А что тут объяснять? Зачем мы придумываем такие странные вещи, которые приходится объяснять, почему усложняем и без того невыносимую, собачью жизнь – вот в этом надо разобраться.

БАКУРИ (со смехом) – Не пытайся разбираться во всем.

СОЛИКО – В общем, опрокину еще одну рюмочку – и айда!

БАКУРИ – Если уходишь, то чем раньше, тем лучше.

СОЛИКО – Лучше было вообще не приходить.

БАКУРИ (с улыбкой) – Это спорный вопрос!

СОЛИКО – Да, все в мире спорно. Бесспорно лишь одно – нет ничего на этом свете более алогичного, чем наши с тобой отношения. Может, это тоже цинизм, циничный рок. Этим бокалом я хочу выпить за уходящих и остающихся. Ну, я пошел. (Медленно пьет, не сводя глаз с отца. Ставит бокал на стол.) Тебе не интересно, почему

я это говорю?

БАКУРИ – Нет, не интересно.

СОЛИКО – Зря ты сердишься.

БАКУРИ – Кто тебе сказал, что я сержусь?

СОЛИКО – Мы даже внешне с тобой не похожи, и фамилии у нас разные...

БАКУРИ – Что, что ты сказал?

СОЛИКО – Значит, тебе еще не донесли...

БАКУРИ – Разные фамилии?

СОЛИКО – Или не успели донести. Я сменил фамилию, перешел на фамилию жены...

БАКУРИ – На фамилию жены?

СОЛИКО – Да, на фамилию Нинико. Мне с самого начала ее фамилия нравилась – Цимакуридзе! Хорошая фамилия – правда?

БАКУРИ – Да, хорошая. Что дальше?

СОЛИКО – Что именно – дальше?

БАКУРИ – Ничего...

СОЛИКО – Нет уж, говори, говори все. Я готов отвечать. Меня тесть попросил, говорит, единственная дочь, ну и все такое...

БАКУРИ – Да, но...

СОЛИКО – Об этом мы уже говорили!

БАКУРИ – Но ты же не знаешь, о чем я хотел спросить.

СОЛИКО – Тебя интересует, не задето ли мое самолюбие. Так ведь?

БАКУРИ – Ну так... допустим.

СОЛИКО – Самолюбие – это большая роскошь, папочка. Мы – маленький народ. Но поскольку мы все-таки народ, мы тоже хотим жить. Так ведь?

БАКУРИ (после небольшой заминки) – И дети тоже?

СОЛИКО – Естественно! Дети должны носить фами-

лию отца. Правильно?

БАКУРИ – Да, конечно... (Наливает себе коньяк, пьет.)

СОЛИКО – Я тоже не прочь выпить вместе с тобой за компанию. (Пьет.) Вот и вторую бутылочку уговорили. Люблю, когда бутылка опустошается. Нет более логичного явления, чем когда полная бутылка становится пустой. Разве я не прав? Ну, я пошел. (Подходит к Тасо, садится на корточки возле ее колен.) Ну-ка, бабуля, покажи мне свою куклу!

ТАСО (приподнимается) – Кто этот человек?

СОЛИКО – Ладно, будет тебе. Это мы уже проходили. Покажи, говорю, свою куклу. Я же ничего другого не прошу. Дай мне только взглянуть на нее, дай подержать в руке.

БАКУРИ – Оставь ее в покое.

СОЛИКО – Я же не прошу ничего особенного и ничего такого не говорю – хочу посмотреть на куколку. Обычно бабушки растят внуков, а моя от меня прячет куклу. Видели ли вы что-нибудь подобное? Рассказать моим ребятам – ни за что не поверят. Почему бы бабушке не дать мне куколку, подумаешь, тоже мне, королева Дании. Да и датская королева, если узнает о таком, точно обидится. Я же обещал тебе принести «Барби», ты ведь хочешь «Барби», бабуля? Непременно принесу. Когда я купил дочке, она прямо с ума сошла от радости. Ну-ка, бабуля, покажи мне твою куклу, сравним ее с нашей «Барби».

ТАСО – Кто этот человек?

БАКУРИ (к Солико) – Не мучай ее...

СОЛИКО (огрызается) – Ты в наши дела не вмешивайся. (К Тасо.) Давай, бабуля, в каком кармане спрятана у тебя кукла, покажи мне...

Тасо засовывает руки в карманы передника.

Ах, вот где это тряпичное чучело? Я же в прошлом году отнял у тебя, а ты снова сварганила? Кому я сказал – не делай больше, кому я сказал? А ну, достань руки из карманов! Живо, живо, у меня нет времени, я опаздываю.

ТАСО – Нет, нет, нет! (Плачет.)

БАКУРИ – оставь ее, слышишь?

СОЛИКО – Сначала одну руку достанем... (Силой вытаскивает ее руку из кармана.) Теперь вторую... Смотри, как она зажала в кулаке. Давай раскроем вторую руку. Ну, быстренько! Вот так...

ТАСО – Нет, нет, нет! (Плачет.)

БАКУРИ (кричит) – Сейчас же отпусти руку, оставь ее в покое!

СОЛИКО – Давай сюда эту проклятую куклу, старая ведьма! Ну и рука у нее, не рука, а когти, вцепилась мертвой хваткой. Пусти! Скоро я заберу тебя к нам и отучу от этих глупостей. Ты моя бабушка, понимаешь, никак не могу ей вдолбить – это надо же! Ну и силища у нее, полюбуйтесь! Прошла пора этих глупостей, хватит с вас!

БАКУРИ (кричит) – Как ты смеешь, сопляк, прекрати сейчас же! (Ударяет кулаком по столу.)

СОЛИКО (не обращая на него внимания) – Вот так. Еле разомкнул эти клещи. Вот теперь молодец! Умница! (Отнимает куклу.) Из-за этого ты со мной боролась, это прятала, по-твоему, это кукла?! Нет, бабуля, нет, придется взять тебя к себе, показать настоящую куклу. Что это такое – палка, завернутая в тряпье? Ах, как стыдно! Что это с вами? Видимо, вы в самом деле сбрендили окончательно! А может, вы и вправду колдунья?

БАКУРИ (кричит) – Убирайся отсюда!

СОЛИКО – Сейчас мы сломаем эту щепочку. Вот так. Теперь разорвем тряпочку. Ну, где твоя куколка, бабуля? Не плачь, моя малютка, я же обещал подарить тебе сто-долларовую «Барби» с разными нарядами, с бельем и зонтиком. Я действительно заберу тебя к себе – моя бабушка должна жить у меня, а как вы думали! Короче, я пошел. Не скучайте, я в скором времени появлюсь. Бай-бай! (Икает.) Бегу, Нинико, лечу! (Уходит, пошатываясь, громко хлопнув дверью.)

Тасо плачет.

Бакури сидит, спрятав лицо в ладонях.

Пауза.

Тасо утирает слезы, подходит к Бакури, кладет руки на спинку его стула – оказывается, Бакури сидит в инвалидной коляске. Тасо выкатывает коляску на авансцену. Оба смотрят в пространство, напряженно ожидая чего-то.

Пауза.

ТАСО – Вот сейчас он едет по спуску... По этой улице мы катались в экипаже с мадемуазель Мадлен... А вот и их дом!.. Он выехал на набережную... Шарит руками по сидению – что-то ищет... Ах да, сигареты... Три месяца не курит, но сигареты всегда держит при себе... Колеблется, закурить или нет... Достал из пачки. Теперь ищет спички... Не находит... Идет дождь... Асфальт и мокрые листья блестят... Он берет сигарету в зубы и жует ее... выплевывает. Прямо в лобовое стекло. Чистит его рукой... Смеется... Да, смеется... Только не могу



разобрать, смеется или плачет... Машина скользит, ее заносит... Он с трудом выравнивает ее. Ведет по тротуару вдоль барьера набережной... Набережная пуста... Сухие листья, взметенные ветром, кружат в воздухе, словно вороны... Тени мечутся в причудливом танце... Вот он тормозит... Грудью ударяется в руль... Смеется... Да, громко смеется...

БАКУРИ – И я внезапно увидел полынью во льду...

ТАСО – Он снова поехал, резко сорвался с места...

БАКУРИ (смеясь) – Неужели это все мне в самом деле приснилось?..

ТАСО – Он снова тормозит...

БАКУРИ (смеясь) – И замерзшая река...

ТАСО – Сидит неподвижно, уронив лицо на руль...

БАКУРИ – И полынья во льду...

ТАСО – Снова сорвался с места... Быстрее, еще быстрее (кричит, как бы обращаясь к Солико), давай, прибавь газу!

БАКУРИ (смеясь) – А из полыньи как будто кто-то на меня смотрит!..

ТАСО (вскрикнув) – Ах! (Закрывает лицо рукой.)

Сцена постепенно темнеет.

Конец

*Перевод с грузинского Анаиды БЕСТАВАШВИЛИ*

Обычно женщины скрывают свой возраст. По крайней мере, не афишируют его. Напоминать о нем считается несомненной бестактностью, если не хамством. Но есть женщины, как правило, привлекательные и красивые, которые не скрывают свои годы. К ним относится Анаида Беставашвили, или Ида, как ее называют близкие.

Ей исполнилось 60 лет и сорок из них отданы литературе. Очень знаменательны такие цифры – за это время ею переведены и изданы в Тбилиси и Москве сорок книг, опубликовано около ста статей о грузинской литературе, кино, театре, изобразительном искусстве, проблемах художественного перевода, исторических и культурных взаимосвязях народов. Причем Анаида Беставашвили переводила романы, рассказы, пьесы, а также научные труды об искусстве. Переводы печатались в различных печатных органах, в том числе и в «Литературной Грузии».

Среди авторов, переведенных на русский язык Анаидой Беставашвили, – Демна Шенгелая, Константин Лордкипанидзе, Симон Чиковани, Георгий Цицишвили, Эдишер Кипиани, Гурам Асатиани, Тамаз Чиладзе, Отар Чиладзе, Арчил Сулакаури, Резо Чеишвили, Гурам Гегешидзе, Чабуа Амирэджиби, Серги Чилая и многие другие. В 70-е годы ею были переведены книги «Грузинская народная новелла», «Грузинский народный юмор», «Грузинские народные сказки». Дважды – в Тбилиси и Москве – был издан средневековый эпос «Русуданиани». Анаида Беставашвили была составителем поэтических сборников Реваза Маргиани, Отара Чиладзе, Джансуга

Чарквиани, а также русских поэтов Яна Гольцмана, Владимира Леоновича, Юрия Ряшенцева, Наталии Соколовской, Ларисы Фоменко и других.

В 1964 году Анаида Беставашвили входила в комиссию подстрочного перевода и комментариев, созданную в связи с юбилейной датой Шота Руставели, а в 1968 году она работала над подстрочными переводами произведений Николоза Бараташвили.

Многие годы Анаида Беставашвили преподавала в Московском литературном институте им. М.Горького, возглавляла там кафедру грузинской литературы.


Редакция «Литературной Грузии» поздравляет Анаиду Беставашвили со знаменательной датой. Желает ей крепкого здоровья, жизненных и творческих успехов и выражает надежду, что наше сотрудничество продлится и впредь.

*Редакция «Литературной Грузии»*

## ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

«Она была самой красивой нашей студенткой. В перерывах между лекциями мы ходили на нее смотреть», — вспоминал о годах учебы с Идой Беставашвили один из московских писателей, окончивший в начале шестидесятых Литературный институт имени Горького в Москве.

С Анаидой Николаевной я познакомился несколько лет спустя, когда она уже жила в Тбилиси и была самым красивым редактором издательства «Литература да хеловнеба». Пишу об этом с непреходящим чувством радости. Именно она предложила мне попробовать пере-



вести на русский стихи грузинских поэтов, а затем стала их первым критиком, взыскательным и строгим, навсегда определив наши отношения формулой: наставник – ученик.

Я знаю не так уж много людей, которые бы практически (а не декларативно) на протяжении всей жизни занимались тем, что на официальном языке именуется грузино-русскими литературными взаимосвязями. В их числе – Фатьма Твалтвадзе, Элизбар Ананиашвили, Георгий Маргвелашвили, Отар Нодия, Ида Беставашивили. Именно благодаря ей грузинскую поэзию и прозу узнали, полюбили и стали переводить молодые русские литераторы – студенты ее семинара в Литинституте.

Анаиде Николаевне было чему учить и чем делиться. Вот уже почти сорок лет она один из лучших переводчиков грузинской прозы. Благодаря ее перу многие произведения стали фактом не только грузинской, но и русской литературы.

В последние годы Анаида Николаевна занимается правозащитной деятельностью – судьбами беженцев, которыми сегодня наводнена Москва. Порой она иронизирует над этой своей участью, порой сердится на себя за безотказность, но ей на всех хватает участия и доброты.

Мы давно на «ты», я давно называю ее Идой, но всегда помню, что она – Анаида Николаевна. И всегда радуюсь ей!

**Илья ДАДАШИДЗЕ**

**მიხო მოსულიშვილი**

**«НЕ ПРОПОЕТ ПЕТУХ...»**

*Посвящаю светлой памяти Зураба Цикаридзе и Демура  
Картозия, павших в Камани 9 июля 1993 года.*

Шел серый затяжной дождь. По изуродованной снарядами трассе пробирался белый ооновский «джип» с прицепом. За рулем сидел молодой капитан в темной форме, в пилотке, рядом с ним — одетый в такую же форму вице-полковник в очках с золотистой оправой. Сзади расположился пожилой мужчина в гражданской одежде с подбитым глазом. Крючковатый нос и усталый взгляд придавали ему вид старого нахохлившегося ястреба.

— Сейчас уже не опасно, сэр, — продолжал начатый разговор вице-полковник, — наконец-то мне удалось оставить в Миссии нашего московского переводчика, я сказал ему, что с русским языком у меня нет проблем...

— Если вас еще что-то интересует, то я готов удовлетворить ваше любопытство, — проговорил пожилой.

«Прекрасно владеет английским!» — с удовлетворением отметил курносый капитан и переключил на средний режим «дворники», которые неустанно скользили по стеклу, очищая его от полчищ дождевых капель.

— Но почему вы прибыли с чужим паспортом?

— Наша разведка выразила опасение, что я сильно рискую, направляясь сюда.

— Судя по вашему глазу, эти опасения небезосновательны... Мы в курсе, что вы родственник генерала, но в

каком вы родстве ?

— В довольно близком, сэр.

— Вы лично знакомы?

— Несколько лет тому назад я читал цикл лекций в американских университетах и имел счастье лично с ним познакомиться.

— Лекции на какую тему? — заинтересовался капитан.

— О творчестве Сэлинджера... Тогда нас и познакомили.

— Замечательно, мистер Пит! Я считаю себя другом генерала — мы закончили одну военную академию... — воскликнул вице-полковник. — Как-то ему посоветовали сменить фамилию, она, мол, слишком длинная и трудно произносимая. И знаете, что он на это ответил? «Это ваша проблема, а не моя!»

— Что ж, достойный ответ.

— Где погиб ваш сын?

— Судя по рассказам его товарищей, в окрестностях деревушки, куда мы сейчас направляемся.

— Вчера вас избили только за то, что вы соотечественник Сталина! А теперь, если узнают, что вы ищете сына... Словом, как я все больше убеждаюсь, и предусмотрительность вашей разведки и мое сопровождение — это необходимость.

— Ночью он мне приснился... Я пытался его убедить, что не пощажу для него и жизни, но он мне не верил и недоверчиво улыбался.

— При каких обстоятельствах он погиб?

— Говорят, остался один на высоте, прикрывал отход роты. Хотя, кто знает...

— Может, он жив и в плену? Такое тоже случается! — словно продолжил мысль собеседника военный наблю-

датель.

— Все может быть...

— Ваш сын герой, оказывается! — воскликнул молча прислушивавшийся к беседе капитан.

— Вы тоже, профессор, в какой-то степени герой! — добавил вице-полковник.

— Насчет сына я полностью с вами согласен! Что же касается меня — вряд ли! Я всего-навсего отчаявшийся отец, изо дня в день вымаливающий у Бога одного — возвращения сына... И жду его, скорее мертвого, нежели живого... Хотя какая-то надежда еще и теплится во мне. На все воля Божья...

— Ого! Да вы к тому же верующий!

— Я, как и мои предки, православный христианин, сэр. И Левана я воспитал в том же духе...

— Мы же, Адамсы, — протестанты...

Машина вдруг резко затормозила и остановилась.

— В чем дело, Том?! — спросил вице-полковник, чуть не ударившись о лобовое стекло.

— Дорога перерыта, сэр! — чуть помешкав, выдавил несловоохотливый капитан Том Сиббер.

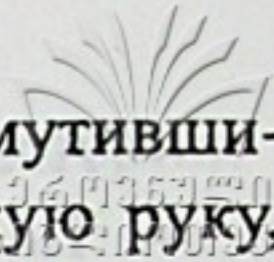
\* \* \*

Над разрушенной войной деревней нависла свинцовая туча.

Дождь лил не переставая.

Одинокие вороны хохлились на развалинах обугленных домов.

На окраине обезлюдевшей деревни возвышалась церковь с зияющей пустотой вместо двери и обрушившимся от взрыва снаряда сводом. Дождь безжалостно поливал расстрелянные автоматной очередью фрески. В



глубине церкви, у алтаря, жирная свинья с помутившимися красными глазками грызла человеческую руку, похрюкивая и подергивая хвостиком от удовольствия. Неожиданно животное бросило добычу и, громко взвизгнув, выскочило вон, под дождь. Перебежав через проулок, свинья вылетела на небольшую площадь, где попыталась схватить петуха, устроившегося на брошенном кем-то перевернутом холодильнике. Тот, почуяв беду, исполошенно закукарекал и перелетел на другой конец площади. Раздалась короткая автоматная очередь, вспенившая лужи вокруг петуха, однако он успел перемахнуть через частокол и исчез. Звуки выстрелов отбили у свиньи охоту преследовать птицу, она развернулась в противоположную сторону, сломя голову пересекла площадь и сиганула в проулок. Тяжело дыша, свинья неслась по проулку. Оставив позади деревню, ворвалась на убранное кукурузное поле и помчалась к возвышающемуся там же холму. Взбежав на него, она, похрюкивая, подошла к вскопанному месту, огляделась и ткнулась рылом в размягченную дождем землю.

Стрелял стоявший на посту часовой с изрытым оспой лицом.

Спустя некоторое время к нему подбежал другой солдат, толстый, задыхающийся от бега.

— Что случилось? — спросил он, с трудом переводя дыхание.

— Кажется, это был петух, перелетел вон через тот частокол, — как-то неуверенно ответил часовой, не решившись сказать и о свинье.

— Ты, видать, под кайфом, Джибраил! — хохотнул толстяк. — Да разве мог здесь уцелеть петух?! Баста, не кури больше!





— Ага, наверное, померещилось.

— Ты не проголодался?

— Так себе...

— Ибрагим овцу привез, из штаба прислали.

— Ништяк!

— Хочешь, сменю тебя?

— Нет, не надо, приходи в свое время, через час.

Толстяк повернул назад, быстрым шагом дошел до школьного двора — в здании школы располагалась изрядно поредевшая рота полковника Ибрагима Бек-Идрисова.

В довольно просторном кабинете на втором этаже женщина в камуфляже не сводила своих змеиных глаз с полковника, который, оголившись по пояс, сбросив обувь, стал на молитву.

— Аллах акбар! — воскликнул полковник. Женщина слышала звуки стрельбы, но не смела произнести ни слова, до окончания молитвы запрещалось что-либо говорить.

— Именем Аллаха всемогущего и всемилостивого, — покорно выдохнул молящийся и начал ритуал омовения — плеснул на лицо несколько пригоршней воды из тазика, всполоснул рот, промыл нос и уши, пригладил пальцами густую бороду, омыл сперва правую ногу, затем левую и завершил процедуру омовением рук.

По рассказам Убаида, бывшего муэдзина, женщина помнила, — когда правоверный готовится к омовению, справа от него располагаются ангелы, а слева шайтаны. При упоминании Аллаха шайтаны шарахаются от него в страхе, и в это время им завладевают ангелы, которые ставят палатку из света, возносят хвалу Всевышнему, моля отпустить ему грехи.

Молящийся иступленно простер руки и повторил:

— Аллах акбар!

Затем сложил ладони и благоговейно принялся читать первую суру Корана. «Во имя Бога милостивого, милосердного... Слава Богу, Господу миров, милостивому, милосердному, держащему в своем распоряжении день суда! Тебе поклоняемся и у Тебя просим помощи: веди нас путем прямым, путем тех, которых Ты облагодетельствовал, не тех, которые под гневом, не тех, которые блуждают».

В данный момент для Ибрагима ничего не существовало вокруг, им владел экстаз — он был наедине со своим Богом. Наклонившись вперед, положив ладони на колени, он замер на какое-то время, затем выпрямился, воздел руки и воскликнул:

— Сами-ал лаху лиман хамидаху!

Он опустился на колени, опершись локтями об пол, потом распростерся на нем так, что носом коснулся коврика, на котором творил молитву. Затем приподнялся, оставаясь на коленях, снова пал ниц и снова приподнялся — один ракат\* был исполнен, и он начал второй. Все повторилось сначала. Наконец он сел, поджав под себя ноги, гибкий, как скальный тигр, — ни одного лишнего движения.

— Свидетельствую, нет Бога милосерднее Аллаха и Мухаммед пророк Его!

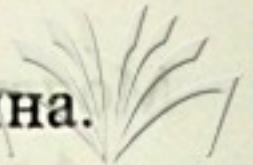
С блаженным выражением на лице он начал шептать особую молитву о пророке.

— Ас-саламу алейкум ва рахмату-л-лахи! — громко проговорил он, поворачиваясь сперва вправо, потом влево.

Теперь к полковнику можно было обратиться.

---

\* Часть молитвенного обряда.



— Стреляли из автомата! — сказала женщина.

— Я ничего не слышал, — ответил он, надевая носки и просовывая ноги в высокие ботинки.

— Пойду, разузнаю, — не смогла скрыть своего недовольства женщина. Она взяла свой неразлучный снайперский карабин с оптическим прицелом и вышла из комнаты. Сбежав по ступенькам, направилась к наскоро сколоченному навесу во дворе, где на костре из обломков поломанных парт закипал котел с водой. Вокруг приставленных друг к другу столов стояли стулья. Там же, на крюке висела баранья туша, которую острым кинжалом разделывал Убаид в халате и чалме. Вокруг костра бойцы в маскировочной форме по очереди прикладывались к пшеничной водке. Свернув какое-то курево с едким запахом, они, глубоко затягиваясь, пустили его по кругу, и с каждой затяжкой глаза их мутнели подобно глазкам той свиньи-людоедки — то одного, то другого разбирал беспричинный хохот.

— Зачем стреляли? — строго спросила женщина Убаида.

— Часовой стрелял, Гюрза! — опередил Убаида боец с перевязанной головой.

— Петух ему привиделся! — со смешком добавил бывший муэдзин.

— Кто на посту?

— Джибраил.

— Бухой?

— Мы все бухие от гашиша и водки! — осклабился золотозубый.

— Кто принес?

— Ихний.

— Как же вы доверились!

— Да гореть мне в аду, если я доверился! — засуетился

боец с повязкой на голове. — Сперва я его заставил затануться.

— Да ему только гашиш дай, и он пойдет воевать против своих! — отметил золотозубый.

— Ты лучше скажи, Гюрза, что полковник делает?

— Опять молится!

— Мы собирались ему гашиш послать, но испугались — вдруг опять выбросит!

— Он чего-то на себя не похож, что-то с ним стряслось! — сказал перевязанный.

— И меня это беспокоит! — согласилась женщина-снайпер.

— Хотя бы поскорее война снова началась, а то жить скучно, — мечтательно произнес Убаид.

— Ин ша аллах! Дай-то Бог! — раздалось в ответ.

Гюрза, покачивая пышными бедрами, направилась к дому. Солдаты проводили ее изголодавшимися глазами.

— Нет ничего лучше толстозадой бабы! — чмокнул губами юнец со связкой почерневших человеческих ушей на шее.

— Выбрось эту мысль из головы, Акула! — посоветовал ему муэдзин.

— Из-за этой бабы полковник уже отправил на тот свет такого вот вроде тебя! — пояснил золотозубый.

— Так он ее любит? — поразился Акула и, не получив ответа, примолк.

— Убаид, как написано в Коране о войне? — спросил перевязанный.

— «Уверовавшие, оставившие свою родину и ревностно воюющие на пути Божьем, жертвуя своим имуществом и своей жизнью, — на самой высокой степени достоинства пред Богом: они — блаженны». Сура девятая, ая двадцатая.

Дождевые капли исполняли какую-то чудесную, неземную мелодию, падая на грешную землю невиданным прекрасным занавесом.

Полковник, сидя в кресле, просматривал какие-то бумаги и курил сигару.

Покачивая задом, вошла Гюрза.

- Джибраилу петух привиделся!
- Скоро ему джинны и шайтаны начнут мерещиться!
- буркнул Ибрагим, и быстро сложив бумаги в конверт, сунул его в нагрудный карман.

– Что это ты спрятал?

– Письма.

– Чьи?

– Жены.

– Дашь почитать?

– Как-нибудь потом... Что, обкурился Джибраил? – перевел он разговор на другую тему.

– Ты должен запретить гашиш, они уже потеряли человеческий облик!

– Не выйдет.

– Почему?

– Из ста бойцов у меня осталось тринадцать, а запрети я гашиш, нас трое останется – я, ты да Убаид.

– И до каких пор они будут в таком состоянии?

– Пока не пришлют пополнение. Обещают.

– Мальчики уже соскучились по войне.

– Это перемирие ненадолго. Мы еще повоюем, они еще напьются гяурской крови!

«Кровопитие, похоже, у них в обычае, – подумала Гюрза. – Убаид как-то прочел мне стихотворение Шах-Аббаса... Как там было? Где-то пьют вино, у нас же – кровь врага. Фу, гадость!» Она вдруг почувствовала слабость в коленях. Ей представилось, как перерезают

горло и подставляют стакан, чтобы наполнить его кровью. Она мысленно увидела маленький рог, который носил с собой полковник именно для таких случаев... Правда, он сказал «напьются», а не «напьемся»! Что с ним такое происходит?»

Со двора донесся какой-то шум. Гюрза выглянула в окно. Бойцы, галдя, поставили в круг пленного и по очереди наносили ему удары. Слабость в коленях прошла. Она сняла с себя кепи с длинным козырьком — у нее были короткие, стриженные «под мальчишку» волосы, скинула куртку, под которой оказалась только майка в пятнах, плотно обтягивающая грудь без лифчика. Ее холодные, зеленые глаза словно бы остекленели. Гюрза села полковнику на колени и потянулась к его губам.

— Отвали! — прорычал мужчина.

Женщина в бешенстве вскочила, из ее змеиных глаз посыпались искры.

— Ты уже неделю меня отталкиваешь! Что с тобой?!

— Ничего!

— Я больше не выдержу!

— А мне-то что?

— Пойду к Акуле!

— Можешь и с Убаидом лечь! Я не собираюсь из-за тебя еще кого-то убивать!

— Что с тобой, скажешь наконец?!


— Я же сказал — ничего!

— Опять о шайтан-гюрджи думаешь, я же знаю!..

— Правду сказал мне блаженной памяти...

— Блаженной памяти?! Я удивляюсь тебе, Ибрагим, будто не ты пил горячую вражью кровь и не ты играл в футбол их головами!

— Смерть врагу определил сам Аллах, да славится Его имя! Вот только большим храбрецом оказался тот



сопляк!

— Не ты ли поклялся пятерых зарезать на его могиле?!

— Так оно и будет! Одного вон уже готовят!

— А красивый был парень, шайтан-гюрджи... — пропела женщина, — с удовольствием с ним переспала бы!

— Он мне снится.

— Как?!

— Я стреляю в него, но убить не могу.

— Да не морочь себе голову мыслями о нем, — посоветовала Гюрза и, надев кепи и куртку, взяла карабин и вышла.

Дождь, похоже, припустил еще сильнее — небесный занавес стал плотнее.

Пленный едва держался на ногах.

Не зная, на ком выместить свою злость, женщина бесцельно вертелась под навесом, вдруг она недобро ощерилась — на столе стояла корзина с яйцами.

— Пойдите! — закричала она, подбрасывая в руке яйцо. — Я попаду в него с шестидесяти шагов!

— Подумаешь! — блеснул золотыми зубами один из бойцов.

— Положите ему на голову яйцо!

— Смотри, если грохнешь его, сама будешь разбираться с Ибрагимом! — предупредил ее Убаид.

— Прислоните его к частоколу и положите яйцо на голову! — приказала Гюрза.

Акула натянул шапку на уши едва державшемся на ногах пленнику, положил на шапку злополучную мишень и крикнул:

— Смотри не двигайся, не то тебе каюк!

Гюрза вскинула карабин, прищурила глаз и взяла оптический прицел — застыла, как змея, наметившая

жертву, — и, недолго целясь, так плавно нажала на курок, что дуло даже не дернулось.

Пуля просвистела, и по голове пленного растеклась желтая жижа. Восхищенные бойцы захлопали, загалдели.

— Тихо! — прикрикнул Убаид. — Кажется, машина едет!

Все притихли, прислушиваясь.

— Машина! — подтвердила снайпер. — Шевелитесь, спрячьте пленного.

Акула подскочил к истерзанному пленнику.

— Обоссался... твою мать!.. — выругался он и поволок его к подвалу.

Тем временем снаружи заглох шум мотора и раздался сигнал.

Гюрза открыла калитку, выглянула на улицу и увидела белый «джип» с прицепом.

Появился Джибраил.

— Наблюдатели ООН.

— Я по флагу узнала.

— Сзади ихний сидит...

— Что делать?

— Отведем к полковнику! Только... погоди... Ты на седого взгляни!

— Ну и что?

— Да будь я проклят, если это не отец шайтан-гюрджи!

— Разве? — усомнилась женщина. — Ты так обкурился...

— Да ты присмотрись! — возмутился Джибраил и подал знак сидящим в машине выходить. Все трое вышли из машины и вошли в школьный двор.

Гюрза уставилась на штатского. Лоб, нос, глаза — вылитый шайтан-гюрджи! Надо спросить фамилию и



имя! Нет, сперва нужно взглянуть на военное удостоверение убитого. Где оно может быть? Ах, да. В полевой сумке Ибрагима... А на фиг ей удостоверение?! Они похожи как две капли воды! Нужно сказать бойцам, пока они не поднялись к полковнику. Пусть здесь же, сейчас же расправятся с ним!

Прибывшие укрылись от дождя под навесом.

— Кто такие? — спросил Убаид.

— Хочет перезахоронить труп, — Джibraил указал на профессора, — а эти — сопровождающие.

— Давно ли отправили на тот свет трех наблюдателей?! Они, что, не поняли, их никто не боится? — осклабился Акула.

— Ты смотри на эту собаку! — взвизгнула вдруг молчавшая до сих пор Гюрза и, метнувшись к профессору, расцарапала ему лицо.

— Ты что, рехнулась?! — обалдел Убаид, хватая ее за руку.

— Это же отец шайтан-гюрджи! — вопила женщина.

— Сам пришел?! — обрадовался перевязанный.

Том Сиббер машинально схватился правой рукой за ремень, пожалев, что он без оружия.

— Кто здесь главный? — громко спросил вице-полковник, заслонив собою профессора.

— Ого, он еще и русский знает! — осклабился золотозубый.

— Я должен выпить его кровь! — Акула подскочил к профессору и выпустил ему в лицо дым от вонючей сигареты.

— «Наркотик»! — подумал Петрэ, и взгляд его упал на связку ушей, от которой шел смрад, его замутило; вдруг словно молния пронзила ему голову, и он рухнул в грязь от сильного удара.

— Как можно бить безоружного! — возмущенно крикнул Джерри Адамс. — Позовите главного!

Гюрза побежала наверх.

— Его сын убил восемнадцать наших! — взорвался Убаид и изо всех сил пнул ногой поверженного. У того из разбитой губы сочилась кровь.

Наблюдатели ООН заслонили упавшего от разъяренной толпы, которая неумолимо сужалась вокруг них.

— Как фамилия того парня? У него, что, не было документов?! — кричал вице-полковник.

— Вот документ! — крикнула с лестницы Гюрза и раскрыла удостоверение. — Леван Шаликашвили!

— Но я не Шаликашвили! — дрожащим голосом возразил профессор, его все еще мутило. Он вынул из кармана паспорт и протянул женщине. — Вот!

— Симон Чаладзе! — прочитала она.

— Убедились?! — закричал Джерри Адамс. — Зря вы его бьете! Этот человек перезахоронил уже семнадцать погибших!

— Все враки! Он отец шайтан-гюрджи! — взвизгнула Гюрза. — Это он вскормил того щенка!

— Это он! Он! — неистовствовали остальные.

— Ох, твою мать! — взревел Акула, и выхватив нож, стал приближаться к Петрэ. Том Сиббер стал перед ним в боксерской стойке.

— Позовите главного! — надрывался вице-полковник.

— Прекратить! — гаркнул выскочивший на балкон Ибрагим Бек-Идрисов. Он стремительно сбежал по лестнице. — Спрячь нож, Акула!

Обладатель жуткого ожерелья беспрекословно подчинился команде, не сводя, однако, злобного взгляда с капитана в темной форме.

— Господин полковник, ваши люди чуть не убили это-

го мирного человека! — не смог скрыть возмущения военный наблюдатель ООН, моргая голубыми глазами за золотистой оправой.

Том Сиббер помог подняться профессору, смочил под краном носовой платок и, поднеся ему, шепнул: «Думайте о чем-нибудь хорошем, профессор! Не поддавайтесь страху!»

— Муэдзин, на тебя-то что нашло?! — спросил полковник.

— Он копия того щенка, Ибрагим! Ты только посмотри!

— Он отец того, кто убил восемнадцать наших! — подтвердил золотозубый.

Блестящие тигровые глаза изучали профессора.

— Мы сверили документы, полковник! Фамилии не совпадают! — отметил Джерри Адамс.

— Покажите! — приказал Ибрагим. Он долго изучал документы. — Займитесь делом! — отрывисто бросил он подчиненным. — А вы, господа, пожалуйста наверх. — Оставшиеся внизу бойцы проводили их злобными, волчьими взглядами.

Лил беспросветный, непрекращающийся дождь.

Гюрза понесла к столу, за которым сидели полковник и его гости, тарелку с четырьмя рюмками и бутылкой коньяка. Она не могла переварить того, что не успела расправиться с вновь прибывшим до появления Ибрагима... Оставался единственный выход — как-нибудь подбить на это дело муэдзина. Его слово имело вес — он знал законы Корана и шариата.

— Налей! — приказал полковник и обратился к наблюдателям: — Слушаю вас, господа.

— Мы приехали с миротворческой миссией — перезахоронить погибшего! — пояснил вице-полковник.

— Господин Симон Чаладзе уже возвратил отчаявшимся родителям тела семнадцати погибших солдат, и мне совершенно непонятна столь агрессивная реакция ваших людей, сэр!

— Приношу свои извинения, произошло недоразумение...

— Жертвой этого недоразумения едва не стал безвинный человек! — возмутился Джерри Адамс. — И какие у нас могут быть гарантии, что подобное не повторится!

После некоторой паузы, во время которой полковник, похоже, боролся с собой, последовал ровный ответ:

— Клянусь Аллахом, ничего подобного не случится... И могилу покажем...

— Честное слово офицера? — усомнившись, уточнил вице-полковник.

— Я поклялся Аллахом! И этого более чем достаточно! — резко ответил Ибрагим.

— Вы не так меня поняли, сэр...

— Давайте не будем об этом... — смягчился Бек-Идрисов и, взяв рюмку, предложил выпить за память о погибших.

Чокнулись и молча выпили, после чего Джерри Адамс встал и поблагодарил полковника.

Когда они спускались по лестнице, грянул гром, змеей сверкнула молния и дождь как будто усилился, все больше сгущая небесный полог над многострадальной землей.

Наблюдатели, полковник и профессор сели в «джип», а Гюрза, Акула и Убаид — в «виллис». Вскоре миновали деревню, кукурузное поле, и когда стали подниматься вверх по холму, «виллис» забуксовал. Сидящие в нем так увлеклись спором, что даже не заметили, как «джип», сойдя с дороги, ловко обошел их, но вскоре тоже застрял.

- Это все из-за дождя! — посетовал Том Сиббер.
- Оставайтесь в машине, господин вице-полковник, зачем вам мокнуть, я сам проведу его туда, — предложил Ибрагим.
- Только, пожалуйста, без рукоприкладства! — предупредил Джерри Адамс. — Стыдно, в конце концов.
- Не беспокойтесь! — заверил его полковник.
- Петрэ вышел из машины и достал из прицепа лопату. К Бек-Идрисову приблизились пассажиры «виллиса».
- И все же я думаю, что это его отец, Ибрагим! — сказал муэдзин.
- Он! На все сто — он! — подтвердил Акула.
- Ты же поклялся, что зарежешь его на могиле шайтан-гюрджи! — не унималась Гюрза.
- Но фамилии-то разные!
- Не верь им, говорю тебе, это отец шайтан-гюрджи! — твердил Убаид.
- Ладно, спроси его сам! — устало бросил полковник.
- Гяур, ты ведь отец Шаликашвили? Потому и приехал сюда?!
- Только не вздумай врать, старый пес! — прорычал Акула.
- Я же сказал вам, это не мой сын, я Симон Чаладзе, вы же видели мой паспорт.
- Тогда зачем ты сюда приехал?
- Я должен перезахоронить тело.
- Ладно, отвали! — приказал полковник Акуле.
- Петрэ отошел в сторону.
- Наверняка это его отец! — твердил свое Убаид.
- Вас всех Гюрза накрутила, Убаид! — спокойно проговорил Бек-Идрисов.
- Расслабься, Ибрагим! — взвилась Гюрза. — И этих наблюдателей вместе с их «джипом» мы вмиг

поднимем на воздух, есть еще проблемы?!

— Хорошо придумано! — обрадовался Акула.

— Довольно! — в голосе полковника раздались угрожающие нотки. — Убаид, ты с Акулой останешься здесь, Гюрза пойдет со мной.

— Но полковник... — начал было бывший муэдзин.

— Хватит болтать! Пошли!

Они пешком одолели подъем.

Поднявшись, увидели свинью, роющуюся в земле. Бек-Идрисов выхватил пистолет и, пока одичавшее животное не успело убежать, всадил ему пулю в лоб.

— И как вы, христиане, можете есть это мясо?! — брезгливо поморщился Ибрагим и, не получив ответа, сказал: — Здесь копай!

— Где? — растерялся профессор.

— Здесь, где рылась эта людоедка!

— Благодарю! — сказал Петрэ и схватил за ногу бившуюся в предсмертных судорогах свинью, пытаясь оттащить ее в сторону.

В это время на холм взбежали наблюдатели ООН в сопровождении двух бойцов, остававшихся внизу. Увидев живого профессора, возившегося со свиньей, наблюдатели с облегчением перевели дух.

— Вы избежали еще одной неприятности, сэр! — сказал Том Сиббер.

— Господин вице-полковник, я ведь обещал, с ним ничего не случится! — в голосе Бек-Идрисова прозвучала обида.

— Наши извинения, сэр, но мы хотели бы присутствовать...

— Лучше подождите в машине, — посоветовала Гюрза, — что за кайф смотреть, как выкапывают мертвеца!

— Пожалуй, вы правы, миссис... — невыразительно

произнес Джерри Адамс, — пошли, Том!

— Я останусь с профессором, сэр. Не следует оставлять его с этими дикарями!

— Это будет расценено, как недоверие с нашей стороны. Мы должны уйти!

— Я не пойду, сэр!

— Это приказ, капитан! — разозлился вице-полковник и, не оглядываясь, пошел вниз. После некоторого раздумья Том Сиббер последовал за ним.

— И вы тоже возвращайтесь! — приказал полковник Акуле и Убаиду. — И если даже все здесь взлетит к чертовой матери, не смейте сюда подниматься! И их не пускайте!

— Понятно! — сказал Акула и направился к «виллису».

— Да поможет тебе Аллах! — Убаид последовал за Акулой.

Петрэ дрожащими руками копал могилу. Ценой бесконечных унижений, оскорблений, избиений он достиг наконец того места, где, по рассказам боевых товарищей, погиб его сын. Вон и эти подтверждают, что он убил восемнадцать человек.

«Удостоверение действительно принадлежит моему Левану, но может же быть, что оно случайно оказалось у них? Ведь во время войны все случается. Хорошо еще, офицер разведки снабдил меня паспортом с чужой фамилией, а то мне не уйти бы от этих кровопийц. Полковник, правда, поклялся, что со мной ничего не случится, но кто знает, что у него на уме... Не подоспей я сегодня, эта мерзкая свинья осквернила бы его прах... Слава Тебе, Господи! Спасибо Тебе, что Ты вовремя привел меня сюда и спас моего Левана от свиньи-людоедки...»

Согнувшись над лопатой, профессор истово молился

про себя Богу. Он не чувствовал ни безжалостного дождя, ни взглядов Бек-Идрисова и Гюрзы, молча наблюдавших за его действиями.

Вот он остановился, потянул за полиэтилен, показавшийся из-под земли, в него было завернуто тело, — и осторожно подтащил его к краю могилы. Затем стал раскрывать, все еще на что-то надеясь... Его пробрала дрожь — тошнотворный, сладковатый запах разложения, гораздо более острый, чем тот, что шел от ожерелья Акулы, ударил в нос. Он бросил взгляд на лицо погибшего. «Горе мне, сынок!» — сердце его больно сжалось. Веки, уши, губы, ноздри, виски — тронуты плесенью. Кожа почерневшая. Военная форма вся в лохмотьях от изрешетивших ее пуль и осколков. Нога ниже колена оторвана снарядом... Кто знает, как ему было больно! Несчастный отец окаменел от горя, глядя на то, что осталось от его сына. Господи, помоги ему! Он едва сдерживал рыдания. «При нем должен быть серебряный крестик». Отец расстегнул засохший от крови ворот гимнастерки, пошарил по израненной груди. Есть! Он судорожно дернул за цепочку, на которой висел крестик и почему-то жетон с личным номером. Леван ни за что не повесил бы их на одну цепочку. Он без сил опустился на колени, жгучие слезы заливали ему лицо — хорошо, что идет дождь, может, они не заметят их... И вдруг дикий, нечеловеческий вой исторгся из его груди — вой отчаявшегося волка, загнанного стаей зашедшихся в лае гончих на край пропасти.

— Говорила же тебе — отец! — Гюрза обрадованно вскинула карабин.

— Расслабься, придет и твой черед! — прорычал полковник. — Послушай, гяур! — обратился он к человеку на коленях. — Этого молокососа мы прозвали



шайтан-гюрджи. Он закрепился здесь, а мы атаковали снизу. Храбро сражался, убил восемнадцать моих бойцов. Потом стрельба прекратилась и раздалась песня — странная какая-то, раздирающая душу — помню, отец мой так же пел, когда нас депортировали из черкесских гор в пустыню... Мы поняли, у него кончились патроны. Пятеро наших с автоматами окружили его и, когда подошли совсем близко, он выдернул чеку из «лимонки», подорвал себя и тех пятерых... Я подбежал и увидел, что ему оторвало ногу ниже колена, из раны хлестала кровь... Я кричал не своим голосом — сколько моих людей ты убил! Я обезумел... Вот этот рог, я наполнил его кровью и выпил ее прямо у него на глазах... Он брезгливо поморщился и, не сводя с меня глаз, с трудом выдавил: «И ты бы сражался как я, нехристь!» И умер... С тех пор, как увижу его во сне, он повторяет эти слова...

Наступила жуткая тишина, нарушаемая равномерным шумом дождя.


Где-то неподалеку ударила молния, и грянул гром.

— Это отец! — повторила Гюрза. — Ты ведь зарежешь его прямо здесь?! Не забывай, ты дал клятву!

— Заткнись! — приструнил Бек-Идрисов снайпершу. — Послушай, гяур! Эта жизнь преподносит нам порой удивительные совпадения — приблизительно в его возрасте я воевал в Афганистане. Однажды и меня окружил враг, и я, как шайтан-гюрджи, выхватил «лимонку», когда мне со всех сторон кричали «Сдавайся!» Но я не осмелился дернуть за кольцо... Попал в плен к русским... И теперь я зверь, выращенный в их вольерах!

Полковник тяжело опустился на холм выкопанной Петрэ земли. Бросив взгляд на оторопевшую Гюрзу, вынул из нагрудного кармана письма:

— Пришло время прочитать тебе письма моей жены,



Гюрза!

Потрясенная Гюрза машинально взяла у него стопку писем и бегло просмотрела...

— Значит, Акула предал меня? — задрожала в бешенстве Гюрза... Вдруг вскинув карабин, навела дуло на полковника и спустила курок... Раздался лишь сухой треск.

— Я лишил тебя яда, никого уже не отравишь, — Бек-Идрисов не сводил с нее безучастного взгляда.

Снайперша бросилась в ноги бывшему сожителю и, рыдая, принялась целовать его грязные ботинки, моля о пощаде.

— Я бы убил тебя, да, ладно, иди и благодари шайтан-гюрджи!

Все еще не веря в счастливый конец, она некоторое время ползала в грязи, а потом, подняв голову, вскочила и на полусогнутых ногах побежала прочь, как если бы ожидала пулю в затылок.

— А это тебе на память, гяур! Отныне Ибрагим Бек-Идрисов никогда больше не выпьет ничьей крови! — полковник протянул ужасный сосуд сидевшему там же Петрэ и подставил лицо дождю. После продолжительного молчания он сказал: — В последний раз тебя спрашиваю, это твой сын?

И снова тишина.

Раздавленный горем отец тупо смотрел на маленький рог: «Из этого рога он пил кровь моего Левана! Сказать или нет? Скажу и пусть кончится эта постылая жизнь. Пусть он прирежет меня здесь же, над телом моего Левана...» Но что-то удерживало его от признания. Наверное, желание спасти свою проклятую шкуру оказалось сильнее его самого...

— Нет, не мой! — профессор мог поклясться, что эти

слова произнес не он.

— Почему же так горько плакал?

— От жалости...

— Хоть ты его и вскормил, тебе недостает его мужества! — в голосе полковника звучало сожаление. — Жетон снял?

— Не было жетона.

— Дай его сюда! Я повесил ему на цепочку, когда хоронил! — полковник взял протянутый жетон и стал разглядывать его. — Да спасет его душу Аллах! Храбрый был воин, умер с песней!.. И я так должен был умереть в Афганистане!.. Теперь-то я понял! Он оказался сильнее меня!.. Даже тебя он заставил отказаться от собственной плоти и крови!..

Петрэ Шаликашвили смотрел на Бек-Идрисова и не мог справиться даже с собственным голосом, не в силах выдать ни единого звука.

Стояла невыносимая, зловещая тишина. Тишина оглушающая, жуткая, яростная, от которой у убитого горем отца, казалось, вот-вот лопнут перепонки.

Бек-Идрисов встал и, не глядя на Петрэ, сказал:

— Леван Шаликашвили достоин не такой могилы! Забирай его! И помни, твою голову я тоже дарю Левану!

Профессор сунул в карман маленький рог, накрыл целлофаном тело сына, бережно взял его на руки и пошел вниз по грязной дороге. Полковник следовал за ним. Когда они подошли к машинам, навстречу им выскочили Акула и Убаид.

— Я думал, назад ты вернешься с Гюрзой? — муэдзин не скрывал своего изумления.

— Выбрось эти уши, сынок, воняют они! — обратился Ибрагим к Акуле, который оцетинился было от неожиданности, но, наткнувшись на тяжелый взгляд полко-

вника, сломался, сорвал жуткое ожерелье с шеи и в сердцах отшвырнул в сторону.

— Где Гюрза? — спросил Убаид.

— Отпустил на все четыре стороны! — отрезал Ибрагим, не обращая больше внимания на обалдевшего муэдзина.

Петрэ опустил тело сына в прицеп. Несчастный человек, он действовал механически, неосознанно.

— Нашли, сэр? — приблизился к нему Том Сиббер.

Пряча слезы, профессор молча кивнул головой.

Джерри Адамс пожал руку Бек-Идрисову и поблагодарил его.

Именно тогда со стороны деревни донесся петушиный крик — отчетливый и звонкий.

— Слышали?! — идиотское выражение на лице Акулы сменилось обычным. — Джибраилу не померещилось, в деревне петух.

— Какой еще петух! — обозлился муэдзин и грозно начал: «Пророк! Поощряй верующих к битве: если будет вас двадцать человек стойких, они победят двести; если будет вас сто, они победят тысячу неверных, потому что эти — народ непонимающий». Сура восьмая, аяя шестьдесят шестая.

— «Клянусь ночью, когда она темнеет, клянусь днем, когда он светлеет...» Сура девяносто вторая, аяя первая. С этими призывами ко мне больше не обращай, Убаид! Я только и делаю, что воюю! — как тигр прорычал Ибрагим. Муэдзин проглотил язык, попритих, смутился. Полковник проводил взглядом «джип» и, когда машина с прицепом скрылась из виду, достал из кармана жетон Левана Шаликашвили, протер пальцем, снял с шеи цепочку со своим жетоном, повесил жетон Левана рядом со своим и снова надел цепочку.



Ооновский «джип» пробирался по утопающей в грязи развороченной снарядами дороге.

На заднем сиденье сидел профессор Петрэ Шаликашвили, раздираемый противоречивыми чувствами — он был рад, что нашел наконец тело сына, и заливался горячими слезами от того, что смалодушничал и отрекся от него ради своего спасения. Зловонное, черное ожерелье из человеческих ушей, а затем этот проклятый рог, подаренный полковником, что так жег сейчас ему нагрудный карман, выбили его из колеи. Проклятый рог, из которого выпили кровь его сына...

Позднее, после долгих раздумий, профессор понял, что людоедство и кровопийство — это мораль каннибалов, дошедшая до нас с первобытных времен. По их разумению, своими действиями они подчиняли себе душу врага и множили свои силы. Господь наш Иисус обратил эти обычаи в добро, когда во время тайной вечери «... взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им (апостолам), говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание» (Лука 22-19). «И взяв чашу, благодарив, подал им; и пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая» (Марк 14-23, 24). Господь наш не объяснил нам это глубоко осмысленное действие, апостолы также не растолковали символического значения его — ибо пытаются бороться со злом, не упоминая его... С тех пор и блюдет святая церковь тайну причастия, что очищает наши души от темных, каннибальских инстинктов. Ведь самая страшная кара, которая ждала убийц в старину, — двадцать лет без причастия...

Но в тот момент, в те минуты профессор не мог осмы-

слить всего этого, слишком напряжены были нервы... Из этого маленького рога полковник пил кровь его сына... Господи, спаси и помилуй всех грешников...

Капитан Том Сиббер ловко рулил по этой адской дороге и думал о том дне, когда он выйдет в отставку, вернется в родной Коннектикут, уединится в собственном доме и, подобно Джерому Дэвиду Сэлинджеру, наряду с другими историями, опишет и сегодняшний день.

А вице-полковник Джерри Адамс, не останавливаясь, говорил с Петрэ, то и дело возвращаясь к тому, чтобы профессор не забыл рассказать Джону Малхазу Шаликашвили о его, Адамса, огромной лепте в этом славном и весьма рискованном деле. При этом он поминутно прикладывался к квадратной плоской бутылки с виски «Долговязый Джон».

Однако Петрэ Шаликашвили ничего не слышал и не видел. Ему не давал покоя отринутый им сын; смятение все новыми и новыми, все более мощными волнами обрушивалось на пустынные берега его стенающей души. Он выплакал все глаза, как вдруг, словно бы в утешение, милостиво ниспосланное свыше, раздался петушиный крик, и сквозь слезы увидел он светящиеся слова Иоанна-евангелиста: «Истинно, истинно говорю тебе, не пропоет петух, как отречешься от Меня трижды».

*Перевод Ирины ЗУРАБАШВИЛИ*



**Владимир САРИШВИЛИ**

**СТИХИ О ЛЬВИЦЕ ДИАНЕ**


Редактор, лихо карандаш жуя  
И пребывая в гневе и в запарке,  
Вдруг вкрадчиво спросил: «Душа моя,  
Давно ли не бывал ты в зоопарке?»  
«Что, практикантов нет! — взорвался я, —  
Нашли заданье профессионалу!»  
Редактор, смачно карандаш жуя,  
Ответил: «Львица там забастовала.  
Пойдешь и разберешься. Заодно  
Посмотришь, как живут другие звери».  
Засим он встал, закупорил окно,  
А мне велел закрыть снаружи двери.

Зима медузой дохлой разлеглась  
На местности, весьма пересеченной,  
Косой и колкий, снег впивался в грязь,  
На смесь ее со слизью обреченный.  
Администратор угли ворошил  
В печи железной, прямо в кабинете.  
Он мне инжир (варенье) предложил,  
И чай — все, что имел на этом свете.  
— Сегодня умер Тонио, удав,  
Они глотать не могут на морозе.  
Носил домой. Но у супруги нрав —



На полном, говорю я вам, серьезе...  
Подумаешь – я крыс ему ловил  
И скармливал – что, не живой он, что ли?  
Уж не живой... А как он счастлив был  
При виде крысы со щепоткой соли.  
Администратор столько разных чувств  
Вложил в короткий «Эх!» – на зависть прямо  
Заслуженным работникам искусств,  
Шампанское своё пиющим в Каннах...  
Неряшливостью рифмы согреша  
(Восьмое сочинил четверостишье  
На месте, даже без карандаша),  
Я погрузился в общее затишье.  
Он чай допил. – Вы говорили, что  
Бунтарку-львицу повидать хотите.  
Пожалуйста. – Он встал, надел пальто.  
– На лестницах темно. За мной идите.  
– Гиена! Омерзительная тварь, –  
Брезгливо я заметил. В клетке лежа,  
Она на жизнь скулила, на январь,  
На снег, на ветер и на клетку тоже.  
– Смотрите, челюсть вывернули ей  
Клюкой железной пьяные гвардейцы, –  
И захлестнула жалость. Хоть убей, –  
Нахлынула, волной накрыла сердце.  
– А вот Диана. Лучше подойдем  
Через служебный вход. – Работник Коля  
Открыл замок – и прямо, напролом,  
К Диане, в клетку. «Сумасшедший, что ли?» –  
Подумал я. «Не бойся ты, заходи!»  
Дианочка, – ей чешет нежно ухо. –  
Вот, голодает. Истязает плоть.  
И печку ей топлю, да дело глухо».





Тем временем служительница лет  
Студенческих откуда-то явилась:  
«Дианочка, красавица, котлет  
Я из дому тебе. Ну сделай милость,  
Ну съешь ты хоть одну. Простите, вы  
Войдете в клетку или хоть пустите» ...  
И я шагнул по зову трын-травы,  
Бунтующей Дианы посетитель.  
Поэт не может даме уступить  
Путь к хищнику. И я вошел, погладил  
Хребет зверюшки. «Быть или не быть», —  
Подумал и попятился к ограде.  
— Животное гордей иных людей,  
Не может в унижение, — молвил Коля.  
— Да ты приди в себя, да не балдей,  
Пойдем, глотнем немного алкоголя. —  
Меня похлопал Коля по плечу,  
Когда на свет мы вышли из неволи.  
В каморке Коли мы зажгли свечу,  
И пили мы вино в каморке Коли.  
Администратор избран тамадой.  
Он говорил: «Всем братьям меньшим — слава!»  
С ним, с Колей и служительницей той —  
За львицу, за гиену, за удава!

## **РЫБНАЯ ЛОВЛЯ НА ТБИСИ**

Жук был бирюзовым, изумрудным,  
Молодым, упругим и беспутным.  
Он имел прекрасные рога.  
Жизнь ему казалась дорогою,

И была воистину такою –  
Жизнь на самом деле дорога.



Жук ворвался в рябь недавней глади  
Озера, где мы забавы ради  
Порыбачить собрались с утра.  
Но мальки приманкою зажрались,  
И к полудню мы не сомневались,  
Что сегодня к ним судьба щедра.

Жук тонул. У нас была закуска.  
Иностранец: «Говорить по-русски?» –  
У меня застенчиво спросил.  
Я ответил, выпив: «Мала-мала».  
И подумал: «Если б у причала  
Я тонул и Господа просил:

«Господи, спаси меня, Всевышний,  
Неужели я на свете лишний,  
И во цвете лет пришел черед  
Мне проститься с этим солнцем, небом,  
Садом невозделанным и хлебом,  
За который проливаю пот?»

Я подумал: «Для жука сегодня  
Я могу быть милостью Господней,  
Радостью вселенской одарить,  
Большею, чем Данте Vita Nova,  
Ну, а что вернусь я без улова,  
Так не всем же в выигрыше быть».

Жук работал лапками, боролся,  
О крючок упавший укололся,

Унесло теченьем поплавок.  
Ну, лови последний шанс. И жук мой  
Перед самой рыбьей пастью жуткой  
Зацепился, взмыл — и на песок.

Жук подсох, очухался. Не веря,  
Что ему открылись жизни двери,  
Лапками песчинки потолок,  
Вполз на ветку, прыгнул, слился с высью,  
Господи, в часы прощанья с жизнью  
Брось и мне Небесный поплавок!

Арсен ЕРЕМЯН

## РАССКАЗЫ ИЗ ЦИКЛА

### «РОБИНЗОНЫ В ГОРОДЕ»

*Как-то раз мы с внуком Арсеном вышли погулять, поднялись на Метехское плато, подальше от городского шума и автомобильных выхлопов.*

*Не по-осеннему ярко светило солнце, согревало и высвечивало зеленый овал площади Горгасали, крутой излом неспешно текущей реки. Тянулись друг к другу и все не могли встретиться далекие шатры Мтацминды и Нарикалы.*

*Благовест колоколов святого Сиони величаво плыл над городом, над которым простер могучую каменную десницу его строитель и первый правитель.*

*— Какой красивый город Тбилиси, — неожиданно сказал мой шестилетний внук, как и я, очарованный этим мгновением.*

*Сколько вдохновенным менестрелям должен дать*

*жизнь этот город, чтобы выразить сполна его красоту и притягательность, неповторимый характер тбилисцев, поэтов и художников от рождения, чьи предки, испив из этой реки хоть раз, навсегда сохранили в крови пожар негасимой любви к вечному городу!*

*Мтквардалеули\*. Великая общность людей.*

## ДОМИНАНТА

«Полюбуйтесь на этого хулигана!» – Одишария Пифагоровы Штаны бросил мел, которым стучал по доске, выводя формулы, подошел к окну. Он наконец увидел то, за чем заинтересованно следил весь класс, – свидание Омарова с Томой, самой симпатичной девчонкой из соседней школы. Шура только что стал чемпионом города, купался в лучах славы. В вестибюле женской школы она напомнила о себе дождем записок с объяснениями в любви. Придумавшие раздельное обучение бесполые наробразовские чинуши были посрамлены. Весна превратила в райский сад узкую полоску ничейной земли между дворами и скалой, с грудками щебенки, ржавыми железками, постыдными человеческими отправлениями, бросила слабую, податливую плоть в сильные, годами тренированные руки, привыкшие ломать сопротивление.

Они приблизились к стальной трубе, – считалось особым шиком съехать по ней с Комсомольской аллеи, поеживаясь от страха, – зашли за красную кирпичную кладку, недоступные взглядам, как темная сторона Луны, а мы, далекие от математической консультации, от предстоящего экзамена, ревновали и тревожились за

---

\* Испившие воды Мтквари – Куры.

Тому, держа в уме омаровскую шоковую откровенность: как он со знакомым, имевшим не одну судимость, встретили за городом двух сельских девчонок и, угрожая ножами, затолкали в Коджорский лес, где, соревнуясь в скотстве, оживленно переговариваясь и торопя последний миг, позабавились ими.

«Сумароков на война, Одишария больна, на телефоне Сара».

Как часто вспоминалась из школьного фольклора сорок третьей эта фраза уборщицы в гулкой немоте учительской. Сумарокова в школе мы не застали, он начальствовал в летном училище, удостоился генеральского звания, но уровень учебного процесса, поднятого им на небывалую высоту, долго оставался образцовым. В круговерти годов и событий стерлись в памяти подробности, и не легко ответить на вопросы шутливой викторины выпускников знаменитой школы: вспомнить имя и внешность старика, сололакского жителя, — он имел собственное знамя и за умеренную плату шел с ним во главе похоронной процессии, и как звали, к примеру, чистильщика обуви на улице Кирова.

Одно из самых ярких впечатлений — подготовка к парадам и демонстрациям народного ликования. Гордость школы духовой оркестр, обязанный своим рождением маэстро Николаю Чичинадзе, могучим легким дюжин ребят, положенным в общий котел нашим кровным десяткам, становится впереди школьной колонны, которая строевым маршем стекает вниз по улице. Охрипший от команд физрук забегаёт вперед, припадая на правую ногу. Гремит медь оркестра, мельтешат голые коленки, сотни ног печатают на асфальте четкий шаг. Нежный, как девушка, запевала из нашего класса заводит песню: «Летят перелетные птицы». Колонна дружно

отзывается: «В штанах». Нам знаком этот нехитрый фокус. Расстояние в двести метров до женской школы, из окон которой свешиваются любопытные головы, — они начинают движение после нас — надо пройти так, чтобы на музыкальную фразу запевалы: «А я остаюсь с тобою» радостно выкрикнуть в сотни глоток: «Без штанов». Бедный Исаковский! Бедный Блантер!

Теперь мимо моего дома топаем вдоль по набережной, чтобы надолго застрять в районе цирка, всецело завися от сценария распорядителей праздника. Если повезет — школа, гремя агапкинским маршем «Прощание славянки», идет мимо правительственной трибуны — угрюмо-равнодушных лиц с нахлобученными на уши шляпами, но чаще музыкантов забирали в сводный оркестр, сводя дело к обычной уравниловке. Последние сотни метров проходим на Пушкинской улице, как стадо баранов. На Колхозной площади ненужные знамена летят в раскрытые чрева грузовиков.

Жизнь оказалась много сложнее, чем казалась, когда мы пропускали несколько стаканчиков в винном погребе на Майдане, где у дяди Сандро всегда имелось неразбавленное «Саперави». Крайне редко шел я на традиционные встречи в Тбилиси и Ереване, на апрельские торжества, к чему нас обязывает школьный устав. Но всегда волнуясь, оказавшись волею судеб возле трехэтажного здания с высокими окнами, вспоминая, какими мы уже не будем.

Александр Николаевич, наш учитель пения, обладал редким даром рассказчика. В его изложении либретто оперы об истории любви египетского полководца и черной рабыни, дочери эфиопского царя, обретало библейскую поэзию и мудрость, отравляя на всю жизнь сладким дурманом творчества.

Неистощимый на лабораторные выдумки милейший Яков Иванович, во славу периодической системы Менделеева, однажды чуть не превратил нас в прах, взорвав на уроке адскую смесь собственного приготовления.

Неизменно корректный Ник-Ник никогда не прибегал к конспектам и классному журналу, рисуя в записной книжке одному ему понятные знаки, очерчивая на доске одним взмахом руки идеальную окружность, под общий вопль восторга.

Елена Георгиевна, урожденная княжна, приобщила к книге не одно поколение лауреатов, профессоров и агрономов, авиаконструкторов и писателей, журналистов, юристов, врачей, музыкантов, художников. Это Елена Георгиевна изготовила стенд в память о своих учениках: с черной обугленной доски, с опаленных огнем листков бумаги смотрят на сегодняшних несмышленьшей мальчишки, навечно оставшиеся семнадцативосемнадцатилетними, сгоревшие в самолетах и танках в первые дни войны, и среди них неожиданно — лицо нашего первого завуча Нины Антоновны — фотографией ее сына.

Зара Юрьевна, завуч и педагог русского языка и литературы, после выпускных экзаменов удивила меня советом поступить в технический вуз, а когда я этому воспротивился, сделала запоздалое признание: «Из-за тебя я чуть было не ушла из школы».

Помню педсовет, грозный, неумолимый, как суд жрецов в «Аиде», себя, опасную скверну, от которой следовало немедленно избавиться. Но почему она все эти годы молчала?

Педсовету предшествовала контрольная работа по основам дарвинизма. Писать ее я отказался, считая бесполезной в данной дисциплине, о чем откровенно

сказал Ивану Павловичу, за откровенность удостоился единицы в журнале, был выставлен в коридор, где очень некстати попался на глаза директору школы. Попыхивая знаменитой трубкой, важный и безволосый, как слон, он прохаживался мимо прилежных классных комнат, приторно слащавого афоризма Лаврентия Павловича на стене: «Героизм и мужество школьников – это учеба на отлично» и, конечно же, постарался раздуть из этой самой по себе неприятной истории пламя возмездия, перед которым померк бы московский пожар 1812 года.

Райком комсомола решение об исключении, ясное дело, не подтвердил.

Последняя четверть кончалась. Не будучи аттестованным по предмету и предвидя страшную месть, готовлюсь подороже продать свою жизнь. Для начала одолжил на вечер учебник, которого на весь класс было несколько, прочел от корки до корки.

Иван Павлович Кавтарадзе вызвал меня первым, предупредил, что задаст три вопроса, и я вышел в открытое море удивительной науки биологии, любимой давно и беззаветно, с неистовством первой любви. Я собирался заняться ею всерьез. В этом меня поддержал приехавший домой на побывку мамин брат Василий, впервые мною увиденный, в прошлом активный политик и деятель правящей партии, в тридцатых годах сосланный на пожизненное поселение в Вятку.

Скоро я почувствовал себя неуютно в малознакомых местах, взял себе в спутники молодого смотрителя станционных часов – работа непыльная и соответственно низкооплачиваемая – в губернском городе Козлове, который тогда еще не был Мичуринском, узнавая его мечты покрыть садами родную Тамбовщину. В одном из них, таком малом, что на него можно было накинуть



его форменную шинельку, он высмотрел скромную светловолосую девушку, которая, распевая, возилась с цветами, радуясь солнцу и утру. Он просил руки маленькой певуньи и получил согласие, найдя в ее лице восторженную поклонницу и крохотный сад для опытов. Как часто бывает, поначалу он мало знал, смутно представляя себе то, что со временем свяжут с его именем, назовут методом отдаленной гибридизации, а пока заглядывался на плодовые деревья за высокими оградами богатых усадеб, угощался яблоками, когда угощали, пряча украдкой в карманы огрызки с драгоценными семенами, пока его не уличили, – после объяснения нарвали разных яблок кулек, охотно рассказали о прививках. Он остановил свой выбор на яблоне китайке, низкорослой и неприхотливой, ее кривобокие плоды проигрывали рядом с безупречными формами аристократок – бельфлеров, шафранов, ранетов, кандилей, но могучие жизненные силы, угаданные им в дурнушке-простолюдинке, неизменно побеждали в споре родительских пар, давая высокоустойчивое потомство.

«Доминанта!» – сказал Иван Павлович и торжественно посмотрел в притихший класс.

Как жаль, что гордые слова мечтателя из сонного Козлова о невозможности ждать милостей от природы, призыв взять их у нее, объявленный чуть ли не всенародной задачей, – мне кажется, он сказал это, не очень подумав, – были превратно истолкованы приспособленцами от науки, бездумными авторами рукотворных морей, на дно которых ушли Божии храмы, деревенские погосты, старинные поселения с улицами, по которым гуляют волны. Результаты апокалипсические, как это было с другим, не менее известным тезисом «буревестника революции»: «Если враг не сдается, его уничто-

жают», оприходованным ежовщиной.

Помню, Иван Павлович тогда спросил, известны ли мне имена селекционеров-дарвинистов на Западе. Первым называю Лютера Бербанка, прошедшего долгий путь познания, признавшегося в горькую минуту, что ему пора открыть дровяной склад.

«Сегодня ваш класс сделал мне подарок, – Кавтрадзе не пытался скрыть волнение, – это самый счастливый день в моей жизни».

И теперь, через много лет, в трудные часы разочарования и слабости, черпаю силы в уроке нравственности и великодушия педагога, ставшего выше собственной обиды доминантой добра.

Потом по моей просьбе он написал для классной стенгазеты совершенно блестящую статью, которую перепечатали в школьной газете. Она сделала бы честь толстому столичному журналу, – что-то вроде наказа молодежи, вступающей в жизнь, не похожая на заветы вождя, лысого и картавого, вещавшего делегатам третьего всероссийского съезда комсомола в октябре 1920 года о коммунистической нравственности, уже к тому времени так полно себя выразившей. Многие делегаты съезда косаревского призыва поплатились за нее жизнью.

Осталось загадкой, откуда пришел к нам в школу, никогда не испытывавшую недостатка в блестящих педагогах, этот ученый человек, сочетавший специальные знания с литературным мастерством, как нашел он добрые, человеческие слова, смело цитируя сакраментального Ивана Петровича Павлова, великого старца, распинаемого в те годы средневекового мракобесия, странной войны с вейсманизмом-морганизмом, щедрых посулов шарлатанов, обещавших молочные реки в кисельных берегах; и сегодня несть числа им.

Мы хоронили Ивана Павловича через одну весну, первого педагога, чья смерть застала нас в школьных стенах, растерянные, шли по пустой улице, перекрытой от транспорта, нетвердо зная, что еще уготовит нам жестокая жизнь.

«Сумароков на война, Одишария больна, на телефоне Сара».

Для кого-то это смешная история из школьного фольклора, несвязный разговор бедной уборщицы, вынужденной отвечать на телефонные звонки в опустелой учительской далекой военной поры, а я вижу ее как живую.

В войну мы приносили из дома по квадратик детской хлебной карточки, за него в школьном буфете выдавали маленькую булочку землистого цвета. В тот день случилось ужасное: я потерял хлебный квадратик, право на дневной паек, и тогда Сара, наша малограмотная Сара, над которой до сих пор незлобно подшучивают, дала мне булочку, свой пайковый хлеб, собственно говоря, незнакомому мальчику, так просто решив для себя государственную задачу: все лучшее – детям.

### ОЧКИ НАДЕНЬ

«Почему я не сломал ногу, поднимаясь на третий этаж, – сказал в сердцах Артем, – когда на первом такие невесты были?» Это запоздалое прозрение в последнее время нередко осеняло его. Говоря так, он намекал на несложившуюся личную жизнь. Бывает жена, говорила моя бабушка Нина, что дом построит, а другая – разрушит. Артем, видно, сделал выбор не в стане строителей, забыв, что милость обманчива и красота суетна.

Сейчас он сидел на балконе, в этот час истины, когда августовская духота выгнала наружу соседей Хлебной

площади. Они хором судачили, посвящая посторонних в свои заботы и беды, древние, как дома нашего западного района, чья охрана осуществлялась государством деликатно, ненавязчиво, а со временем стала совсем незаметной. А охранять было что. Взять хотя бы соседнюю Петхаинскую улицу-лестницу, редкую в своем роде. Мало кто о ней в городе слышал, не говоря об Америке и Европе. Она уступает в популярности всем этим историям вокруг Пизанской башни, падающей, как девчонка на материнских туфлях, или гибели «Титаника», который в настежь распахнутых просторах Атлантики не сумел разойтись с ледяной горой с такой еврейской фамилией.

Я как-то проверил, спросил про улицу у знакомого писателя, автора книги о Тбилиси. Он заинтересовался и даже покинул на время свой великанских размеров редакционный кабинет. Сели мы с ним в номенклатурную черную «Волгу» и в пять минут оказались у подножия невидимой улицы, но неожиданно с низких небес посыпался холодный осенний дождь, и знакомство с достопримечательностью нагорного квартала пришлось отложить до лучших времен.

Или мы в самом деле ленивы и не любопытны.

Улица-невидимка карабкается в гору по склону Сололакского хребта, к маковке Петхаинской церкви, традиционного центра праздника Успения Божьей матери.

В начале века большевики устроили под самой горой конспиративную квартиру в дарбази\* с плоской земляной кровлей. Молодежь здесь обучали пистолетной стрельбе. Священник церкви тогда не знал, что окаянные соседи, забыв о Боге, через десяток лет силой обратят

---

\* Дарбази – один из древнейших типов грузинского жилища.

всех в свою веру Карла Маркса, и всячески им помогал; когда понадобилось помещение для конференции, предоставил свой дом всего за двадцать пять рублей. Соседи выделили людей для охраны делегатов и патрулирования, но филеры не зря ели хлеб. Вскоре стало известно о провале конспиративной квартиры, была команда всем уходить. Делегаты разошлись, в спешке оставив шляпы, и они попали в руки фараонов. Доставленный в полицию священник утверждал, что шляпы остались от покойников, которых он хоронил, но ему не поверили и сослали в Сибирь, где он умер.

Такая вот грустная история, как в старом анекдоте об аресте чекистом пассажира поезда с фамилией Райхер, в которой зашифрованы обещанный большевиками рай на земле и нечто из трех букв, полученное взамен.

О пострадавшем за большевиков священнике я узнал от монашек соседнего Девичьего монастыря. Христовы невесты Рипсимэ, Катарина и Нина, все еще красивые, особенно младшая сестра Нина, были из старинных тифлисских купеческих семей, большие охотницы до кофе с молоком. Он подавался к столу в гарднеровских чашечках фисташкового цвета вместе с рассыпчатым печеньем «хворост».

Перед Светлым Христовым Воскресением сестры приносили краски для пасхальных яиц, с ангелочками на золотистых пакетиках. В последний раз я их видел в нашем доме на панихиде по моей матери, которую они взялись отслужить, посчитав своим христианским долгом.

О «Титанике» вспомнилось неслучайно. В конце концов все оказывается связанным самым невероятным образом, стоит только присмотреться к несовместимым, на первый взгляд, вещам. Среди пассажиров, спасшихся

после столкновения с айсбергом, был наш зять Володя, который уцелел по той причине, что не достал билет на тот гибельный рейс, а взял на следующий, без приключений доплыл до берегов Америки, изучал сталелитейное производство на востоке страны, приобрел фундаментальные знания, что ему припомнили в тридцать седьмом году, оторвав от жены, троих детей и литейного завода имени Камо, присудив десять лет без права переписки, а попросту говоря, пулю в затылок. Вредителем или шпионом он не был, потому что получать высококачественное литье из дырявых, ржавых лоханок не умели ни у нас, ни в Питсбурге, но кто его слушал. Успел только сказать знакомому оперативнику, когда вели по тюремному двору: «Передашь Артему, что меня расстреляли».

Нашего зятя больше никто не видел. Трагическим предвидением оказалось его любимое: «Когда я в гробу лежал, никто меня не оплакивал». И гроба у бедняги не было, разве что нещедрая горсть негашеной извести.

Артема известие это не подкосило. Крепок он был как камень, похвалялся, что в молодости пули глотал, когда в него стреляли в упор, покупал драку за деньги, уважал бокс и мог продержаться один раунд против чемпиона страны в тяжелом весе Андро Навасардова, который работал шофером в их гараже.

Потому две войны прошел без единой царапины, видно, пуля для него не была отлита. С годами он сильно сдал. Старый и беспомощный, сидел подолгу на балконе, невольно слушая откровения молодой жрицы любви Аиды, «убнис хайтараки»\*, которая уже не видела большой корысти от древнейшей профессии и думала заняться спекуляцией, а также ленивую перебранку

---

\*Убнис хайтараки – позор района (груз.-арм.).

одуревших от жары инкассатора Сергея и его соседа шофера Ваника. Судя по долетавшим репликам, разговор шел о Сережиной дочери. Ей грозила какая-то опасность. Когда красивая Лера, сверкая полными икрами, взлетала к себе на верхотуру по крутой винтовой лестнице, ее тяжелые груди под откровенной нейлоновой блузкой трепыхались, как гандбольные мячи. В этот миг она святого могла ввести в искушение, не только нас, простых смертных, и это не на шутку тревожило ее отца.

«Вчера вас видели вместе в кинотеатре на Католической улице», – ходил Сергей с козырной карты. «Ты меня за болвана держишь, – лениво отбивался Ваник. – Виданное ли это дело, распечатать такую красавицу за билет на «Аршин-мал-алан»?» «Сказки мне не рассказывай, – горячился Сергей, – не оставишь ее в покое, так тебя отделаю, по кусочкам потом не склеют».

Такая угроза могла смутить кого угодно, только не Ваника, отчаянного враля и первого драчуна – одним ударом сбивал с ног крепких мужчин на Хлебной площади, которая издавна развлекалась кулачными боями. Это на нашей площади побили Александра Дюма в 1858 году, когда он ради своего удовольствия приехал в Тифлис.

Причиной нелюбезного обращения с экстравагантным романистом могла быть женщина. Высокий, полный, пышащий силой, весельем и здоровьем Дюма слишком доверчиво принял на веру свидетельство голландского путешественника Яна Стрейса, полагаясь на его принадлежность к нации, известной хладнокровием и нелегкой воспламеняемостью. Написанные в Амстердаме в 1681 году, в начале царствования Короля-Солнца Людовика Четырнадцатого, превосходным слогом, достойным Жентиль-Бернарда, поклонника женского пола,

через два столетия дошли до автора «Графини де Монсоро» глубокомысленные уверения Стрейса, будто кавказские женщины, имея прекрасные внешние данные, не жестоки, не боятся любезностей мужчин, к какой бы нации мужчина ни принадлежал, и если даже он подходит к ним или касается их, они не только не отталкивают его, но сочли бы за обиду помешать ему сорвать с них столько лилий и роз, сколько нужно для приличного букета.

Милый, доверчивый, как ребенок, Дюма совсем нехотая проявил интерес к кавказской флоре.

На этой версии особенно настаивал Артем. Соглашаясь с Кипплингом в том, что знатная леди и Джуди О'Греди во всем остальном равны, сам терпеть не мог козлов, норовящих забраться в чужой огород.

Помню переполох в доме — приехал на пару дней Артем со своим другом капитаном, с не подходящей для фронтовика фамилией Могильный. В большой комнате сели за стол те, кто ковал победу, и не особенно рвущиеся на передовую близкие родственники — наш героический тыл, и атаковали с ходу выставленные закуски под огневой разговор «Рио-Риты».

Начало ссоры я пропустил, когда хвативший лишнего Артем рвал непослушными пальцами кобуру, откуда фронтовой друг предусмотрительно вытащил пистолет, но щегольский браунинг в руке чернявого родственника увидел. Родственник ворочал шальными деньгами от халтурных ездов собственной грузовой машины, насобирав блинные стопки пластинок запрещенного Петра Лещенко, всегда имел при себе шоколадные конфеты и хранил дома в чемодане, отчего они пахли клопами, как уверяли его пылкие поклонницы в туалетах от Сашипортного, тбилисского Валентино тех лет. Еще не остыв



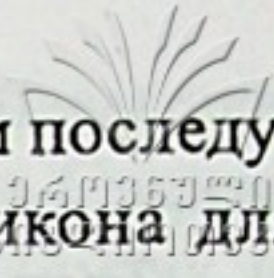
после исподволь разгоревшейся ссоры, он угощал всех конфетами, и мне, в чью комнату от греха подальше увели родственника, достался один «мишка» — давно забытого вкуса.

Артем уехал так же внезапно, как появился, обиженный на всех, а больше всего на жену, которую это нисколько не задело. Она не очень обрадовалась и удивилась, получив телеграмму из Батуми. Муж писал, что их воинский эшелон проследует через Тбилиси и просил встретить. Анна весь день жарила и пекла, как на маланьину свадьбу, но в последнюю минуту раздумала брать корзину с едой, взяла бутылку водки.

Увидев жену с пустыми руками, как у солдата при отступлении, Артем не удержался от упрека: «Эх ты... мы двое суток не ели». Подошел Могильный, забрал без лишних слов водку, отбил белую головку о вагонное колесо и тут же на путях запрокинул бутылку над головой. Проводив мужа на Дальний Восток, Анна вместе с родней в один присест умяла ужин фронтовиков, поела, обтерла рот свой и сказала: «Я ничего худого не сделала».

Мечту об идеальном союзе любящих двух сердец Артем пронес через молниеносную войну с японцами, вернулся домой с тяжеленными чемоданами, что окончательно лишило Анну рассудка. Она снова заважничала, близких родственников представляла подругам как обыкновенных соседей, считая неровней себе.

В унесенных с войны чемоданах среди шелковых отрезков и покрывал с райскими птицами было десятка два фотографий узкоглазых красоток, экзотичных, как принцесса из андерсеновской сказки, целующаяся со свинопасом, с удивительно красивыми ртами, не знавши-



ми хирургии, посредством которой женщинам последующих поколений вживляли прокладки силикона для придания губам неотразимой припухлости. Но те, военной поры, были натуральные, как мать родила, жены японских офицеров, диковинные трофеи победителей.

Анну такое объяснение не удовлетворило, она порвала фотографии чужих жен, за исключением одной. Артему удалось ее спасти исключительно из эстетических соображений.

К тому времени в нашем нефронтовом городе появились первые японские военнопленные. В отличие от немцев, они носили меховые шапки-ушанки и занимались ремонтом улиц.

Оборудованные под убежища подвалы понемногу начали убирать от военного хлама. Был такой склад на нашей стороне улицы. Однажды к нему подогнали грузовик, в кузов стали забрасывать запыленные противогазы. Подошли мальчишки, несмело попросили противогазы.

Скоро на нашу улицу пришли мальчишки со всего города. Они тащили противогазы, как дохлых кошек. Жестяные коробки гремели по мостовой.

Прохожие улыбались, готовые верить, что этим мальчишкам не надевать противогазы, не стрелять в своих сверстников. Так мечталось в послевоенные сороковые.

На улице догорал августовский пожар.

«Очки надень, – сказал охрипший от спора Ваник. – Пальцем я до твоей дочки не дотрагивался. Целая она и невредимая, как в швейцарском банке».



Трех молодых женщин сняли мы в ресторане близ Воронцовского моста, за гастрономом на площади, называемым по-военному «Боец», праздным июльским вечером, когда синий воздух удручающе влажен и, как в серной бане, горяч.

После сдвинутых столов выпитого и сказанного показалось мало, решили добавить за новое знакомство. Презрев условности комфорта, набились в такси, как сардины в коробке. Левый бок мне подпирал Паустовский шестью томами собрания сочинений, правый — жаркое бедро Тамары. В нетерпеливой очереди на нижней станции фуникулера, за Давидовской площадью, охотно смотрим на подруг, посланных случаем два часа назад. Педагоги из российской глубинки. На макушке лета собирались провести отпуск на море, а пока пребывали транзитом в городе, зная о нем понаслышке, расслабленные от вина.

И уже к нашим услугам работяга вагон, где меняться местами и хлопать дверцами с детства было одно удовольствие.

Потом вагон не спеша поплыл вверх. Сразу стало тихо, светло, надвинулась прохладной стеной Святая гора, воспетая поэтами и композиторами, каждым в меру своих способностей и социального типа. Сравнивали ее со сказочным шатром, с эстрадой, откуда можно говорить с планетой, а кто-то называл самой поэтической принадлежностью Тифлиса и ресторанной горой, расточая похвалу вину, которое учит мудрости умных, а неразумных лишает ума.

Я вспомнил совет из ставшего антикварным сборника новейших анекдотов «Тифлисский кинто»: «Кто не

видэл наш Кура, кто не видэл наш Типлис – на Давытски-на гора тот скорее подымись», еще застал я в Старом городе задиристых балагуров в черных архалуках и широких шароварах, с деревянным блюдом-табах на голове. Под неправдоподобно красивыми чайными розами влажная от росы белоснежная тута блестела, как слеза.

Крупные звезды водили хороводы и не думали падать. Женщины вокруг стали видными, загадочными, заставляя вспомнить всякую чертовщину из шоколадных томов последнего романтика, купленных по случаю днем на проспекте Руставели, подрагивающих сейчас на скамейке от хода вагона: любовную аварию капитана грузового парохода, с открытым лицом и застенчивым сердцем, он бросился в море между Керчью и Феодосией после ночной встречи-разлучницы; наполеоновского маршала, забывшего воинский свой долг в лесных ночах, наполненных густым снегом, медленно падающим на заколдованные черные деревья, живым серебром в незамерзающем ручье, коротким счастьем впервые полюбившей женщины, чье имя звучало как музыка.

В такую ночь хотелось молчать, и я с нарастающим раздражением слушал Павла, который надолго завелся, с пафосом получающего в твердой валюте интуристовского гида вспоминал Давида Гареджийского, одного из тринадцати сирийских монахов-миссионеров, присвоил его красноречие, чудодейственную силу разрушителя женского бесплодия и устроителя браков, шел в толпе пригожих богомолков, простоволосых и босых, испрашивающих себе мужа или ребенка, загадав желание, прикладывал камешки к северной стене церкви и волновался вместе с ними: прилипнет – не прилипнет, прислушивался к шороху падающих со скалы камней, что тоже

было приметой близкого замужества. Слушая его, наша новая знакомая Валя, ужас какая любопытная, как все женщины, заинтересованная, высовывалась из вагона, желая разглядеть решительно все на свете – святыни справа внизу, чудодейственную церковную стену с ее пророчествами, грибоедовский грот, богомолоч, которые уже спали, и тех, кому еще предстояла ночь любви; и, наверно, опасаясь, как бы она не выпала на ходу, Павел крепко держал ее за плечи.

Глядя на эту идиллическую пару, мы не знали, что Валя первая нарушит согласие в загулявшей компании. Пока мне все нравилось и я нравился, нравились галантные тосты за милых дам, которые и в самом деле были милыми и ласковыми, нравилась частая смена бутылок на столе шашлычной в верхней аллее, где с наивысшей точки парка культуры и отдыха смотрел с тяжелого постамента вождь всех народов, вдохновляя на труд и на подвиг.

Потом вместе со всеми я стоял у каменного парапета, над пешеходной тропой среди темных островков бирючины, куда сбегали торопливые парочки, и смотрел на город, который был как на ладони, весь в потоках света, не зная лимитного снабжения; справа, почти вровень со Святой горой, каменные куличи башен Нарикалы и нагорный квартал Клдисубани, сердце Старого города, с домом моего прадеда по материнской линии.

Прадед давно находился на вечном покое в Куки, в обществе других тифлисских дардимандов\*, которые в свою земную жизнь гуляли в сололакских садах, выезжая на учебу в Петербург, Москву, Дерпт, пили воду из Терека, слушали итальянскую оперу в Казенном театре, читали

---

\* Дардиманди – беззаботный кутила (груз.).

газеты «Иверия» и «Кавказ», подкатывали к дому суженой в фэтонах на мягких шинах, пели под окнами песни Саят-Новы и Иэтима Гурджи, играли в баккара, кутили в «Белом духане» и шантане «Бельвию», помогали бедствующим вдовам и сиротам, отвозили зерно на плавающие мельницы Эликашвили и Тамамшева, выпекали самый вкусный в мире грузинский хлеб, добывали густую, как кровь, бакинскую нефть, пополняли списки приданого незаметно созревших дочек-барышень, крещенской ночью приходили к Авлабарскому мосту, когда вода в Куре словно останавливалась, веря, что капли зачерпнутой воды, стекая, превратятся в жемчужины, под плач зурны, шелест амкарских\* знамен уходили из этого брэнного мира, не взяв с собой ничего, кроме разбитого сердца.

Старик Лазарь был из древнего тифлисского рода Басилашвили, насчитывающего в городе семьсот лет, родословную вел от одного из семи братьев-дворян, чье генеалогическое древо, исстари хранимое в банковском сейфе его сына, купца первой гильдии, затянуло вместе с вкладами в огромную черную дыру, но не все пропало – следы их рода я обнаружил в алфавитном списке старинных фамилий горожан в книге, выпущенной к 200-летию Георгиевского трактата, в числе других сувениров розданной гостям очередного партсъезда, и обрадовался – с учетом естественного прироста населения за семь веков половина коренных тбилисцев приходится мне родней, не подозревая об этом.

Я часто думал о тех, кто проверяет свои силы в Гималаях, идет в горы, потому что горы стоят; многие из них, не понимая мудрости сирдаров шерпов, что горы

---

\*Амкары – цеха тифлиских ремесленников.

нельзя победить, этих небесных колоссов с безжалостными характерами – Джомолунгма, Чогори, Канчен-жанга, Макалу, Лхоцзе – уподобляются слепым щенкам, и беда ходит за ними, а я, живя в двух шагах от дома прадеда, где был однажды ребенком, не нуждаясь в непальской визе и многолетней очереди за право штурмовать вершину без риска умереть наверху от кислородного голода, соскользнуть в расщелину с ледового карниза, замерзнуть на холодной ночевке и в снежной буре, не мог себя заставить подняться по тихой горной улочке, пройти сотню метров и убедиться, что стоит он невредимый на прежнем месте, выйти на широченный тифлисский балкон, ажурным козырьком нависший над обрывом, над церковным двором, приложить ладони к нагретым солнцем доскам и узнать, что душа очага жива. Я видел свою праздность, презирал себя за леность и любил всех родственников, и тех, кого не знал и не узнаю никогда, и всех тбилисцев, и желал им счастья, молил Бога, чтоб ни одна пушинка не упала на их головы.

Это ощущение легкой радости не покидало нас в доме Володи, старинном особняке мавританского стиля, с которым происходили какие-то странности – он дважды обрушивался уже на начальной стадии строительства, хотя строил его искусный зодчий и инженер, впоследствии профессор кафедры архитектуры Академии художеств; говорили, что это знамение большой крови недобрых дел. Так оно и вышло в подвалах особняка, и связывали их с ведомством, о котором старались не говорить или говорить хорошо; а в сотне шагов был не менее зловещий дом, от него через три улицы вел подземный тоннель, где находят человеческие кости.

Володя, приведя нас, веселых и хмельных, в свой дом, благо, семья выехала на дачу, был по обыкновению

деликатен и мил, никак не обольщался своими способностями, всегда отмечал удачи других, сам больше тяготел к контрольной работе, записывая выявленные нарушения красивым, крупным почерком. Будучи офицером-фронтовиком, он освобождал Бухарест, Прагу, Вену, Будапешт, но знание европейских столиц удивительно замыкалось на привокзальных ресторанах, винных погребах, где они пили знаменитые вина фужерами, стаканами, фляжками, касками, пилотками, пригоршнями, осушая бутылки, вышибая дно бочек, пили и не могли утолить великую жажду. Говорил об этом Володя мечтательно и красиво, как о любивших его женщинах. Сейчас на него благосклонно поглядывала Елена Ниловна, которая на пять-шесть лет старше подруг и наверняка преподавала что-то серьезное – физику или астрономию.

И все шло прекрасно, когда прозвучал тревожный звонок.

В Володином доме девушки первым делом заинтересовались планировкой его квартиры, местонахождением ванной, которая в уважающих себя старых особняках была где-то на отшибе, а не впритык к столовым сервизам и книжным полкам. Вернулись они свежие и симпатичные, готовые дружить дальше; и тут выяснилось, что с подругами недобор, остался без дамы сердца Сергей, из числа самых бойких перьев редакции; он любил и других увлекал обходить подряд питейные заведения в центре, принимая помалу, но малое фатально переходило в категорию больших доз. Он уже успел рассказать рискованный анекдот, способный павиана вогнать в краску, и, заподозрив тайный сговор, оскорбился до глубины души, нелестно проехался о чести некоторых присутствующих; это была игра не по правилам,



и ему пришлось уйти домой, к жене и детям, но слово воробей, вылетит – не поймаешь, и что-то нарушилось, сломалась какая-то нужная пружинка в отношениях, и первыми это почувствовали женщины.

Сидя с Тамарой на жалкой кровати без матраса, увезенного дачниками, кляня тугие пружины, хватающие за мягкое место, я прислушивался к возне на каменном уличном балконе, где уединились Павел с Валею, к их резким, злым репликам, потом почувствовал прикосновение к затылку легких Тамариных рук, услышал шепот: «какие волосы густые», благодарно вернул комплимент: «у тебя тоже» и удивился обнаженной откровенности правды: «у меня коса фальшивая».

Я подумал, что с Сергеем вышло нехорошо, не стоило куражиться, и вспомнил, как сам в половине девятого утра ломился в гостиничный номер художественного руководителя московского театра, знаменитого режиссера и сына знаменитого режиссера, заспанно говорившего, что спать легли поздно, в четвертом часу ночи, и как у нас гостей беспощадно накачивают коньяком, прямо убийство какое-то; потом приглашение на прогон крутой толстовской драмы в Руставелевском театре: затемненная сцена, звуки рыдающей шарманки, ущербный месяц на небе, патриархальный старик-резонер на печи, свидетель ужасного преступления, в котором узнаю великого артиста, а на второй день столпотворение у подъезда редакции, куда на традиционную встречу пришли москвичи; знакомый режиссер пробился ко мне в толпе, поблагодарил за опубликованную беседу.

Щедрые фрукты на столах. Именитая артистка утонула в глубоком кресле... классные ноги, заставляющие забыть о таланте, а иногда его заменяющие, ее мечта

вслух сыграть Анну Каренину, снисходительная улыбка главного режиссера на каприз красивой женщины.

Подозрительная возня на балконе продолжалась.

«Очень хочется спать, мы так измучились в дороге», – сказала Тамара умоляющим голосом, мягко отводя нескромные руки, и я верил и ничего не имел против сна. Она давно сняла блузку, и ее полные плечи и грудь светились в темноте. Никто никому ничего не должен, и плата за ночлег казалась непомерно высокой, да и полагалась не мне.

Чуть свет залетные пташки упорхнули к поезду регистрировать билеты. «Транзит так транзит. Сик транзит глория мунди»\*, – думал я, вспоминая подробности суматошной ночи. Все проходит, оставаясь занозой в неизменяющей памяти. Огорченный Володя признался, что у него ничего не вышло. Елена Ниловна, оказывається, замужем и уступить обещала только после сдачи крепостей подругами, иначе они ославят ее дома. Что ж, в этом была своя логика. Эх, Валя, Валя, неласковая гордячка с потрясающей фигурой, как сообщил нам Павел, прощупав ее ночью на балконе под легким штапельным платьем с безошибочностью опытного хирурга.

Я продолжал вкалывать в газете, марал бумагу, участвовал в рейдах по качеству товаров, которые лучше от этого не делались, теща пресловутым валом сердца горкомовских вельмож; кроша зубы, грыз гранит науки, посещая лекции и влюбляясь в однокурсниц, которые по традиции были самые красивые в университете.

Как-то осенью в саду, в перерыве между занятиями, прислушиваясь к очередной серии анекдотов верийского острослова Ниаза Диасамидзе, который сошел с задней

---

\*Так проходит земная слава (лат).

площадки троллейбуса и за этот страшный проступок был доставлен в отделение милиции сержантом по фамилии Павлов («я ему сказал, что Павлов гений, а он дурак»), читал я полученное письмо. «Алеша, здравствуй, с приветом к тебе Тамара...»

Она писала, как долго дулась на нее в поезде Валя, которая, видишь ли, хотела провести время со мной и потому была так резка с Павлом. «Я удивилась – она сказала так поздно...», – читаю, сам удивляясь. «А потом к нам перешли два парня из соседнего купе, и Валя успокоилась, – чемпион Европы по классической борьбе Абашидзе и его тренер Дадашев... мы удивились: известные люди и такие доступные... сошли все вместе в Вардане...»

Вот такое письмо. Напоследок Тамара с доверительной интимностью спрашивала, как я собираюсь провести лето будущего года. «Обыкновенная курортная история, – подумал я, – чистое надувательство, соревнование кто кого надует».

Меня не умилила чужая доступность, основанная на обмане. Абашидзе чемпион мира, к тому же неоднократно, тренером у него Петр Андреевич Иорданишвили, настоящий профессор борьбы. Оба выехали на традиционный международный турнир в Венгрию, на озеро Балатон, и в то время никак не могли отдыхать в Вардане. Что касается дорожного трепача, то велосипеда те парни не изобрели. Сосед наш Сандрик, отдыхая на море, представлялся незагорелым белокурым курортницам олимпийским чемпионом по боксу Енгибаряном. И представьте себе, ему верили. Со всеми вытекающими последствиями.

Так рассуждал я про себя, не слыша звонка на лекции, не замечая, как обезлюдели аллеи. Как хорошо

нырнуть сейчас в море, погрузиться с головой в зеленую толщу воды, где выделяется на дне каждый камешек, освещаемый солнечными зайчиками, зная, что на берегу тебя ждут. Это все-таки здорово, когда тебя ждут.

## ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

В моей жизни убежденного горожанина почти не было домашних животных, и вовсе не от нелюбви к ним – просто случай не представился. Только в один день все решительно переменилось, когда в подъезде нашего дома мы обнаружили дымчатого котенка. Он тыкался слепой мордочкой в ступеньки и требовал еды, заботы, элементарного внимания. Двух мнений не было – подкидыша взяли на довольствие, напоили молоком, которое тогда и днем продавали в государственных магазинах. Угощение пришлось ему по вкусу. Он пил молоко, набирался сил, рос не по дням, а по часам, и вымахал в симпатичного взрослого кота с удивительным разрезом глаз, которым можно было только позавидовать, с белыми подпалинами на груди и низу живота, как у красавицы, нежащейся на медицинском пляже. Скоро он почувствовал свою привлекательность, право на внимание и ласку, дремал на коленях у женщин, ворча свою нескончаемую песенку; едва завидев, бросался мне на грудь и взбирался на плечи, бесстрашно поглядывая по сторонам. В эти минуты я невольно вспоминал бесцеремонную студентку журфака, которую вместе с сокурсницами направили на практику в нашу редакцию, коренастую, со сросшимися бровями, сулящими счастье, готовую удивить всех своими репортажами и выйти замуж. Не знаю почему, но на второй день нашего зна-

комства она посоветовала мне взять котенка, хотя к тому времени я был женат, имел десятилетнего сына и на одиночество не жаловался. До сих пор жалею, что не поставил ее на место. Вот увидела бы меня с Кишем, обрадовалась.

Котенка мы называли Кишем. Без всякой связи с лондоновским героем – вождем индейского племени тлунгетов, удачливым охотником и невезучим в любви.

Безоблачное существование Киша прервал приход сантехника. Он собирал газовую колонку в кухне, трещал горелкой, сваривая водопроводные трубы, наследил в квартире едкими карбидными пятнами, словом, когда он ушел, Киш пропал. То ли воспользовался открытой дверью, то ли кто-то красавца выкрал. Два дня всем домом сбились с ног, заглядывая в каждый двор и зовя его, придавая голосу самые нежные нотки. Раз забрезжила надежда. Поздно вечером мы с женой, обойдя наш дом, обнаружили Киша или его двойника, сидящего верхом на мусорном баке. Он без угрызений совести смотрел на нас красивыми нахальными глазами, а когда мы осторожно приблизились, спрыгнул на землю и побежал в гору ленивой трусцой, свернул во двор ближайшего дома, где влез под автомашину, оттуда – под оторванную дверь, что прикрывала широкий лаз подвала, исчез, как сквозь землю провалился, никак не поддаваясь на наши уговоры благоразумно вернуться домой. Очень обидно было участвовать в этих играх, но не мы их начали.

Наутро возобновили поиски, пошли знакомым маршрутом, но с тем же успехом. Я махнул рукой на удачу, вернулся домой, открыл дверь квартиры и остановился как вкопанный. Из-под стола в коридоре доносился едва различимый шум, будто включили игрушечный моторчик. Все еще не веря, я позвал и увидел Киша, неторо-

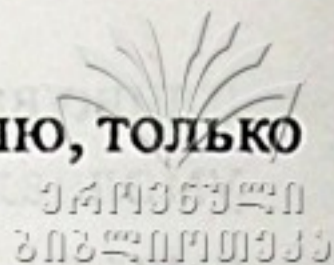
пливо вылезшего из своего добровольного заточения. Он умолчал, как отсидел двое суток без еды и питья, до смерти напуганный электросваркой, а я и не допытывался – поспешил на улицу обрадовать жену. Вконец расстроенная, она шла мне навстречу, вначале даже не поверила, что все обошлось благополучно.

Киш зажил обычной кошачьей жизнью, пленяя наших знакомых красотой и врожденной грацией. Зимой, правда, приболел, да так серьезно, что пришлось показать его в районной ветлечебнице. По дороге нас останавливали дети: «Подарите котика!», а как подарить, когда сами к нему привязались. Ветлечебница оказалась на замке, и, судя по всему, уже давно. Решили идти в другую – соседнего района. Там повезло: дождались ветеринара, молодого парня. Он осмотрел Киша, надавил на спинку. Киш жалобно пискнул. Ветеринар говорит: все ясно, у вашего кота начинается воспаление легких, но мы его вылечим. И вылечил – вколол антибиотик, кот наш ожил, бегает по дому, греется в коридоре, в проеме форточки, на весеннем солнышке, задирая соседского кота, черного как сатана, который намного старше его и не в восторге от нарушителя границы. Но Киш не думает уступать место под солнцем, дерется, как прирожденный боец, осыпая недруга градом чувствительных ударов в ближнем бою.

Это солнце его погубило. С наступлением весны Киша перевели в мою комнату, где он не только спал ночью, но и развлекался в дневное время, прыгая на книжные полки, часто срываясь с их полированной поверхности, и, как гимнаст, подтягивая свое послушное туловище.

Окна на улицу были открыты. Разогревшись на солнце, Киш начал поглядывать на молодых кошечек, которые откровенно строили ему глазки. Как-то раз не

выдержал искушения, махнул по карнизу на волю, только его и видели.



Говорят, с котами обыкновенно так бывает: поживут в доме и уходят, обычно весной.

Пожаловался я соседу на нашего кота, а он в свою очередь меня огорошил признанием. Это он подкинул котенка в наш подъезд, знал, не оставим без внимания. Так и было, наверно. Соседа кошка – вылитый Киш. Сестра его, сразу видно. Та же масть и бесстрашно задирает собак, ходит живым укором перед глазами.

Зазубрины на книжных полках от Кишиных когтей я не замазал лаком, оставил как есть.

Стоят, как прежде, за стеклами умные книги. Есть среди них – и о любви, от Данте до Бунина, которые много писали об этом великом чувстве, крепком, как смерть, но так и не исчерпали его до конца.

Манана КВАЧАНТИРАДЗЕ

## ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ОТАРА ЧИЛАДЗЕ

Историко-политическая обстановка 70-80-х годов XX века со всей остротой поставила перед грузинским обществом проблему выживания. Во всех сферах литературы и искусства ощущалось брожение, готовность к изменению идеологических и нравственных постулатов, сформировавшихся под имперским давлением. Литература начинает поиски ориентиров, способных восстановить разрушенный национальный менталитет, усилить его сопротивляемость. Именно в этом проявилось стремление национального творческого сознания к спасению.

Читателям Отара Чиладзе хорошо известно, как ответственно относится он к идее спасения нации и функции писателя вообще. «И другие в надежде на него выбросили из головы то, что выбросили из головы, это Авелум обязан был помнить!»\* («Авелум»). Его романы своей сюжетно-композиционной и временно-пространственной организацией, логикой повествовательных возможностей и стройностью углов зрения, отраженной в суждениях, создают языковую и мировоззренческую систему со всеми характерными для системы существенными признаками, удовлетворяющую всем предъявляемым ей требованиям.

Художественный текст Отара Чиладзе – это система знаков, где знаки движутся к смыслу в свободном ассоциативном языковом пространстве, способствуя необычайной активизации читательского воображения. Его романы –

---

\* Переводы из произведений О. Чиладзе здесь и далее подстро-  
чные.



вопросы, обращенные к мифу, истории, глубочайшим пластам национального и индивидуального сознания, судьбе, прошлому и будущему. Они ищут ответы в огромном, можно сказать, бесконечном семантическом пространстве.

Писатель прозревает метафизический исток трагедии на эмпирическом и бытовом уровне. Именно там намечает рок свои далекие цели и знаки, по которым мы должны угадать его. Отар Чиладзе рисует не политическую панораму, а психологические ситуации. Реальный исторический процесс, к примеру, развал империи, он видит в жизненных символах и постоянно вовлекает нас в процесс определения их значений.

Характеризуя мировоззрение Отара Чиладзе, нельзя обойти вниманием такое философское понятие как понимание. В герменевтике, например, у Х.Г.Гадамера, понимание – существенная экзистенциальная структура личностного бытия, основа целостности как на индивидуальном, так и на национальном и общечеловеческом уровне.

Современная философия считает, что в понимании отражается то, как функционирует культура. Отар Чиладзе активизирует историко-культурные слои значений, чтобы создать такую модель восприятия, объяснения, приятия, одним словом, понимания мира, в которой отразились бы как личностный, так и национальный уровни функционирования культуры. Его модель довольно емка, является олицетворением глубокой духовности.

Акт понимания в художественном мире осуществляется с помощью языка, т.е. с помощью несущих эстетическую нагрузку слов, предложений, фраз, участвующих в нем в виде определенной системы. Акт понимания у Отара Чиладзе – прежде всего акт любви, преодолевающий всеобъемлющие исторические глубины, время и пространство. «Униженный жизнью, но вознесенный любовью на высоту, не доступную никакой жизни, он стремился к той сказочной пещере, что существовала лишь в его мечтах, в ней он хранил с незапамятных времен такой запас любви, которого в избытке хватило бы для всего человечества, приберегая его для того счастли-

вого дня, когда оскотинившийся человек-самоед вдруг очнется и поймет: так жить больше нельзя, без любви ничто не имеет смысла – ни рождение, ни смерть» («Авелум»).

Акт понимания требует высочайшей ответственности по отношению ко всему. Эта ответственность, точнее собирательное сознание сближает рассеянные в историческом времени и пространстве, воображении и реальности различные признаки культуры – исторические факты или мифологические символы.

Мир Отара Чиладзе состоит из микро- и макрокосмоса. Функции и значение их постоянно переходят одно в другое. Разрушение макрокосмоса начинается с изменений в природе, продолжается на государственном и бытовом уровне и заканчивается крушением личности или микрокосмоса. Вспомним признаки, сопутствовавшие гибели Вани, падение Вани, внутренний разлад Фарнаоза с бесконечными рефлексиями; или связь между гибелью империи и внутренней драмой Авелума.

То, как масштабно представляет Отар Чиладзе взаимопроникновение макро- и микрокосмосов, внутреннюю ответственность человека за судьбу макрокосмоса и глубокую моральную сущность их взаимосвязи, хорошо видно в тех фрагментах «Авелума», где им овладевает желание преклонить колени перед бесконечным, бескрайним пространством небес. «Он не останавливаясь молился, то и дело повторял слова молитвы, охваченный волнением, возбужденный близостью яркого света или некой сверхъестественной силы, но тем не менее по-человечески напряженный, по-человечески настороженно прислушивающийся к малейшему шуму...»

Космос Отара Чиладзе этически упорядочен. Дерево существует для того, чтобы внушить человеку веру в бессмертие жизни, в то, что он родится вновь, и тем самым сделать его сильным. Умерший предок освобождает своему живому потомку жизненное пространство или место на земле. Фриксе и Кайхосро – без прошлого, и постольку у них нет будущего, и место, где они живут, генетически не принадлежит им. Этот

функциональный жизненный порядок, как отдельный блок значений, находится в связи с другими блоками значений, прежде всего с идеями связи времен и родительско-сыновних отношений. Безотцовщина значит безродность, отсутствие прошлого, своего места – бытие вне времени и пространства. Фриксе, Кайхосро, Куса, Окаджадо (в какой-то степени и Соня) отвергнуты отцами или брошены ими (вольно или невольно). Они относятся к отдельной группе образов-знаков безродных или группе беспамятных, присваивающих себе чужое. В мире Отара Чиладзе с ними связаны все признаки несчастья, ибо разрыв связи с прошлым в корне меняет естественный порядок мира. Жизнь обычно хранит зерна культуры и этики. Хранит именно в виде системности и порядка, а не как ценности, которые видит в них человеческое сознание. Природа как целое, состоящее из частей, постоянно защищает свое единство. И потребность человека принадлежать к этно-генетико-историко-культурному единству есть не что иное, как закон природы – верность части целому. На фоне этой естественной потребности нужно осмыслить трагизм внутреннего раскола личности в условиях имперского государства и ее постоянное стремление к восстановлению нарушенной целостности. С этим же увязывается проблема идентификации в романах «Мартовский петух», «И всякий, кто встретится со мной» и т.д.

Микро- и макрокосмос тесно связаны между собой на уровне глубоких значений. Активизируя ассоциативные слои значений, Отар Чиладзе пытается выдвинуть на передний план естественный порядок, связь и соответствие, их потаенные функции и невидимые края, чтобы приблизиться к пониманию сущности человека или ответить на вопрос: «Что делается с человеком, что примешал Бог к земле такого, что не поддается исцелению?» («И всякий, кто встретится со мной»). Этот извечный вопрос творца к мирозданию в то же время подразумевает и вопрос мироздания к человеку, и поскольку мир не может изъясняться на нашем языке, мы должны постичь знаки его языка и с их помощью разгадать

не только тайну человека, но и тайну мироздания и получить ответ на вопрос: «Почему должно было случиться именно так, как случилось, а не так, как не случилось? Почему? Почему?» («Авелум»).

Ответ на этот вопрос должен дать человек – своим словом, делом, мыслью, воображением, прошлым, настоящим, мечтой о будущем, всем тем, что явно или тайно составляет человеческую сущность. Этот вопрос – один из основных концептов романов Отара Чиладзе. А вариант возможного ответа таков: «Заточенный во мрак и все же стремящийся к свету, униженный жизнью, но возвышенный любовью, которой она же наделила его... гордый своими страданиями, вечный путник спешит защитить кого-то, кто ждет его, – спешит ко всем, с кем вольно или невольно, к счастью или несчастью связала его жизнь» («Авелум»).

В соответствии со своей художественной и мировоззренческой задачей автор отдает предпочтение, в основном, модели циклического времени. Это знаковое время, его психологический архетип. Циклический ход времени связан с верой в обратимость явлений, возвращение утраченного, преобразование, а не умирание, справедливую изменчивость и имеет импульс к спасению. Время – имманентное явление для художественной ткани Отара Чиладзе. Его слово постоянно движется к расширению значения, что значит – интенция языка направлена к спасению. Такая же интенция характеризует его мировоззренческо-художественное сознание. Постольку художественное время как организующий принцип, означающий идею спасения, должно быть обратимым и циклическим и таковым и является.

Модель времени и пространства во всех романах Отара Чиладзе отражает момент перехода, изменения. По Платону, время – форма самозаявления вечности. Если принять эту точку зрения, то переходные этапы, посвящающие нас в тайну времени, – свидетельство единства преходящего и непреходящего. Петушиный крик в непрекращающейся ночи, писк новорожденного Кусы, достигший садов Дариачанги, гул

макабелевских часов, стук в «Авелуме» – знаки времени, его изменения. Время, в основном, передается пространственными образами. К примеру, морским отливом начинается переход древнего Вани в прошлое. Эти пространственные изменения постоянно возрастают, появляются признаки смерти – сеть болот на берегу, оставленном морем. В древнем Вани время никогда не фиксировалось, оно впервые звучит с приходом Фикса, а это означает, что преходящее, текучее в одну сторону время противостоит вечности. Причинно-следственные связи начинают фиксировать ход времени только в одном направлении – к смерти.

Концепцию времени Отар Чиладзе выражает не только пространственными образами, но и с помощью чувств. Эмоция, которую рождает предмет в эстетическом мире, это знак не только предмета, но одновременно и субъекта. Например, с помощью запаха жасмина писатель репрезентирует воспоминания Нико о детстве; в ароматах сада Дариачанги присутствует чувственная абстракция древнего Вани. Вообще аромат, запах – наиболее чистая и совершенная форма связи со временем, возникающая в результате стирания пространственно-визуальных образов, кодированных на уровне подсознания. Именно с помощью запахов связывает Отар Чиладзе настоящее с глубочайшими структурами подсознательного. Нико, к примеру, помнит запах гнезда. И незнакомца, вернее его значение, он познает по запаху: «Он пах, как отец, на миг он принял его за отца» («Мартовский петух»).

В ощущениях активируются наиболее глубокие подсознательные структуры времени, не только воскрешение самых глубинных пластов памяти, но и предчувствие будущего, т.е. соединение фантомов не только промелькнувшего в реальности, но и еще не наступившего времени: «Он почувствовал вкус крови во рту» или «У него возникло ощущение, словно он стоял на скотине, которую должны были принести в жертву» («Шел человек по дороге»). Эти неожиданно нахлынувшие на Ясона ощущения, возникшие при виде Медеи во дворце Айэта, не что иное как знаки из будущего, указующие на еще

не свершенное «абсолютное» преступление Медеи. Подобное воплощение времени представляет жизнь как вечное вращение по кругу явлений, где каждый жизненный цикл задан и детерминирован с самого начала. Отар Чиладзе интерференцирует в свободном эстетическом пространстве не только время, но и совершенно отличные потоки ощущений: «Он как будто даже увидел тот голос» («Авелум»).

Известно, что в идее времени овеществляется ощущение потраченных сил, т.е. внешний опыт кристаллизуется во внутренний. Именно поэтому прошлое есть субстанциальная основная ценность. Чувственная связь Нико с незнакомцем как с архетипом (Амирани, героем сказки, предком вообще) психологически точно мотивирована.

Идея связи времен неотрывна от памяти и таким образом – от спасения. Именно с этой точки зрения прошлое для Отара Чиладзе – резервуар вечности, память же – механизм проникновения в нее: «Чтобы стать будущим, настоящее должно пройти через прошлое». Движение мысли к прошлому сознательно или подсознательно направлено на усиление своего могущества – познание подразумевает и память. А воспоминание – то же повторение и, как говорят грузины, мать знания, или в контексте мира Отара Чиладзе – мать значений. Поэтому в его романах мы постоянно встречаем ритмико-композиционное повторение знаков.

Владеть знанием о времени – значит владеть знанием о прошлом. Этим знанием владеют отцы, поэтому концепты времени и памяти на уровне значений почти всегда увязываются с концептами родительско-сыновних отношений и таким образом возрастанием ответственности сознания за предков и прошлое. Именно этот процесс отражен в «Мартовском петухе». Сожаление, ответственность, долг, по существу, не что иное, как связанные со временем ощущения и эмоционально-моральные формы отношения ко времени. В «Авелуме» перед нами открываются все более глубокие пласты этих соответствий. Ответственность за прошлое здесь буквально пронизывает наиболее стихийные, глубоко ин-

тимные слои сознания личности.

Пространство у Отара Чиладзе такое же знаковое, как и время. Его пространственные образы (погреб Бахи, Вани, Дариачанги, хлев Гиорга, зимняя изба, Трианонский дворец, край восходящего солнца и т.д.) исполнены значений, соответствующих определенным взглядам и представлениям о том или ином типе модели мира.

Кровать, виноградник, пещера – пространства инициации. Хлев Гиорга – приют добра и чистоты, где с ритуальной точностью распределяется добро и любовь между природой и человеком, матерью и сыном. Обнесенный оградой макабелевский дом – пристанище человеконенавистника, ковчег, с помощью которого Кайхосро тщетно пытается спастись – враг-то внутри, затаился в его душе. Темные ледяные волны дворца Окаджадо – холодное средоточие власти. Зимняя изба в «Железном театре» – пристанище смерти, безнравственности, порока. Дариачанги – пространственное чудо, так же как и Вани – уголок свободы и счастья. Кладбище, пещера, подземелье – пространства инициации, куда герои Отара Чиладзе бегут, чтобы собраться с силами, ощутить связь с прошлым, вернуться к жизни.

Пространственный порядок служит, прежде всего, справедливому взаимозамещению смерти и жизни: мертвый освобождает место для живого, но остается в памяти или воображаемом пространстве, где найдется место для всех. Уже иро хоронит своих мертвецов на полотне величиной с парус. Этот парус – блестящий образ неосуществленной жизни – указывает на фактуру микрокосмоса Отара Чиладзе. Это – виртуальное пространство текста души – пестрое поле, орошенное слезами сожаления. Парнаоз хоронит голову Ино, или пытается спасти ее в своем воображении, спасти и сохранить. Так начинается вторая жизнь после смерти. Таким образом преодолевается оппозиция между смертью и жизнью. Их взаимопроницаемость повторяет графическое изображение круга.

Круг у Отара Чиладзе – глобальная модель мира, цикли-

чность времени, смена поколений, оппозиции: внутреннее – внешнее, сознание – подсознание, природа – культура, рациональность – эмоция, смерть – жизнь основываются на модели круга. Круг, по представлению герменевтики, – экзистенциальная праструктура бытия. Она представляет собой модель бесконечного вращения, взаимоперехода, не знающего ни начала, ни конца, или изоморфную «схему» механизма понимания и бытия.

Круг – самый закаленный символ коммуникации, при осмыслении которого наиболее существенные значения видимого и невидимого космоса вступают во взаимосвязь – весь временно-пространственный континуум мира. Поэтому понятно, что в пространстве церкви с обрушившимся куполом и огонь не имел бы силы, и Нико не смог бы спасти незнакомца («Мартовский петух»). Однако согласно тому же принципу круга, прерванные коммуникации между потомками и предками или будущим и прошлым вновь будут восстановлены.

Художественные модели времени и пространства интересны еще и тем, что с их помощью происходит определение типа национального сознания. В этом случае временно-пространственная модель предстает перед нами тем типологическим элементом общей структуры культуры, который самобытен и индивидуален в каждом «языке» отдельной культуры. Язык культуры определяет, прежде всего, художественный язык, ибо он хранит память типа культуры и ту особенность спектра связи с миром, которые придают уникальность каждому такому национально-культурному «языку». Благодаря художественному языку происходит воскрешение мертвых зон культуры, точнее, очистка, выявление закрытых зон значений. Таким образом ценности перемещаются из эпохи в эпоху и вступают в связь с современными моделями культуры.

По мнению Жака Деррида, европейское сознание, как тип культуры, – логоцентрично, т.е. одному из членов оппозиции с самого начала отдается преимущество. Например, будущему



в сравнении с прошлым, верху в сравнении с низом, разуму в сравнении с интуицией, означаемому в сравнении с означающим, европейскому в сравнении со всеми остальными типами сознания. Деррида считает, что этот принцип в современной западной семиологической практике нерушим. Что касается Отара Чиладзе, то его художественный язык – образец именно антицентристской семиологической практики. Прежде всего это подтверждается моделью времени: здесь в сравнении с настоящим предпочтение отдается прошлому. Будущее рождается из прошлого. Не подтверждается и преимущество рации в сравнении с эмоцией, напротив, аргументы Отара Чиладзе опираются скорее на эмоциональное соответствие, нежели на логическое.

Противопоставление неба и земли не радикально (неаксиоматично), поскольку земля – это мать, дарующая жизнь и принимающая в свое лоно умерших. В землю уходят и корни дерева, с которым отождествляет себя Авелум – «на таинственном кладбище невольно утраченного или намеренно захороненного знания (наверное, чтобы запомнить место), и это он считает единственным предназначением, призванием, оправданием его здешней – как плотской, так и духовной – жизни» («Авелум»). Так представляет Отар Чиладзе функцию писателя – быть знаком утраченного значения на могиле тайны. Дерево, как сторож стоящее в открытом пространстве, соединяющее своими корнями и макушкой землю и небо, образец покоя, мудрости и неиссякаемой жизнеспособности, внушает человеку веру в вечную жизнь. Говоря о материальных предметах обычно имеют в виду их назначение, а не значение. Отар Чиладзе синтезирует значение и назначение предмета в языковом пространстве путем перехода на уровень знаков. В результате он преодолевает грань между чувственным и понятийным, предметом и мыслью. В данном случае, в пространственной метафоре дерева, как в знаке, собраны все значения – явные и скрытые – миссии истинного писателя.

Оппозиция свет – тьма часто решается в пользу тьмы: «Тьма – неизменная вечность, свет же – непостоянная глупая

женщина» («Авелум»). Тьма – вместилище знаков, таинственное пространство, откуда обычно до нас доходит голос, звук, знак – высшая абстракция тайны. Интуиция Отара Чиладзе упорно связывает концепцию спасения (или будущее) с памятью (или прошлым) «хотя бы потому, что только там возможно существование веры и мечты, только там есть место отнятому и утраченному» («Авелум»). В последующем фрагменте текста отражены все противоречия процесса преодоления объективного времени с помощью субъективного: «Коварно, беззвучно отстают от его ног песок и щебень прошлого... Они отрезвляют, напоминают о течении времени, указывают его направление, а он упрямо протягивает руки именно к ним, цепляется именно за ветки прошлого, ибо хочет подняться наверх. Не вперед, не назад, а только вверх. Туда, наверх, где нет или уже не будет реальности» («Авелум»). Наверх или в прошлое, поскольку «в небе покоятся мечта, надежда, любовь... И в небе же – могила его мечты, надежды, любви, тот же клад, сокровищница...»

«В небе покоятся» – это преодоление в слове, чувстве оппозиции верх – низ, небо – земля и в то же время признание преимущества воображаемой реальности перед объективным миром. «В небе покоятся» и «цепляется за ветки прошлого» – эти образы создают круговую модель неба и земли, прошлого и будущего, существующего (живого) и исчезнувшего (умершего), микро- и макрокосмоса. С помощью мечты, надежды и любви можно заполнить любую пустоту и от затерянной могилы отца, и от могилы Авеля (т.е. брата) и от того, что в детстве отдали в чужой дом маленькую сестру. Концепт пустоты увязывается с концептом потери и таким путем с Ино, матерью, маленьким Ухеиро, Гиоргой, похороненным в сибирской земле Нико, незнакомцем, тбилисским артистом или Меланией, иными словами, с любовью, другом, сыном, предком и родиной, а вернее, с уже навеки утраченным временем, со всем тем, что человеку не удалось сберечь, но оно тем не менее сохранилось – где-то, в обрывках чувств, в запахе, цвете, голосе, короче, в памяти...

Путь к ценностям лежит через значения. В процессе поиска значений осуществляется духовная интенция — на спасение ценностей, столь характерная для культурного сознания. Именно в силу этой интенции так велик интерес литературы XX века к мифу. По существу, это движение в глубины прошлого с целью постижения языком первичных жизненных форм связи человека с миром и поиска естественного импульса к спасению: «Для того, чтобы понять, надо было прожить ту жизнь, которую прожил Авелум вместе со своими предками с незапамятных времен до этих дней. Именно следы этого бытия искал Авелум весь свой век. Это и привело его в душный критский лабиринт, что ушлые литераторы объясняют увлечением мифологией». Отношение писателя к функции мифа в художественной системе выражено предельно ясно, и комментарии, разумеется, излишни. Скажем только, что миф у Отара Чиладзе — вторичная система знаков, как язык, с помощью которого в его мир проникают исторические, культурные, духовные, психологические знаки национального менталитета.

Амирани и Медея — гомологические т.е. функционально аналогичные структуры («Дочь Медеи и Амирани», — говорит писатель о современной грузинке). Общий признак этих образов — игнорирование родственно-генетических связей: Амирани, поднявший руку на крестного — Бога (отца); Медея — вольная или невольная опровергательница отца и соучастница убийства брата. То, что в архаичных моделях противостояния поколений выполняет представитель мужского пола (ниспровержение отца), здесь делает Медея — женщина. Знаки гордыни Амирани, его неукротимой витальной энергии разбавлены в какой-то мере религиозно-моральными знаками (предание земле беспризорного, сентенция типа «мы все едим кровавый хлеб»). Когда Отар Чиладзе говорит, что «все дети — Амирани» или «все — дети Амирани», он считает амирановское начало — основной структурой феномена грузинской психики. Интенцию национального сознания он ищет прежде всего в языке, мифе, истории, ищет их видоизмененные зна-

чения, или, как он сам говорит, «след жизни». Эта метафора дает ясное представление об особенностях его восприятия и художественного языка. Именно на уровне следа, отпечатка, на уровне знака преодолевает он абстракцию мысли, оголяет чувственные основы значения.

Это достижение, со своей стороны, связано с существенной чертой его мировоззрения и поэтического языка – метафоричностью. Метафорический принцип – формообразующий принцип. Метафора – знак, в котором значение существует в виде бесконечных возможностей. В этом заключается и тайна многообразности интерпретации мифа.

Метафора – существенная структура мира Отара Чиладзе. Она предстает перед нами как мировоззренческий принцип, психологический настрой, знак художественной речи и, под конец, принцип, организующий сюжет романа. Владеть метафорой значит владеть жизнью (А.Ричардс). Именно метафоричность – исток неиссякаемой силы жизни, которая отличает романы Отара Чиладзе. Они представляют развернутую метафору, или полисемические знаки комплексов значений. В тексте постоянно происходит соединение знаков и движение к значениям. Глобальные значения формулируются не в рамках одного романа, а в пределах всей системы, всех пяти романов. Знаки вступают во все новые и новые союзы, врываются в поля других значений и создают огромную сеть возможных значений («текст» по-латыни, между прочим, значит «сеть», «ткань»).

Достоинство образа определяется масштабом «зоны воображения», тем, насколько верно масштаб зоны выявляет широкий спектр глубинных ассоциативных значений. Таким образом, дискурс Отара Чиладзе расширяет границы нашего мышления, освобождает его от обычных для разговорного языка словосогласований, переводит в новые семантические пространства и глубинный контекст. Короче, показывает бесконечную борьбу слова за значение. В этом смысле художественный язык Отара Чиладзе изоморфен его мировоззрению.

В его отношении к языку проявляется его связь с жизнью. Язык Отара Чиладзе функционально аналогичен жизни, ибо, как жизнь, бытие, мир, время – своей бесконечной текучестью, взаимосвязями, изменчивостью, – призван постоянно создавать значения. Язык, как непрерывный процесс, обычно тормозится в значениях. У Отара Чиладзе язык заряжен импульсом связи значений, приведения их в некое первоначальное единство. Писатель создает мощные языковые потоки, объединяющиеся в огромных резервуарах значений и непрерывно перетекающие один в другой. Это непрерывное движение создает ощущение прилива огромной языковой энергии и, естественно, несет в себе настрой стремления к жизни, спасению. Грузинский язык у Отара Чиладзе представляет собой исполненную жизненной энергии огромную символическую форму с осевшим на дне общенациональным культурным опытом, в которой проявляются масштабы свободы индивидуального сознания творца. Слово писателя амбивалентно, он преодолевает самые радикальные оппозиции в слове и достигает единства, ощущение которого и есть выражение поэтического отношения к миру.

Персонажи Отара Чиладзе представляют собой сложные комплексные знаки направлений сознания, духовных состояний, идей. Куса, Ино, Ана, Гиорга, Ухсиро, Кайхосро, Александрэ, Нико, Гижкола, тбилисский актер, Эленэ, Гела, маленький Ухеиро, Авелум, Мелания, Франсуаза и Соня наряду со своей конкретной образностью являются символами идей власти, спасения, свободы, добра, борьбы, зла, ненависти, покаяния, терпения, любви, измены и преданности. Они зачастую представляют собой трансформированные образы библейских и мифических моделей. Вместе с глобальными знаками времени и пространства они создают фундаментальные значения в художественной системе Отара Чиладзе.

В романах Отара Чиладзе глубинные уровни значений создаются радикальной оппозицией архетипных и классических моделей: жизнь – смерть, добро – зло, отец – сын,

любовь – ненависть, свобода – рабство, прошлое – будущее, верх – низ и т.д. Писатель трансформирует их в систему современных идей и взглядов, учитывая как индивидуальные, так и национальные и общечеловеческие уровни их влияния.

Оппозиция отец – сын постоянно преодолевается у Отара Чиладзе. Она остается оппозицией лишь на примитивном и прагматическом уровнях сознания (Кайхосро – Петрэ, Куса – Филамонэ, Окаджадо – конюх, дядя Гогии – Илья, Гогия-незнакомец). Во всех остальных случаях это – единство: «Три равно одному» («Авелум»), Парнаоз и Ухеиро, маленький Ухеиро и Парнаоз, Нико и его отец, Нико и незнакомец, Гижкола и отцовская могила, Гижкола и незнакомец, Гела и тбилисский актер, Гиорга и его отец. Значение третьего связывается с мистическим духом этого единства на коннотативном уровне и таким образом – со «святой троицей».

Постоянное молчание между отцом и сыном весьма знаменательно. Желание сыновей разгадать тайну и отцовское молчание представляют собой одновременно знак таинственного невысказанного единства и противоречия, выражение некой странной невозможности приобщиться к тайне. Таково молчание Ухеиро. Но мы все читаем ответ на его полотне величиной с парус и на копье, на которое вешают тряпки маленького Ухеиро. Его потомки должны увидеть в этих предметах знаки будущего пути или значение тайны и необходимость ее сохранения для будущих поколений. Сцена передачи котлет в «Мартовском петухе» и слова отца: «Только запомни, поймешь потом»; постоянное обращение Гелы к отцу в своем воображении; безответный вопрос Гиорга к отцу о собственном назначении и сцена, когда Авелум перед смертью никак не может дать понять Экаэкатеринэ то, что он хочет ей сказать, – знаковые ситуации, когда в сознании запечатлеваются, кодируются, сохраняются знаки, но не значения. Этот код в будущем должен быть прочитан и прочтется непременно: мы понимаем, что значит для Гиорга отцовская чуха на стене в хлеву и бесславно затерянные в новой стене камни старого дома, понимаем, почему незнакомец говорит

Нико: «Иногда хотя бы вспоминай меня». Мир Отара Чиладзе изъясняется этими старыми камнями, пещерами, обломками копья, или знаками утраченного времени, прошлого, памяти. Отцы – хранители кода спасения и свободы, но они бессильны и ничего не могут изменить. Оппозиция возникает потому, что сыновья не знают кода и не могут получить его от отцов, именно поэтому в каждом отце есть то, что ставит его в положение виноватого перед сыном, и в каждом сыне – осознание невыплаченного долга отцу. Сыновья обречены на муки, на бесконечное хождение, как говорит писатель, из темноты в темноту, из одной тюрьмы в другую, из одного города империи в другой, пока не поймут, что знание не имеет никакой цены, если оно не приобретено ценой мучений, ценой одиночества, любви, свободы, наконец, и затем бесконечного к ней стремления, преодоления ненависти и сеяния добра, ценой предания земле мертвых, т.е. ответственности, любви, верности прошлому и всему, что коснулось сознания человека. Потому Авелум есть и Авелум, и его поколение, уничтоженное в 1956-м, и его потомки, убитые 9-го апреля 89-го. Человек, заботящийся о чужих детях, чужом трупе, чужом прошлом и будущем, вечный искатель свободы и путей к спасению. Его сознание – собирательное, как у Парнаоза, Александрэ, Нико. Только такие могут найти пути к спасению и вырваться на свободу – проводники своего культурного прошлого, передающие, распределяющие его между своими потомками и если они не спасают его в реальности, то делают это хотя бы в воображении, как Парнаоз, или производят на свет летающее дитя, как Авелум, или подавляют снедающий их страх, как Нико, или вечно ищут свободу, как Гела. Да и в чем назначение человека? «В праве на борьбу».

В «Авелуме» представлены наиболее глубокие ассоциативные значения идеи свободы. Она словно открывается для всевозможных интерпретаций, становятся явными почти все аспекты оппозиции свобода – рабство, все ее внутренние противоречия – центральные и периферийные, поверхностные и глубинные, невидимые, ассоциативные и явные,

материальные. Определяются союзы идеи свободы с различными экзистенциями, психологическими состояниями, направлениями сознания – любовью, долгом, семьей, потомками, прошлым и будущим, чувством личного и национального достоинства, смертью и жизнью, одиночеством, страхом, спасением, сознательными и бессознательными импульсами.

Воля к свободе представлена как глубочайшая структура человеческого бытия и сознания, основное жизненное стремление человека. В свободном пространстве между волей и правом находится концепт человечности, как бесконечное стремление воли к праву и весь трагизм этого стремления: «С ужасающей жесткостью и беспощадностью он ощутил, какой тяжкий груз человечность, как трудно нести ее в себе» («Авелум»). Человек не свободен. Его вечное пленение преодолевается в любви лишь мгновенным объединением оппозиционных начал. Поэтому – бесконечно бегство к любви и обратно, поскольку «и любовь та же цепь, причем раскаленная цепь страстей, которую ты сам обматываешь вокруг своей шеи, потому что не можешь жить без нее» («Авелум»). Вот что значит по Отару Чиладзе быть «в плену у свободы» – это духовная склонность к муке, плену, но и к любви, мечте, вечной жажде полета к небу. А полет, свобода – есть не что иное, как бытие без сомнения, когда выбор уже сделан. Иллюзорное бытие, в котором исключена ошибка, т.е. эманация метабытия в бытие. Плен же – то, что связывает нас со всем материальным миром и чем никак нельзя поступиться, потому что именно он – самая значительная, истинная, поразительно прекрасная реальность.


Образ свободы, возникающий в «Авелуме», очень похож на модель Амирани: на глазах у Бога и всего рода человеческого человек, на высокой вершине Кавкасиони, в безбрежном пространстве привязан цепью к колу (кстати, кол, в свою очередь, является символом стихийной силы). Таким образом, свобода, по Отару Чиладзе, – право на вечную борьбу. Вот так образ Амирани входит в современную культурно-



ценностную систему. Как тут не согласиться с соображением Хайдеггера о том, что миф есть судьба народа. Но чиладзевский контекст идеи свободы нельзя учитывать без еще одной модели, которая нам, как христианам, весьма близка; это образ распятого человека, которым Отар Чиладзе завершает свой первый роман. И он, воздвигнутый на обозрение мира в открытом пространстве, – вечный знак любви, спасения, самоотверженности, но отвергнутый и обреченный. Человек, раскинувший руки, чтобы прижать к сердцу ближнего, и распятый за это желание. Эти два образа-знака, две модели наказанных за свободу и любовь человеко-Богов, несмотря на все различие между ними, в мировоззренческо-эстетической системе Отара Чиладзе ассоциативно увязываются друг с другом. Таким путем синтезируются в человеке природа (пра-миф) и культура (религия, мораль), преодолевается еще одна оппозиция, столь мучительная и хорошо знакомая современному раздвоенному человеку и всей литературе XX века.

Известный французский литературовед, семиолог и культуролог Ролан Барт с сожалением отмечает: сегодня мы ничего не боимся, не любим и не рассказываем ничего друг другу. А теперь вспомним, что говорит незнакомец Нико: если ты не скучаешь по матери и ничего в жизни не боишься, значит жизнь не имеет для тебя никакой цены. То есть если ты не прикован цепью к любви, тоске, страху – ты не любишь жизнь и все. Герой Отара Чиладзе и боится, и любит, и рассказывает о себе – постоянно, не переводя дыхания, не делая пауз. С огромной внутренней энергией и надеждой, что его поймут. А это значит, что в наше больное время мы имеем писателя, который не утратил надежды и веры в спасение человека, и «досужего» читателя, к счастью, знающего цену такому слову и такой литературе. А это, согласитесь, самое большое, что могут сегодня дать друг другу писатель и читатель.

Повествование Отара Чиладзе вводит нас в огромный мир знания и опыта, ибо знание есть знание значений, проникновение целого спектра изменений в ощущения, мысли.



Понятие свободы, начиная от древних шумеров или от самого Амирани до наших дней, несет в себе самый широкий спектр значений: от стихийной свободы (одна из форм пресечения которой и есть приковывание цепью к колу) до духовной свободы, запрет на которую значит и запрет на любовь, к сожалению, внешне ничем не выражающийся, разве только в продолжительном процессе умирания – не смерти – под страшным, тихим, агрессивным давлением на все, что делает человека человеком и здесь, в империи страха и зла, и на западе, где пародия на свободу разыгрывается между голыми телами на нудистском пляже. То, что пытается спасти писатель в этом выродившемся, охваченном страхом и ненавистью, корыстью и равнодушием, глупостью и невежеством мире – это ЛЮБОВЬ. Ведь и свобода не что иное, как право на борьбу за спасение любви, добра и человечности. Борьба за то, чтобы никогда не оказаться свободными от них. И вновь, и вновь свобода – это та же прикованность к предкам, родине, матери, любимой женщине, семье, детям, родному языку – неисчислимыми цепями, придающими смысл жизни, спасающими человека от одиночества. Освобождение от этих цепей на мгновение – в сравнении со всем временем плена – вторжение некой глубинной структуры свободы, обязательное для того, чтобы напомнить нам еще раз первейшее, сохранившееся только в любви значение свободы: «До боли знакомые, вечно желанные им, вечно искомые нагота, крепость, жар, способные расплавить любые засовы и оковы, стены или дамбы («Авелум»). Бесконечные метания Амирани вокруг кола, к которому он прикован, говорят о подсознательном его пленении и о том поразительном парадоксе, который навязала человеку культура и история, т.е. о нашем трагическом состоянии в условиях и пленения свободы и одновременном освобождении от него.

Многие читатели «Литературной Грузии» наверное удивятся, узнав, что в редакционном архиве нашего журнала обнаружены русские переводы стихотворений Галактиона Табидзе, выполненные Звиадом Гамсахурдиа.

Да, это отнюдь не литературная мистификация – Звиад Гамсахурдиа, несмотря на его радикальные высказывания в адрес Москвы, был истинным знатоком и ценителем и русской литературы и русской философии. То, что грузинский диссидент (а переводы эти, несомненно, относятся к периоду его диссидентства) стремился познакомить русскоязычного читателя с образцами грузинской поэзии, не вяжется с упорно насаждаемым его оппонентами образом русофоба, но это – отдельная тема. Отметим лишь, что даже сегодня, когда минуло почти десять лет после «взлета и падения» Звиада Гамсахурдиа, страсти не улеглись и каждое сказанное о нем слово вызывает бурную реакцию и среди его почитателей, и среди его противников.

Как бы то ни было, с именем Звиада Гамсахурдиа связаны наиболее волнующие и трагические страницы нашей недавней истории: провозглашение независимости Грузии и убийственные для этой независимости события.

«Первая заглавная буква новых дней свободы так часто пишется чернилами смерти». Увы, и мы не избежали этой, подмеченной Хлебниковым фатальной закономерности.

Кто знает, вспоминал ли в последние дни своего президентства загнанный в бетонный бункер Дома правительства, окруженный взбунтовавшейся оппозицией Звиад Гамсахурдиа переведенные им самим строки:

Город погибнет!  
Зловещее чувство  
Закралось в сердце.  
Царит тишина.  
Город погибнет!  
Тоскует призрак,

Черный, угрюмый.  
Город погибнет!



В ужасе диком  
Землю грызет он,  
Зовет на помощь,  
Кто слышит его?  
Никто, о никто,  
Он погибает!

Вряд ли вспоминал. Тем более, что не было жуткой тишины, а стоял жуткий, доносящийся и в этот склеп орудейный грохот. А может и вспомнил, и, в минутном прозрении, ощутил, что это лишь «начало конца» и ему еще придется пройти весь, предначертанный ему тернистый путь и самой дорогой ценой расплатиться за все свои иллюзии, просчеты, слабости, за все свое недолгое счастье харизматического лидерства и президентства.

Все свершилось, словно в греческой трагедии – как и должно было свершиться. Спустя десятилетие яснее видна роковая предопределенность каждого шага стоящих на котуринах героев и внимающей им экзальтированной массы.

Дорого обошелся нам этот последний урок мифотворчества. И сегодня, если продолжить театральную аналогию, вступив в век классической европейской драмы, мы с болью в сердце и содроганием обращаем взор к трагическим актам и персонажам недавнего прошлого в раздумии над извечным вопросом: «Кто мы, откуда мы, куда мы идем?»

О поэтических достоинствах переводов покойного Звиада Гамсахурдиа предоставим судить читателю. Одно несомненно – впервые публикуемые страницы нашего редакционного архива имеют особую познавательную ценность, как неожиданный штрих в полном противоречий трагическом портрете первого президента независимой Грузии.

*Ред.*

## СТРАХ

В городе – страх.  
На улице, скверах,  
Подобно афишам Бурже, Мольера,  
Появилась холера.

Кареты белые  
Мчатся бесшумно.  
Рушатся стены.  
Я часто думал  
Про дни подобные  
Тихо, лукаво.  
О трупы, трупы,  
Холера, холера.

Подобно коннице вражеской,  
Подобно смерчу самума,  
Наводняет нас  
Эта чума!

Солнце чернеет,  
Ветер холерой  
Рыщет  
Вокруг.  
Луна багровая  
Бациллами дышит,  
Занавеси в окнах  
Застыли вдруг.


Артист ступает  
По сцене здоровый  
И падает мигом  
Замертво.

В опере вижу:  
Оголился череп  
У зрителей всех  
/Все это мигом/.  
Бродят скелеты  
Холера! Холера!

Город погибнет!  
Зловещее чувство  
Закралось в сердце.  
Царит тишина.  
Город погибнет!  
Тоскует призрак,  
Черный, угрюмый.  
Город погибнет!

В ужасе диком  
Землю грызет он,  
Зовет на помощь,  
Кто слышит его?  
Никто, о никто,  
Он погибает!

Каркает ворон,  
Сломалась ваза —  
Что значит это?  
Дурная примета.



Гроб – впереди.  
Город бледнеет...  
Город стареет...  
Все знают это:  
Рано иль поздно  
Каждый уверен,  
Что растворится...  
Чудится ему:  
Ветер забвенья –  
Конец всему.

У моей швеи,  
Вполне здоровой,  
Власть городская  
Обелила дверь.  
А затем ее,  
Вполне здоровую,  
Послали этой...  
Зловещей каретой!

Там моя швея  
Тщетно молила  
Врачей и прислужных:  
«Я не больна!»  
Кто их рассудит?  
Кто разберется?  
Никто, о никто.

Солнце чернеет,  
Ветер холерой  
Рыщет  
Вокруг.  
Луна багровая

Бациллами дышит.  
Сохнут деревья,  
Занавеси в окнах  
Застыли,  
Застыла луна...  
И вот  
В один прекрасный день...  
Холера...  
Она...

\* \* \*

Я летел по скалам на синем коне.  
Споткнулся конь.  
Я расшибся, безнадежно ранен,  
И... погас огонь.  
Гроздьями висят  
На поблекшей луне  
Фонтаны и лилии  
В ночной тишине.

Красивым строем прошли мимо статуи.  
Где-то вдали, ветру подобно, шептала музыка, тая:  
«Кто эта дева,  
Кто эта дева,  
Столь голубая?»

Миг перед выстрелом,  
Клубки дыма густого.  
И... черного цветка  
Мертвый лепесток.



Люцифер:

«Кто эта дева, кто эта дева,  
Столь голубая?»



\* \* \*

В лоне, Саваоф,  
Спал ты ночами,  
В лаврах часовни  
Перед свечами,  
И лебедь-служанка  
У плиты надгробной  
Дух испустила  
Ниобиде подобно.  
И нет любви  
Над памятной плитой —  
Под камнем сим  
Она зарыта.

*Перевод Звиада ГАМСАХУРДИА*

## РАЗГОВОР О ГРУЗИНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Сегодняшнее наше время отягчено совершенно новыми для нашей ментальности проблемами, весьма злободневными и во многом прозаическими. Требуя сильнейшей мобилизации жизненной энергии, оно нередко вынужденно ограничивает «мыслительное пространство». Это вызывает ярко выраженную растерянность, а также «самоутверждение», на первый взгляд различных, на деле же внутренне схожих «текстов», выражающих явно легковесные взгляды. Одни предлагают новую национальную идеологию, или же утопически расцвеченные видения. Другие, призывая к отрицанию национальной культурной традиции, готовы напролом, безоглядно ринуться в пучину «цивилизованности». На деле же, истину, по-видимому, следует искать как раз совсем в других «областях», ином контексте.

Приступая к разговору о грузинской культуре, мы осознаем, что сказанное не может претендовать на полноту и бесстрастность. Однако, даже предвидя возражения (возможно вполне обоснованные), кажется не лишним постараться понять феномен «Грузия» с точки зрения духовной культуры, задуматься о его истоках.

Говорить о самобытности грузинской культуры – не тенденциозность, тем более, что данный вопрос с разных сторон основательно освещался серьезными учеными и исследователями.

Любой народ является носителем очень сложного, многослойного духовного «построения», обладателем в высшей степени реальной и одновременно неуловимо таинственной целостности, объединяющей множество людей сакральными в какой-то мере ориентирами и нередко также сакральным местопребыванием, ни в коей мере не сводимым к географич-

ческим характеристикам. Все это связано с различными типами моделирования глубинной неразрывности «природа – культура».

Вряд ли правомерно сомневаться в том, что любая национальная культура содержит в себе в определенной степени константный, надвременной, но в то же время – динамичный, гибкий, живой, по выражению Г.Гачева, «психокосмо-логос». Выявить этот сверхсложный духовный космос, определить его сущность не только трудно, но и невозможно. Однако конкретные его выявления в различных областях творчества, пожалуй, можно проанализировать более конкретно, опираясь на значительный базис нашего наследия – имеются в виду наблюдения и исследования И.Чавчавадзе, В.Пшавела, А.Джорджадзе, М.Церетели, И.Джавахишвили, Г.Чубинашвили, В.Беридзе, Гр.Робакидзе, К.Гамсахурдиа, Ш.Нуцубидзе, Г.Кикодзе, К.Кекелидзе, В.Нозадзе, Д.Какабадзе, А.Бакрадзе, Г.Асатиани, Д.Туманишвили и многих других. Попытаемся совершить «микрорпутешествие» в духовные измерения нашей родины в виде анализа традиционных, в основном, проявлений его культуры.

Начнем наш «поход» в мир песни. Чем является песня для культуры Грузии? С точки зрения духовных достижений грузин, это – наверное наиболее фундаментальный, наиболее яркий и незаменимый феномен, о котором столь проникновенно писал Ч.Айтматов. Весь этот необъятный мир убедительно раскрыт в книге Т.Чкуасели «Вперед, к предкам».

Грузинская песня – это нередко возвышенный «перевод» таинственных ритмов вселенной сроднившимся с ними мелосом. В нем звучит доверительность пережитого по отношению к любым живым существам, к людям, к природе. Это выражение высочайшей любви и молитвенной благодарности Всевышнему, светилам, обители звезд, матери-земле. Благодаря песне в душе происходит взаимопроникновение «почвенного» и высшего. В неприкрытой «шершавости» сочетания голосов, фактурно наполненной звучности пения, напоминающей насыщенность неотфильтрованного

кахетинского вина, мы как бы чувствуем широту, дух преодоления гравитации, разбивающий любые преграды в свободном порыве. Однако этот порыв «кверху» отнюдь не неогляден – в нем со всей полнотой ощущается реальное, осязаемое, «здесь» находящееся, как бы «вещественное», даже бытовое. И в то же время мощно «звучит» именно преодоление всяческих «здесь» и «сейчас». Поэтому песня может объять необъятное. Достигая непостижимых высот, она несет в себе и «аромат земли»; она монументальна и интимна, мужественна, иной раз непреклонна и полна нежности, порой вольна, с особым размахом, эпична (как бы несется над просторами Алазанской долины, захватывающей дух своей красотой), подобно кахетинскому «Мравалжамиэр» («Многие лета»), а порой столь могуча, что, кажется, способна сокрушить упирающиеся в небеса горные вершины, как сванское «Лиле» – воистину грандиозный гимн солнцу, восхищавший Вл. Соловьева. А сердечная глубина мегрельской песни так неисчерпаема, так глубоко проникает в невыразимые душевные лабиринты, что вызывает не только изумление, но порой и недоумение силой своей суггестии, своим совершенно особым драматизмом. Несомненно, что и одишская «Одоиа», ритуально архаичная по пафосу взывания к верховным силам, «исходит» из неразгаданных, отдаленных пространств. В Гурии нас привлекают искрометные, как бы авангардистски сумасбродные ритмы (и постольку же – весьма творческие). «Нечаянные» голосовые потоки и «изломы» совершенно свободно, по необъяснимой «логике» соперничают с виртуозными ходами европейского музыкального барокко. Поражающие необычностью развороты и извивы «криманчули» (совершенно иной «тип» известного тирольского «иодля» – генетически вовсе не связанный с ним), порой игривая, но в то же время отлично организованная динамика басов... Все это очень образно отразил в одной фразе великолепный знаток народной песни Дж. Чкуасели, назвав исполнение гурийских песен «стройной суматохой». Их построение весьма структурно «конструировано», причем подчинено четкой системе

«начала – конца». Вообще в Западной Грузии «голосо-поток» имеет порой взрывно-импульсные акценты. Но здесь заявляют о себе и резкие диссонансы, и в высшей степени красивые сочетания. В целом совмещения достигают высочайшего ранга «контрастных гармоний». Однако определяющим, даже при качественной независимости отдельных голосов, следует считать их взаимосплетенность, накрепко связывающую их взаимопритяженность, исходящую из единонаправленности к определенному «фокусу», «едино-целе-устремленности», что характерно и для грузинских орнаментов на фасадах церквей, о чем писали Р. Меписашвили и В. Цинцадзе. В целом мы имеем дело с очень оригинальным типом вокальной (трех, а иногда и четырехголосной) полифонии, имеющей ярко выраженную, собственную «грамматику», восхищавшую И. Стравинского.

Нередко в более протяжных, завораживающих своей глубиной и высокой духовностью песнопениях Восточной Грузии простой, продольно-лаконичный бас бывает основополагающ своей «почвенно-объединяющей» силой, и тогда второй и первый голоса создают волнисто-узорные, чуть ориентально окрашенные, неуловимые, мелодически богатейшие ходы, «опирающиеся» на надежное «лоно» баса, как на могучий фундамент.

Если в весьма архаичных, подобных снежной лавине «аккордо-комплексах» «Лиле» мы ощущаем кульминационную экспрессию, то не менее впечатляюща героичность песен горцев Восточной Грузии, их мужественная суровость, внутренняя непреклонность и в то же время открытость, правдивость и искренность переживания. Некоторые наши песни отличаются легкостью, как бы «крылатостью», встречаются и шуточные, с налетом живого юмора – таковы имеретинские «модзахили», или же песни веселых путников.

В целом же большинство из них, по выражению Т. Чачава, характеризует истинная «музыкальная мудрость». Они достигают вершин задушевной лиричности, а в иных случаях поражают масштабностью видения мира.

Что же касается профессиональных грузинских средневековых церковных хоралов, столь дорогих сердцу М.Иполитова-Иванова, то их ступенчатое восхождение к горнему миру, лучезарной обители света, не только глубоко впечатляет, но (и это решающая характерная черта) духовно возвышает, воистину преображает человека. Это и есть выражение особой, несравненной высоты христианского миропонимания и мироощущения, несущее в себе совершенно иное измерение.

В традиционной инструментальной музыке Грузия, быть может, и не достигла таких вершин, как в вокальной, но для культуры и эта сфера обладает очевидной значимостью. Чего стоит хотя бы чонгури – четырехструнный щипковый деревянный инструмент. Исполненная изящества, ладная форма его напоминает старинный корабль, пустившийся в плавание по морю сокровенных звуков. Что же касается самого звучания, то следует подчеркнуть его активную «оркестровость», подмеченную А.Эркомаишвили, концентрированность, обогащаемость и объединяющую силу константной струны «зили», порой огненную пылкость, порой же подобную полевому цветку нежность и «хрупкость» звукоизвлечения.

Для Грузии (да и не только для нее) многоголосая песня – культурное достояние громадной значимости. Она является наивысшим проявлением «духовной страны» (Вахтанг Котетишвили) грузин. В сущности этот феномен общенационален – носителями и проводниками этой великой музыкальной культуры у нас были все социальные слои, и ее общенациональная интегральная сила до сей поры не осознана в должной мере, хотя эти вопросы рассмотрены П.Коридзе, Д.Туманишвили и другими, подчеркивающими, что она явно выходит за пределы фольклора, как определенной сферы музыки, возвышаясь над современной, чисто профессиональной музыкой.

Наряду с выдающейся традиционной песенной культурой, в Грузии значительны достижения и в других областях, прежде всего необходимо отметить зодчество – как церковное,

так и светское.

Церковь являлась подлинным духовным центром. Она объединяла все сферы церковно-христианского творчества, в том числе и хорал, ориентируя с помощью искусства на истинную веру. И форма, и способ формообразования церквей в Грузии (как и в Греции, России и др.) выявляет преданность православному христианству, являющемуся не идеологией, а истинной верой. Этому совершенному миропониманию соответствует по сути идентичное, но по конкретной реализации четко разнящееся формопостроение в Грузии, России, Сербии, Болгарии, Греции, Румынии и т.д.

Церковные принципы «добро – построения» в Грузии воплотились в предельно совершенной отточенности. По словам В.Беридзе, «граненность и кубизм» соответствуют четкой совершенности, «исчерпывающей» информативности силуэта (Э.Амашукели).

Грузинская школа искусствоведения, основанная крупнейшим ученым Г.Чубинашвили, утверждает, что в целом для грузинских церквей характерна кристальная тектоничность, а декор, имея свою значительную художественную силу, субординированно подчинен строю церкви, как необходимая его часть. Каковы же черты собственно убранства? Блестящая исследовательница искусства Грузии Р.Шмерлинг высказывает по этому поводу существенные соображения. Следует отметить, что многообразием репертуара, полнокровностью пластических «кодов», яркой изобретательностью, а также свежестью подходов безо всякого отрицания принципов упорядоченности, орнаментальные системы церквей Грузии – это достижения мирового масштаба. Поток, бег и энергия этих узоров подразумевают не «арабесковую» экспансию поверхности, а очень точное и «сжатое» местоопределение с точки зрения как семантики, так и формы. В результате течение «потока» узора, крепко «обхватенное» его руслом, удесятерится (из-за силы сопротивления), тем самым усиливая животворность, хоть «напряженность» и сочетается тут со свободным дыханием декора.

Несомненна и значимость средневековой живописи Грузии. Вспомним несколько примеров, свидетельствующих о том, что и в одной стране (на первый взгляд в росписях разного толка) возможно максимальное выражение христианского учения внутренне соответствующим ему языком православной живописи.

Потрясающий пример фрескового искусства – фигуры ангелов «Вознесения креста» из Ишхани. Это воистину удивительный образец выражения сакрального через визуально воспринимаемый образ. Сочетание окрыленной легкости, некоего парения и могучей, всепроникающей энергии придает особенную наполненность фреске. В рисунке мы видим как бы «полет» линии. Тут сосуществуют сверхточность и беспредельная свобода; это не просто царственное, но ниспосланное небесами искусство, рука же просветленного великого мастера явила готовность к восприятию этого высочайшего блага. Роспись эта основательно изучена Т.Вирсаладзе и Э.Приваловой.

Или вспомним Ангела из Атенского «Благовещения» – несравненная непоколебимость рисунка, особая волевая сила абриса, неиссякаемая динамика, мощная пластика... С.Кобуладзе, замечательный мастер рисунка, преклонялся перед этим совершенно великолепным, захватывающим дух «произведением».

А вот «Тайная вечеря» из Давид-Гареджи. Здесь святость привнесена иным «кодом»: предельная отвлеченность пятна, его превращение в чистую «светопись» сопровождается сильнейшей концентрацией почти нефизического свойства (на данные размышления наводят наблюдения А.Вольской).

Духовное пространство Кинцвисской росписи – еще один образец удивительных достижений фресковой живописи. Пятно приобретает здесь бесконечную глубину и светоносность, рисунок же, не в чувственно-эмоциональном, а именно религиозном смысле – прекрасен, и его «энергетические» волны обволакивают, заполняют лоно церкви, его симультанно воспринимаемое пространство.



И наконец – несколько слов о живописи Сванети, глубоко изученной Т.Вирсаладзе, Н.Аладашвили, А.Вольской и Г.Алибегашвили. Мощь линейной «речи», ее «неплотская», чисто пластическая тактильность (точно подмеченная на редкость острым глазом Г.Алибегашвили), решительное ощущение целостности, подразумевающей и богатство нюансов; многообразие направлений почти в каждом «отрезке» линии; стремительность «графики» росписи и конечная собранная упорядоченность, цельность и завершенность – того же, кстати, свойства, что и убранство на восточном фасаде Самтависи, необычайная сила динамизма которой естественно подчинена строго иерархическому строю.

Можно с уверенностью утверждать, что высочайшие достижения культуры Грузии связаны с христианством, исходят из него. И все дохристианские искания самоидентификации, которые мы обнаруживаем в археологических культурах Грузии, а тем более в дохристианских грузинских государствах, многие ученые справедливо считают предчувствием, предощущением, предвосхищением его утверждения, являющегося не внешним привнесением, а внутренне необходимым выбором.

Создатели т.н. «народного искусства» в большинстве своем были христианами, и их мироощущение не могло на нем не отразиться (правда, более или менее опосредованно) – особенно в надгробных плитах, наполненных христианской символикой. «Язычество» же, в основном, в виде фрагментальной «маргинальности» в «низах», либо в более целостном «образе» в горных районах, хоть и было интенсивным, но отнюдь не определяющим фактором культуры христианской Грузии.

Если во фресках Грузии наряду с полной совершенно естественной солидарностью с православным искусством Византии и славянских стран усматриваются немаловажные особенности, то об относительной самостоятельности православной же грузинской чеканки можно вести речь еще более определенно. По масштабности труды Г.Чубинашвили, посвя-

ценные средневековой чеканке, вполне соответствуют величю этого искусства.

Здесь не стоит, наверное, особо распространяться, достаточно лишь приглядеться к т.н. саголашенским пластинам. Совершенно очевидно, что для внутренней конституции грузин христианство – сущностная религия. Именно потому грузинские мастера могли создавать столь выдающиеся в духовном плане произведения. Иначе разве было бы возможно столь адекватное вознесенной молитве решение, объединяющее религиозное видение и соответствующий язык искусства, разве были бы возможны столь четкая композиция и правдивое выражение именно «чеканной» специфики. Потенциально «взрывчатые» по силе ходы «рисунка» сдерживаются таким незаменимым построением, что все это приближается к грани предельно возможного в художественном смысле.

В целом же архитектура церкви являлась наиважнейшим пространством, в высшей степени емкой моделью космоса, вобравшей в себя наиболее глубинные проявления нашей духовной культуры.

В том же контексте было бы правомерно осмыслить и нашу агиографию – своим сочетанием неисчерпаемой символики и полнокровности описываемых событий. Основной принцип тут – немногословное, «экономное» представление наиважнейшего. Что же касается духовной поэзии, то она отличается могуществом не участвующего в суетливом потоке слова, выраженного с почтительным благоговением внутренне свободной и достойной личностью (что является признаком истинного христианства); своеобразной, обращенной к определяющим началам образностью; порой ясной монументальностью того порядка, которая дает себя знать в грузинском древнейшем шрифте «асомтаврули», отличающемся несомненным совершенством графем, что отмечали Р.Патаридзе, Т.Чхенкели, Т.Гамкрелидзе и другие.

Наша светская поэзия во многом соответствует этой высоте. В «Витязе в тигровой шкуре» четко проявилось христианское понимание человека как «образа Божия».

Известно, что все испытания героев явлены как путь очищения во имя самораскрытия и приобщения к сферам премудрости Божьей. Их преданность друг другу подразумевает искренне протянутую ближнему руку, истинную жертвенность на сложнейшем пути жизни. Ведь и этот принцип также является христианским. К.Цинцадзе, К.Кселидзе, В.Нозадзе и другие ученые подчеркивали именно христианское миропонимание Руставели. Да и Давид Гурамишвили, хоть он и одинок, но в то же время, думается, не ощущает себя таковым, благодаря непреклонности веры и духовному «сродству» с Руставели. Горчайшая поэтическая исповедь возвышает его и призывает нас к духовным высотам, учит, обращается к нам... Такого же порядка и неотступность, величие духа, преданность свободе героев Важа Пшавела. И если И.Чавчавадзе в своей знаменитой повести «Человек ли он?» оплакивал упадок и постепенную деградацию возвышенных порывов (и даже ослабление ориентиров более скромного, но опирающегося на христианские постулаты быта), то тем не менее не мог отрицать, что цельные, сильные личности все еще не перевелись на земле – возьмем хотя бы «Отарову вдову». Образ этот не только широко исследован, но и воистину скульптурно «вылеплен», во многом близок «монументальному» видению Пиросманашвили.

И раз уж мы упомянули Пиросманашвили, зададимся вопросом – что это за явление? Ведь он – один из наиболее ярких символов культуры Грузии в целом. Глубина его искусства, несмотря на значительные усилия Ш.Амиранашвили, К.Зданевича, Э.Кузнецова, Г.Хоштария и других, все еще не раскрыта. Не вызывает сомнения, что этот гений вмещает в себя множество пластов. Он родственен и «архаическим началам», близок к «классичности»; сложностью сочетаний – условно «приобщен» к авангарду. Все это говорит о несомненной многогранности его таланта. Подобно разбросанным вокруг церкви надгробным плитам (о связи с ними ведет речь Г.Хоштария), в нем дышит дух древнего, доисламского Востока (если в связи с надгробными плитами это

заметил В.Котетишвили, то касательно Пиросмани – К.Зданевич). Но с еще большей уверенностью (вместе с надгробными плитами) его можно считать и наследником средневековых икон, фресок, рельефов и даже образцов чеканного искусства. Пиросмани и вправду родственен Джотто принципом широчайшего обобщения и «глыбообразной» мощью форм; Сезанну – ощущением значимости простого предмета (как замечено Г.Хоштария); Матиссу – свободным синтезом «знаково-изобразительности» пятна. Он чувствует себя подомашнему в мире народного искусства, но (как неоднократно отмечалось) является выдающейся фигурой в смысле персональности в искусстве. Панорамно развертывающий картины быта (встреча с миром П.Брейгеля), своим эпическим дыханием он сродни гомеровскому щиту Ахилла. В то же время облагорожен духом искреннего, проникновенного христианского сострадания. Пиросмани прост и полнокровен. Согласно Г.Хоштария, здесь органично взаимообъединены «восточная» отвлеченность и «западная» конкретность, что выражается в очень свободной, весьма творческой, раскрывающей совершенно неожиданные возможности изобразительности. Кстати, некоторые подобные черты отмечал О.Мандельштам.

Пиросмани перекликается со значительной частью опыта европейской живописи. Это – фигура удивительного масштаба – развернутость же его величавых работ глубоко родственна кахетино-карталинским, по выражению А.Цулукидзе, «симфоничным», вольно распространяющимся, «всеобъемным» песнопениям. Можно было бы поговорить и о других художниках Грузии, но на сей раз ограничимся феноменом Пиросмани, представляющим собой очень значительную часть ее культуры в целом, отличающейся во многих случаях «европейским» рангом и качеством на протяжении всего XIX–XX вв. – начиная от т.н. «Тбилисской школы» и кончая исходом нынешнего столетия.

Но раз уж мы говорим об особо значимых феноменах нашей культуры, то нельзя обойти вниманием и имя

Д.Какабадзе, который, если не интенсивностью своего несомненно крупного таланта, то удивительной способностью объединять в целостном «видении» бессчетное «многоцветие» окружения, родственен Н.Пиросмани. Яркая его индивидуальность в то же время отнюдь не индивидуалистична. Ведь у него еще сильно ощутима, быть может, неосознанная связь со средневеково-иерархическим православным «домостроем», которая в целом сторонится смутно экспрессивных порывов к потустороннему, что характерно для некоторых «мистически» настроенных европейских художников. Д.Какабадзе же предпочитает ясность и обращается скорее к «сверхличностному». Являясь неординарным мыслителем и творцом (напоминающим своим универсализмом выдающихся художников – ученых эпохи Ренессанса), он выбирает не следование живописно-эмоциональному, импульсному «рукотворению», а как бы приносит все это в жертву во имя выражения всеобщих, структурных первооснов бытия. Мирознание его и вправду глобально. Это касается не только т.н. «абстрактных» работ, но и в высшей степени синтетического, т.н. «имеретинского» «пейзажа-первообраза». Ведь это – сущностное «схватывание» единства начал «природа – культура», или же «человеко-обитатели», наполненной внутренним «витражеобразным» светом (подмечено Л.Рчеулишвили). По верному определению Н.Асатиани, и строй, и своеобразная «прозрачность» его пейзажей внутренне схожи с принципами построения ажурного орнамента грузинского дома «ода-сахли» (о котором речь ниже).

Таким образом, можно заключить, что имеретинская серия Д.Какабадзе (при всем ощущении специфики имеретинского пейзажа), в первую очередь, «планетарна», как бы космична.

Ведя речь о принципах формоощущения и «формопереживания», мы непременно должны коснуться и хореографии. Высший уровень культуры узнаваем и здесь. Грузинский танец оказался способен преобразить телесную «ритмологию» в выдающееся духовное достижение. Если вспомнить,

что человеческое тело – это воистину самый сложный «микрокосмос», то становится ясным, какая глубина таится в хореографии. Гр.Робакидзе своим «всепроницающим» оком увидел и оценил достижения знаменитого ансамбля Н.Рамишвили и И.Сухишвили, ныне названного «национальным балетом». Он подчеркнул сущностные черты культуры Грузии, говоря о явленности безграничного в «ограниченном», об опоясывании безмерного мерным. Ведь все это присутствует и в нашем орнаменте, в его «укрошенной», но мощной энергии...

Любое движение грузинского танца (имеющее безусловно общие основы с миром танцевального искусства Северного Кавказа) и в самом деле отличается «скульптурно-пластическим» совершенством. Силуэты тут исчерпывающе выразительны, а страстный темперамент обуздан, «унят» четкой артикуляционностью движений. Даже при всей безудержности «Ханджлури» (танец с кинжалами), в нем отсутствует биологическая неумеренность, так как динамический заряд в то же время очень структурирован. Взрывы и резкое «самосдерживание» (подобно фантастическим финтам М.Месхи) блистательно сменяют друг друга.

По наблюдению Гр.Робакидзе, в танцах грузин пылкость уравновешивается духовностью.

Волевым упорядочением очевидно и в сванском хороводе, где «корпус», «приподнято» статичный, контрастирует с ногами, выполняющими виртуозный, отточенный каскад движений.

И.Зурабишвили говорит о смысле полного «возвышенного лиризма» известного танца «Картули» («Грузинский»), где в парном исполнении впечатляюще проявляются достоинство, незатейливое, сдержанное пластическое изящество, благородство мягких, лишенных какой-либо излишней усложненности, исключительно красивых движений партнерши и полных самообладания с точки зрения выражения эмоций, торжественно праздничных, исполненных рыцарственности жестов и движений партнера. Танец этот – фактически некая

«идеальная» модель высокой «хореографической поэзии»!

Что же касается ритмики грузинского танца, то тут (например, в «Хоруми») ярко выраженные, резкие акценты наполнены большой эмоциональной силой, хотя и также «сжаты», упорядочены сильнейшей волей.

Одно из выдающихся достижений грузинского «духа» — народная поэзия, которая открыто, сердечно и очень откровенно говорит о сокровенном. С бесхитростной (по Г.Кикнадзе) привлекательной правдивостью создает она «вычеканенные», доверительные по простоте, прозрачные поэтические образы. Однако есть образцы народной поэзии и более глубокие, постигающие таинственные «недра» человеческого духа, окутанные «мистическим» покровом, скорбно-драматичные.

Нередко, как подчеркивает М.Чиковани, полнокровная народная поэзия есть отклик на живую конкретность. Однако же наиболее интенсивно, как это и свойственно фольклору, «переживает» она «сверхконкретное», всеобщее. Словесная ткань этой поэзии порой сурово мужественна, порой же поразительно лирична, но всегда отличается «живо-собранной» ритмичностью и безусловно сочувствует любому существу (кроме, разумеется, злостных, «опасных», вероломных «сил»). Рожденный народной мудростью образ кудесника Миндиа — убедительное тому доказательство.

Поэзия эта объемлет почти все сферы жизни. И действительно, если иногда она радостна, остроумна, увеселительно-развлекательна (иной же раз даже «слишком» раскрепощена), то нередко достигает грандиозной, вселенской трагичности. Такова потрясающая баллада «Добрый молодец из Тавпаравани», в которой гибель возлюбленного героя особенно сильно воздействует на душу из-за ошеломляющего контраста с картиной рассвета, утра, подобного лукавым очам милой. Однако, конечно же, народной поэзии не свойственны депрессия, пессимизм, сплин, что и подчеркивал В.Котетишвили. Ее сила заключается в неиссякаемой вере в торжество добра, и в этом отношении она всегда позитивна (эта общая для

народной поэзии специфика замечательно объяснена (Г.К.Честертоном). Ведь и гибель героя грузинской горской баллады – в первую очередь, «средство» выявить его доблесть, истинную свободу личности.

Поэзия эта – с миром на «ты», она не дистанцируется от него. Следуя глубинной интуиции Важа Пшавела, она понимает, что все – в тебе, а ты – во всем.

Пафос Важа Пшавела глубоко родственен народной поэзии тем, что он любит от всего сердца цветок, дерево, гору, селище, родину, весь мир. Беспредельность и безграничность этой любви – в основе своей христианская.

В народной поэзии особо привлекательно лирически-взволнованное восприятие возлюбленной как благостного существа – здесь дает себя знать тяга к вершинам духа, стремление к гармоничному, свободному, радостному, лучеобильному пространству. И мы понимаем, что поэзия эта имеет тот же неосязаемый источник, что и мироздание «Витязя в тигровой шкуре» или же танца «Картули». И танец этот, и народная песня, и сказ объединяют в себе весь видимый и невидимый космос, начиная с бытового пласта и кончая всеохватными «видениями». В целом же эти «виды» искусства являются своего рода «мостами», объединяющими и связывающими «почвенное» и «верховное».

Небезынтересно, что нашу хореографию (основательно изученную, к примеру, замечательной танцовщицей и кавказоведом Л.Гварамадзе) многое сближает с традиционным боевым искусством Грузии «хридоли». Можно с уверенностью утверждать, что эти два явления имеют единую основу. В этом легко убедиться, наблюдая возрожденные благодаря огромному энтузиазму К.Зарнадзе приемы единоборства. И действительно – убеждаешься, что грузинская борьба «чидаоба», фехтование, кулачный бой и др. в сущности имеют тот же пластический код, что и грузинский танец. И здесь, в высшей степени ловкие, неожиданные, полные практичной выдумки и красоты броски через бедро, плечо, обвивы, зацепы, подсечки, т.е. все способы единоборства так же



отшлифованы, эффектны, лишены какой-либо примитивной грубости и топорности. На основе подобных, преимущественно грузинских приемов, В.Харлампиев, как известно, основал в советское время и спортивное, и чисто боевое «самбо», завоевавшее международный авторитет.

С точки зрения искусствоведа, можно сказать, что чисто эстетически эти приемы весьма привлекательны, выявляют очень высокую культуру боевого искусства. В ходе единоборства дает о себе знать целый «фейерверк» ритмов, их внутренний огонь, великолепно представляя архитектонику тела в его динамике. Значительной зрелищной эффективностью обладает также общепризнанная экспертами оригинальная школа хевсурского фехтования, изученная В.Элашвили.

Что же касается системы мегрельского «моркиа», то во время исполнения «торгвеба» сабля, по верному определению К.Зарнадзе, как бы непосредственно продолжая руку, «выписывает» в пространстве быстрее энергетические «силовые линии», причем сокрушительные по мощи. Серии движений оружия превращаются в необычно красивый узор, и вовсе не исключено их «созвучие» с «тайнописью» традиционных грузинских орнаментов «дедабодзи» (т.н. опора жилища – «дарбази» – с венцеобразным перекрытием – «гвиргвини») или же с декором старинной мебели.

Такого рода совершенные системы единоборства (напр., «моркиа», о которой К.Зарнадзе узнал от престарелого мастера сабельной рубки Г.Гамзардиа) в Грузии прививались сизмальства, о чем, кстати, пишет миссионер А.Ламберти. Это была необходимая составная часть воспитания мужчины. Не следует забывать и о том, что именно К.Майсурадзе, единственный конкурент знаменитого И.Поддубного, являясь несравненным борцом и обладая нечеловеческой богатырской силой, считался также блестящим, «филигранным» мастером грузинского танца, и в данном качестве даже заинтересовал крупнейшего грузинского режиссера С.Ахметели.

Видимо, в традиционной культуре Грузии способности воина, танцора, «стихопевца» и др. не всегда считались

своими собственными определенными узкими профессиями. Нередко талантливые личности как бы носили в себе целостный «образ» своей культуры. Этот своеобразный универсализм отчасти сохранен и поныне – в селах, к примеру, еще можно встретить пожилого крестьянина, являющегося одновременно древоделом-зодчим, мастером родников, виноделом или же мастером деревянной посуды, собственноручно вырезающим пандури и поющим под его аккомпанемент героические баллады. Небезынтересно также, что известный грузинский художник А. Мревлишвили, получивший европейское образование, посвятил свое творчество отображению жизни крестьянства, он был в то же время и исполнителем старинных многоголосных песен, и искусным борцом.

Видимо, высокий уровень военного искусства Грузии обуславливался и тем, что воин-грузин постоянно защищал от бесчисленных могущественных врагов, от их набегов, подобных стихийным бедствиям, созданные собственным трудом и энергией дома, села, города, землю. Это было его «кровное» пространство, это был его достойный самопожертвования христианский космос. Для его менталитета родина обладала священным измерением, ни в коей мере не сводимым к материальным категориям.

Таково было видение, позиция, принцип существования, и он был характерен для всех социальных слоев, от землепашца до царя.

Жилища и поселения также представляли целостный образ мироздания.

И «дарбази» (дом с венцеобразным перекрытием в Восточной и Южной Грузии), и «ода-сахли» (деревянное, более «комфортное» западногрузинское жилище), и дома-крепости горных районов представляют собой весьма значительные примеры культурного наследия.

«Дарбази», прототипы которого на протяжении тысячелетий существовали на территории Грузии (см. труды Л. Сумбадзе и А. Джавахишвили), является фундаментальным выражением мировой жилищной культуры, что отмечает

архитектор и культуролог В.Глазычев.

В первую очередь, это касается интерьера, который можно считать носителем своеобразной «храмовости».

Фокусом, как бы «ядром» внутреннего пространства, собирательным центром, неким основным смысловым «полем» (наряду с верхним свето-дымовым отверстием «эрдо») был очаг. Именно данное место определяет, по Л.Рчеулишвили, «устремление к небу» «дарбази», его вертикальную ориентацию.

Высокий уровень формообразования и условно говоря «архитектурно-дизайнерского» мышления дает себя знать в четкой тектонике венцеобразного «гвиргвини», основательно изученного Л.Сумбадзе. В целом «дарбази» – одно из кульминационных достижений традиционного строительного искусства. Учеными отмечалось, что специфику «дарбази» определяет интерьерность, особенность пространственного лона, «нутра». Важны симультанность его восприятия и достаточный простор. В целом освещение «дарбази» отличается полнотой, и это не просто распределение света, а пожалуй, исходящее свыше «светонаполнение», придающее внутреннему пространству явно «сверхбытовую», исключительную притягательность.

Что касается «дедабодзи», то здесь налицо взаимопроникновение ярко выраженной функциональности, построения формы и символической нагруженности. Его «преодолевающая» гравитацию динамическая нарастаемость кверху, «двухэтапное» расширение как бы «поддержаны» и декором, нанесенным на него. Система орнамента здесь как бы обладает ролью «медиатора». При всей своей динамике она – легко воспринимаемая, четкая и «тектоничная» как с точки зрения отдельных элементов, так и по логике соотношений. Имея вид отлично воспринимаемого визуального «текста», она обладает «решительной» суггестивной силой. Видимо, здесь образно представлен не только вечный круговорот светил, но и идея пространственно-временного континуума. В целом же эта основательно изученная И.Сургуладзе свехупорядо-

ченая система координат, нанесенная на «дедабодзи», обладает глубочайшей символикой древа жизни, объединяет «пласты» мироздания. Впечатляет и то, что «фактурно-вещественная» осязаемость деревянного «дедабодзи» контрастирует с явной «надматериальностью» нанесенного на него орнамента. Данный контраст придает немалую экспрессию «исчерпывающе» разработанной форме «дедабодзи», в котором деревянный, неприукрашенно естественный материал, сохраняя всю свою «натуральную» привлекательность, перевоплощается в конечном итоге, особенно в декоре, в нечто куда более значимое (в чисто символическом ключе).

Т. Чиковани убедительно доказал, что универсальная архитектурная идея «дарбази» именно в Грузии приобрела наиболее совершенную художественно-архитектурную убедительность.

Если первоосновы «дарбази» теряются в глубине веков, то колхидская «ода-сахли», всесторонне учитывая свойства и принципы предшествующих ей хронологически более древних и простых построек, однако, отличается от них окончательной разработкой основных структур в условиях нового времени и особой заботой о внешнем облике.

Действительно, в сравнении с «джаргвали» (срубный дом), патапицара (дощатый дом) и др., по-своему весьма привлекательных, внешний вид «ода-сахли» замечателен во многих отношениях и с точки зрения праздничности, и чисто зодческой красоты. Всеми признано его тектоническое совершенство. Максимальную привлекательность придает ему напоминающая японское «ваби» первозданность природного материала (сходная черта с «дарбази») как бы открытого воздействию стихии. След такого рода воздействия времени, с одной стороны, и как бы «надвременная», совершенная «выстроенность», с другой, – таков лишь один аспект его амплитуды. Привлекают внимание и другие аспекты: в частности, при ясной завершенности – ярко выраженная раскрытость природе – и пространственной «широтой» балкона, и ажурно-прозрачным (хотя и не полностью дематериализова-

нным) декором, в который нередко вплетены живые гроздья лозы. И если лоза – это «природа окультуренная», то кружева и извивы растительных узоров воспринимаются как «культура оприроденная». При рассмотрении «населенных» светилami, крестом, изображениями овна, оленя, рога, птицы (по сути очень близких к репертуару «дедабодзи») орнаментальных мотивов «ода-сахли» всплывает в памяти древнейший сказ: «Солнце, мать моя...»

Артикуляция «ода-сахли» очень близка к формоощущению грузинских церквей, а убранство по принципу включения в архитектурный организм также имеет с ними много общего. Эти два выражения нашей культуры, по мнению Г.Марсагишвили, носят в себе во многом схожую установку. Интересно и то, что и каменная облицовка храмов открыта воздействию времени. Наряду с четкой граненностью (придающей форме церкви определенную автономность по отношению к ее окружению) она одновременно сопричастна ландшафту «неприкрытостью» своей каменной облицовки (подчеркнуто В.Беридзе), а также внутренне богатой ритмичкой своей целостной формы, облагороженной витальностью орнамента и т.д. Вспоминается подчеркнутое Г.Асатиани чувство глубочайшего доверия к природе. То же проявляется и в «земляной» шершавости «скульптурно-антропоморфной» глиняной посуды, как бы «принимающей пространство» своей негладкой поверхностью. Подобного же рода ощущение возникает, когда смотришь на старинные тушинские паласы – «пардаги», отличающиеся сдержанной, но при этом натурально звучной красочностью, а также ясным распределением лаконичного орнамента (изученного И.Кошоридзе), нередко даже роднящегося с декором «ода-сахли».

Для нового времени это жилище можно считать, пожалуй, наиболее совершенным архитектурным проявлением мирозерцания грузин, их приветливости и гостеприимства, прекрасно охарактеризованными И.Адамиа. И еще одно – отразивший высокую бытовую, да и духовную культуру «ода-сахли», после крестьянской реформы постепенно преврати-

вщийся в жилище, общее для всех социальных слоев, подобно грузинской полифонической песне, является не столько специфически «народным», сколько общенациональным типом жилища. Дом этот вбирает в себя всю выразительность усадьбы, сама же усадьба и широтой пространства, и ухоженностью т.н. «белого двора» проявляет определенную близость к парковому искусству. Хозяева этих дворов обладали, несомненно, безукоризненным вкусом, внутренним достоинством, тонкостью и умением управлять и организовывать хозяйство. На первый взгляд совершенно иной представляется архитектура горных районов Грузии – строгая, иногда как бы «угрюмая», она характеризуется некоей «стойкой» непоколебимостью.

В построении, к примеру, сванских башен и домов-крепостей проявляется и «ядрообразная» собранность, и «скалообразная» устойчивость. Особой пластической мощью отличается завершение башен с их накрепко «сцепленным», «солидарным» рядом полукружий – машикулей.

В сванской башне вычитывается характер его строителей – сильных духом, исполненных достоинства, степенных.

При столь впечатляющей выразительности отдельных башен еще более велика экспрессия их стройных рядов. Лапидарные их силуэты и формы рождают ассоциацию со сверхмощно звучащими, возвышенно торжественными «Лиле», «Квириа» и другими незабвенными сванскими религиозными гимнами.

Вышеупомянутые здания вбирают в себя всю «впечатлительность» окружения, развернутого вширь, но прежде всего (благодаря горным кряжам и вершинам) как бы возносящегося к «высшим сферам».

Не менее значимо и зодчество Восточной Грузии. Вспомним хотя бы комплексы Шатели и Муцо. Хоть и иные по внешнему виду, эти дома-крепости по сути наполнены тем же духом.

Шатели – поистине выдающийся памятник. Весь комплекс удивительно органично и монолитно «вырастает» из горы

и, несмотря на очень четкое построение, воспринимается почти прямым продолжением природы. Причем, осуществляется все это настолько совершенно, что представить что-либо более функциональное, обоснованное и архитектурно убедительное – почти невозможно. Привлекает и его объединенность, еще более явная, чем в Сванети – «ядрообразная» собранность и «плотность» – ведь отдельные оборонительные строения «сцеплены», «продолжают» одно другое, как бы «подбадривая» и «поддерживая» друг друга. Кажется, что его неприступные стены пропитаны воинственным духом и героическим пафосом хевсурской поэзии. Однако традиционность принципа существования выявлялась здесь не только в воинской доблести, она имела несравненно более широкое значение – З.Кикнадзе справедливо подчеркивает «сакральность» этого общества, его основных ориентиров. Немало потрудились для осмысления этого глубочайшего зодческого наследия (сванского, хевсурского и т.д.) М.Джандиери и Г.Лежава.

Ключ к разгадке культурной специфики Грузии мы должны искать везде – и в деревнях, и селениях, и городах, и монастырях.

Несколько слов о городской культуре Грузии, в частности Тбилиси.

Город этот многоаспектно выявляет специфику его культуры, хотя как в «общекавказском», так и более широком смысле – это некая, достаточно значительная «точка» пересечения различных культурных «волн». Несомненно, что и в зодчестве Тбилиси вычитывается «многоохватность» культурной информации, множественность его слоев.

Хотя жилищная архитектура в основном представлена в старом Тбилиси образцами XIX – начала XX вв. (древними же являются церкви и фортификационные сооружения), однако и они содержат огромную ёмкость «сообщений», исходящих из глубин тысячелетий. Ведь первооснова того или иного здания отнюдь не определяется одной лишь фактической хронологией.

Г. Чубинашвили выявил одну существенную черту: Тбилиси в XIX веке избавляется от натиска исламизации, свойственного XVII-XVIII векам, и обращает взор к традиционной ясности построения и четкой тектоничности, которые в средние века, по наблюдению В. Беридзе, не скрывает и богатейший декор. Активно воспринятый нами от России классицизм (в виде «ампира») приобрел, пожалуй, не менее творческую форму, чем в самой России, где этот европейский архитектурный стиль претерпел существеннейшую трансформацию. (Чего стоит тот же самый Питер, или же «язык» московского классицизма и многое другое). Что же касается Грузии, то у нас, конечно, не было своих Баженовых, Казаковых, Старовых, Росси, Ворониных или же Захаровых, но если в наших условиях оригинальный классицизм и не достиг особых творческих вершин (хотя его наследие уже приобретает свою немалую культурно-историческую значимость), то его полународная, ремесленно-цеховая разновидность переживает подлинный расцвет – «несортодоксальная», животрадиционная и в высшей степени плодотворная, во весь голос заявившая о себе в тбилисских дворах, балконах и т.д. Об этом убедительно пишут В. Цинцадзе, И. Цицишвили, К. Мелитаури, В. Беридзе и др.

И действительно, нередко вместо массивности, сохранившейся лишь в качестве компонента (напр., в виде нижних опорных столбов), определяющей становится легкость, просторность, обращенный вовне образ жизни, отмеченный Г. Чубинашвили. Балконы, по словам К. Мелитаури, «отказались от чадры» и почти непосредственно «вышли» в пространство улиц.

Архитектура старых районов Тбилиси – это праздник, сильнейший источник творческого импульса для художников, зодчих, поэтов, композиторов и вообще для любого, маломальски не равнодушного к красоте человека. Укромные дворы (иногда не превышающие по размеру небольшую комнату), закоулки, улочки здесь интимны, уютны, как бы «полунтерьерны», «приветливы». В полную силу дает о себе знать



человеческий масштаб. Фантасмагоричны и в то же время совершенно функциональны «странные» балконы-мосты, спиралевидно «завитые», как бы звучащие «арабесковыми» плетениями лестнички, порой миниатюрные, хрупкие, унизанные деревянными кружевами, иной же раз, по К.Мелитаури, мощно монументальные, массивные и обладающие большим пространством балконы, объединяющие, а также «перекрывающие» улицы и как бы создающие их «второй этаж». Но все-таки главное – это связанная с серпантинообразным извивом и «лабиринтным» ходом улиц ритмика, способствующая весьма динамической, «кинематографически» изменчивой смене архитектурных «картин» и видов. Добавьте к этому и сложность рельефа, еще более подчеркивающую остроту неожиданных ракурсов, о чем с восхищением говорил Л.Гудиашвили...

Тбилиси – это еще открытые, «беседующие» с улицей дворы; то более «плотные», то почти ювелирные металлические ворота, ограды и решетки. Все это создает множественность и обилие взаимопроникающих малых «микространств», в силу чего не ощущаешь никакой тесноты. Все тут насыщено движением, связностью, «перетеканием» одного в другое. Становится ясным, что город этот рос, изменялся, «пульсировал» подобно живому организму.

И еще – все это многообразие и эмоциональная наполненность пластически-пространственных «ходов» – фактически бесконечны. Им сопутствует мастерская рукотворность «камерно-торжественных», как бы приглашающих, «парадных» дверей – подъездов...

Незабываемым и незаменимым человеческим теплом веет от этого притягательно-доверительного окружения, которое одновременно и «подвижно», и успокаивающе. Оно обладает неким домашним привкусом, особой духовной глубиной.

В старых переулках нет скрытности – душа раскрывается, дабы приобщиться к радости бытия, чему способствует и «сердечность» красоты как бы «дышащих» балконных узоров.

Отметим также, что, несмотря на «европеизацию» (тен-

денция внутренне мотивированная, а не механически привнесенная Россией – ведь и Вахтанг VI, и Ираклий II сами стремились к этому), дух Востока (в том числе и исламского) все-таки присутствует, да он и не мог так сразу исчезнуть – ведь не только для Руставели, но и для Пиросмани Восток никак не чужд. Однако они не сливаются с «Востоком» (так же, как и с «Западом»), а лишь «окрашивают», по-разному, «грузинскую ментальность» – либо восточным «узором», либо же почти «знаковой» отвлеченностью. (Кстати, это касается и Армении: ведь скажем «восток» М.Сарьяна – это именно армянское видение этого безграничного мира). Или же возьмем иллюстрации к «Шах-Наме» И.Габашвили. При всей их несравненной тонкости, здесь видно куда более «лапидарное» восприятие принципов иранской миниатюры, чем это понималось на его родине.

То же можно сказать и о старом Тбилиси. Ведь если тбилисские балконные узоры иногда и вправду кажутся «залетевшими» из «Тысячи и одной ночи», то они, как правило, обрамлены и «охвачены» четкой тектоникой и ясным построением балконов (Г.Чубинашвили). Следовательно, артикуляция, принцип формопостроения в своей основе исходит из местной традиции.

Существенной чертой следует считать не только открытость, но и как бы «расширяемость» пространства балкона, что, хотя и в ином «природном» контексте, в той же мере присутствует в «ода-сахли» – т.е. человек «самораскрывается» не внутри дома, не в интерьере. Даже «дарбази» (где интерьер столь сильно значим) имел передний портик и плоское перекрытие крыши – «бани», где под открытым небом (в том числе и в Тбилиси) люди издревле проводили большую часть жизни – работали, развлекались, пировали – свидетельство тому «Амирандареджаниани».

Тбилиси обладал и собственным типом архитектурного «европеизма». Это видно в его «по-человечески» экологичном понимании масштаба, специфике взаимодействия и «взаимопродолжительности» домов, и в целом – в совершенно

неповторимом, едином мире «макрозодчества» всего старого города и, разумеется, в очень свободном во многих отношениях «переводе» архитектурных идей эпох классицизма, «свроэклектизма» и модерна.

Это была и вправду на редкость привлекательная среда. В квартале (убани), улице, дворе не существовало каких-либо барьеров религиозного, национального или же социального толка. Люди, по словам В.Беридзе, жили одной большой семьей, а сам город, по выражению одного престарелого ремесленника, являлся домом для каждого горожанина. Немало сказано о слиянии, неразрывности, о специфически «тбилисском» воссоединении (а быть может, это – желанная взаимостремительная «встреча» Востока и Запада в этом гостеприимном пространстве). Впрочем, эта проблема явно многоаспектна. Одно дело – пестрота населения Тбилиси, оставляющая свой след на его «ауре», другое – раскрытость и универсализм этого города, вытекающий из глубинных пластов культуры Грузии, в народной поэзии которого высказано: «И неверный – брат наш...» Скорее всего, это некий «пир», где следуя О.Туманяну, грузин – хозяин (можно добавить, хозяин различных культурных «притоков»).

Не исключено, что уместнее говорить не только о синтезе «Восток-Запад», но о самостоятельном, внутреннем качестве, вернее, о самой сути культуры, которая не только принимала, но именно признавала и «узнавала» любое ценное «новшество» по его достоинству, опираясь на могущественный фундамент собственного, свободного восприятия «иного» (тут мы совершенно солидарны с Д.Туманишвили).

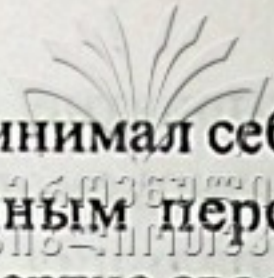
Именно с этим связана и толерантность (вспомним Давида IV, Ираклия II и других), которую не следует путать ни с всеприятием, ни с холодной нейтральностью, т.к. черта эта характеризует живую и высокодуховную культуру, способную к открытому диалогу безо всякой утери собственной структурности. Ведь Жан Шарден сообщает нам, что даже в хаосе позднего феодализма любой человек здесь имел право защитить гласно и неприкрыто свои принципы и свое мирово-

сприятие. Это была ранняя «модель» столь сильно пропагандируемого ныне «открытого общества». То, что подобная традиция у нас была достаточно сильна, свидетельствует кратковременная пора независимости Грузии в 1918-1921 годах – социал-демократы, находящиеся, в основном, у власти, проявили в этот период цивилизованность, демократичность, а страна наша переживала сильнейший духовный и культурный подъем.

Конечно, было бы не только ошибкой, но и несправедливостью утверждать, что советская эпоха не создала ничего ценного, однако, к сожалению, Грузией была потеряна куда более предпочтительная альтернатива. Сегодня же основная проблема вновь ставшей независимой Грузии – это необходимость энергичного «самопостроения», значимость которого подчеркивал М.Мамардашвили.

В сегодняшнее сложнейшее время не лишне осмыслить значимость традиции, которая подразумевает не механическое повторение, а живое, критическое и в то же время уважительное осмысление собственного наследия. При таком понимании традиции «самопостроение» народа связано не с сентиментальным любованием прошлым, а с актуализацией наиболее достойного в нем. Верность традиции вовсе не означает пассивности, а подразумевает выбор того, что возвышается над преходящей суетой своей непреходящей значимостью. Это и есть сочетание связи и свободы, привязанности без закрепощения и открытости без утери структуры. Именно таким путем созидалась культура Грузии в течение веков и тысячелетий.

Анализ любой сферы традиционной культуры Грузии убеждает нас, что при созидании ее эстетические закономерности были не самоцелью, а, в первую очередь, способствовали наиболее адекватному выявлению целостного образа космоса, разумеется, в той или иной специфической форме. Человек воспринимал себя в высшей степени важным звеном мироздания, связывающим и в своей душе, и в своих добрых деяниях «бытовое» и «метафизическое», временное и «над-



временное», земное и «верховное». Человек воспринимал себя образом Божиим, хозяином мира и ответственным перед Всевышним. Будучи смертным, он ощущал бессмертие своей души. «Гомогенная» культурная «модель» при всем своем внутреннем многообразии, гибкости была сильнейшим образом спаяна, целостна по своей иерархической «архитектонике». Именно подобное мирозерцание объединяло все слои общества: верхи и низы, церковь и свет, повседневность и вечность.

Основная «функция» высокой культуры – связь человека с вечностью посредством различных форм духовно и социально организованной деятельности. Бездонное по символике изображение креста можно считать и наиболее совершенным символом культуры – ведь его горизонталь – это связи человека во времени, а вертикаль – это его решающая связь с горним миром, со Спасителем.

При безусловной толерантности в вопросах веры (что действительно можно считать исконно грузинской традицией) ведущим ориентиром для страны, по нашему мнению, является именно православная церковь, а ее неистребимые христианские постулаты – Вера, Надежда, Любовь – это не простые слова, а понятия, которыми, думается, предпочтительнее всего руководствоваться и в духовной, и во «внешней» деятельности.

Джемал АДЖИАШВИЛИ

## СВЕТИЛЬНИК ГОСПОДЕНЬ – ДУХ ЧЕЛОВЕКА

*«Каждый человек – частица земли и воды; и если море похитит хоть крошечный ее клочок, Европа потеряет столько же, сколько и мыс, или подворье твоего друга, или лично твое; со смертью каждого человека ты чего-то лишаешься, ибо ты – частица человечества». Эти известные слова Джона Донна, в некоторой перифразе, могли быть произнесены в любом уголке земного шара, потому что каждая страна, как и человек, «частица человечества», я бы сказал, единокровная частица. Это относится и к Святой Земле – нашей общей колыбели духовности.*

*«Ни одна страница истории, ни одно блистательное название – будь то Египет, Афины, Рим – не сравнится с бессмертным великолепием Иерусалима», – говорил Шарль Вагнер.*

*По верованию древних евреев, сотворяя мир, Бог создал десять измерений красоты и святости. Девять из них он отдал Иерусалиму, десятое – остальному зримому миру. Согласно библейской традиции, до всемирного потопа все живое на земле было отмечено глубокой духовностью. После потопа земля и ее обитатели якобы утратили духовный импульс и овеществились в материи, а мироздание утратило свою эфирность и стало более твердым и предметным. Это неодолимое стремление рода людского к предметности и обусловило его трагедию. И только Иерусалим, оказывается, остался единственным избежавшим потопа уголком на земле, которого не коснулась тяжелая длань овеществления.*

*Именно поэтому на протяжении тысячелетий так неудержимо стремились к нему греки и римляне, персы и сарацины, крестоносцы и мамлюки, турки и британцы... И разве только они! Каждый именно здесь обретал свою святыню: мусульманин – место вознесения Мухаммеда, христианин – Голгофу и Гроб Господень, еврей – «Эвен штия» – покоящийся на Сионской горе краеугольный камень, на котором зиждется все зримое и незримое мироздание.*

*Сюда же «стремились лучшие сыны христианской Грузии, наши цари и вельможи, здесь они строили церкви и монастыри, и здесь же, согласно легенде, в монастыре Креста окончилась жизнь Шота Руставели», – скажет Эдуард Шеварднадзе в Ашкелоне на встрече с грузинскими евреями-израильтянами.*

\* \* \*

Президент Грузии уже в четвертый раз посещает Землю Обетованную. Во время этих визитов я находился в составе грузинской делегации и каждый раз был очевидцем той особой сердечности, с которой хозяева встречали руководителя нашего государства.

Прием гостя и его встречи, по библейскому кодексу, – один из самых божественных и возвышенных актов. Исследуя истоки гостеприимства, евреи, как народ, бережно относящийся к древним корням и архетипам, вспоминают парадигму первого патриарха – Авраама. В полуденный зной погруженный в дремоту перед своим шатром, он, завидев незнакомых путников, вскочил, пригласил их в дом и щедро угостил. А между тем Отец Авраам понятия не имел, что его гости – Ангелы, посланцы Бога, которые проходили мимо его шатра, как простые смертные...

Да, гость – поистине от Бога, а гостеприимство – ниспосланный Богом высший дар.

Однако гостеприимство гостеприимству рознь. Вполне понятно, что грузинские еврей-израильтяне с особенной радостью встречают Президента Грузии, поскольку, по словам самого Президента, их двадцатishестивековая история – часть истории Грузии, и радости и беды, обрушившиеся на Грузию, они воспринимают как личную драму.

С таким же подчеркнутым радушием и уважением встречали Шеварднадзе руководство страны и вся общественность Израиля. В этом, наряду с большим международным авторитетом, немалую роль играют его поистине исторические заслуги в деле репатриации (алии) евреев.

Чтобы читатель понял, какое значение придают евреи алии, прибегну к небольшому историческому экскурсу:

В 444 году по старому летоисчислению пророк Ездра собрал вокруг себя в Иерусалиме возвратившихся из вавилонского плена евреев и, взоидя на амвон, начал читать Пятикнижье Моисея. Прошедший через плен народ зарыдал: оказалось, что за семьдесят лет, проведенных на чужбине, люди забыли сакральные слова Божьей Книги. Восхождение на амвон по-еврейски значит «алия», соответственно ритуальное восхождение пророка Ездры, связанное с чтением Библии, то есть с большой духовностью, воспринимается как первая «алия», возвращение к самому себе, к своим истокам и корням. Со временем понятие «алия» приобрело более широкое значение. Сегодня оно означает возвращение евреев на родину. Еврея, прибывшего в Страну Обетованную, называют «оле» (производное от «алии»), что означает «возвысившийся», поскольку Иерусалим – место возвышенное как в физическом, так и в духовном плане (духовная столица мира), и каждый приход к нему – залог истинного восхождения.

Исторически первая «алия» связана с личностью персидского царя Кира, который разрешил евреям, пере-



жившим вавилонский плен, вернуться на свою родину. Поэтому в библейских книгах дела и заслуги великого Кира возвеличены, его считают «помазанником Божьим» и награждают возвышенными эпитетами...

Историю, наряду со многими другими особенностями, отличает еще одно качество – ее преемственность или цикличность, в чем находит наглядное отражение сакральная связь времен.

\* \* \*

Глядя на библейскую панораму древнего Иерусалима, чувствуем дыхание тысячелетий и невольно становимся соучастниками чудес, свидетелем которых не раз являлась эта благословенная Богом земля. А чудеса – будь то Синайское откровение или воскрешение из мертвых Лазаря – по традиционному толкованию, не одноразовый и локальный акт, а перманентный, постоянный процесс. И народ или индивид – в соответствии с тем, чем больше проявляет он духовную активность, чем острее его потребность постоянного диалога с «высшими» сферами – всегда стоит перед подобным чудом. Это – наиболее верный гарант его духовного спасения и постоянства.

Видимо, и сегодняшней день – такое же чудо: Президент Грузии, древнейшей христианской страны, на рубеже третьего тысячелетия, в рождественские дни 2000 года направляется в церковь Гроба Господня...

Однако прежде чем мы дойдем до церкви, в пути окинем взглядом древности Иерусалима.

Вот приснопамятное Геэнамское поле, где в древние времена ханааняне исполняли страшный ритуал жертвоприношения. Огромный, отлитый из металла идол Молоха разогревали изнутри, и на его раскаленные руки сажали своих первенцев. Душераздирающие крики детей тонули в пронзительных звуках, издаваемых различными инструментами.

Правда, Моисеев Закон восстал против этого ритуала, но в памяти людской еще долго сохранились ужасы Геэнама, и они постепенно превратились в символ ада (между прочим, «геенна», «геенов огонь» происходят именно от Геэнама).

Здесь же долина Кедрона или Иосафата (по-еврейски Ихис шофет – «будет судья»), где во время второго пришествия по грозному зову трубы Архангела восстанут из могил мертвые, и все человечество предстанет перед страшным судом.

А к этому заблаговременно подготовились последователи ислама: перехоронили своих тысячелетних покойников в начале дороги, по которой должен пройти идущий к Иерусалиму Мессия, а вход в ограде могил еврейских покойников тщательно замуровали, дабы посланец Бога не смог проникнуть туда.

У края ущелья в углублении находится гробница библейского Авессалома, которого так строго наказал Бог за неповиновение отцу. Царь Давид горько оплакал трагически погибшего сына: **«Сын мой Авессалом! Сын мой, сын мой Авессалом! О, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом, сын мой, сын мой!»**

Вот и знаменитая Масличная гора, она же Елеон, которая отделена от древнего Иерусалима именно ущельем Кедрона. Она самая высокая (793 м над уровнем моря) среди окружающих Иерусалим гор и граничит с одной стороны с т.н. горой Наблюдателей, откуда в древности римские легионеры зорко следили за всем, что происходило в Иерусалиме, а с другой – с горой Поругания (Соблазна), где, как рассказывает Библия, состарившийся Соломон соорудил капища опостылевшим ему женам-язычницам. Ведь говорится в Книге царств: **«И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин. И было у него 700 жен и 300 наложниц. И развратили жены сердце его. Тогда построил Соломон капище Хамосу, мерзости Моавитской, на горе, которая пред**

**Иерусалимом».**

Смотрим на обломки древних идолов на горе и словно слышим стенания многострадального царя:

**«Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме; И предал я сердце мое тому, чтоб исследовать и испытать мудростию все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем.**

**Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все – суета и томление духа!**

**Кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать.**

**Говорил я с сердцем моим так: вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания.**

**И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это – томление духа.**

**Потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».**

Эти три горы гармонично вписываются в библейский ландшафт Иерусалима, придавая необычайную таинственность печальному пейзажу вечного города.

\* \* \*

От «Львиных ворот» дорогой Иерихона движемся вдоль Кедронского ущелья и останавливаемся у подножия горы Елеон рядом с Гефсиманским садом, где по сей день стоят двухтысячелетние оливковые деревья. По преданию, в их тени отдыхал идущий к Иерусалиму Иисус, здесь же испил он горькую чашу предательства (...«Пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! Если возможно, да миует Меня чаша сия»).

Название сада подводит нас к древнееврейским корням: в библейскую эпоху в окрестностях Гефсимании (по-еврейски гат шемен – «маслодавальня») давили различного рода масла, большей частью для религиозных обрядов. С этим же ритуалом связано и еврейское наименование горы Елеон (Хар – ха – зейтим – «масличная гора»).

В начале сада стоит базилика страданий Христа: всего в нескольких метрах отсюда возвышается храм Успения Богородицы, чуть поодаль – пещера, где, согласно Библии, молился, уединившись от Апостолов, Иисус. Ныне здесь – Францисканская молельня; изображения Христа и чаши ежесекундно напоминают о горькой участи Спасителя. Плиты пола хранят следы капель пота и крови Иисуса, растопивших хладный камень и проникших в его толщу...

\* \* \*


Продолжаем путь, поднимаемся вверх по склону горы Елеон и останавливаемся на вершине у небольшой колокольни, которой ныне владеют последователи исламской веры (библейские святыни, как известно, в большей или меньшей степени признают представители всех трех вероисповеданий и с одинаковым благоговением относятся к ним). Это место возвышения Христа. На вделанном в мрамор камне отчетливо проступает отпечаток его ступни.

Внизу – монастырь кармелитов, вблизи которого в узкой, закрытой пещере недавно была обнаружена выбитая на каменной плите древнеарамейская надпись «Отче наш». Над пещерой возвышается церковь того же наименования – «Патерностер» (Отче наш). Как предполагают, это была первая молитва, прочитанная Христом перед своими учениками.

На стенах церкви на фарфоровых пластинах запечатлены слова этой молитвы на основных языках мира.

\* \* \*

Поиск мест, связанных с земной жизнью Христа, их идентификация выявляют множество примечательных эпизо-



дов, пополняющих необычными коллизиями и драматизмом историю Святой Земли. Естественно, что для нас каждая такая деталь представляет интерес и пробуждает любопытство. В особенности реалии, которые по тем или иным признакам связаны с Грузией и грузинской действительностью.

Напротив Гефсимании на склоне, противоположном горе Елеон, расположено арабское село Бетания (Вифания), которое во времена Христа утопало в оливковых и пальмовых деревьях.

Близ села находится женский монастырь Святого Лазаря; чуть поодаль на вершине горы древнее сельбище. По преданию, именно здесь находился дом Лазаря. Левее – могильник. Как уверяет местное население, это место кончины и воскрешения Лазаря, того Лазаря, с которым некогда наш благословенный предок сравнил грузинский язык и связал мессианские представления тогдашней Грузии.

\* \* \*

Так, словно в чудесном калейдоскопе, сменяют друг друга библейские картины, и мы постепенно приближаемся к последнему земному пути Христа, к «Виа Долороза» (Скорбный путь)... Это – дорога от Гефсиманского сада до Голгофы, на которой традиционно отмечаются четырнадцать святых мест.

Первое – это место, откуда, согласно Библии, Христа повели в Преторию на суд Пилата;

Второе – «...Он предал Его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И одели Его в багряницу, и сплетши терновый венец, возложили на Него; ...Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им Пилат: **се, Человек!»;**

Третье – место, где Иисус, несущий крест, упал в первый раз;

Четвертое – идущего к Голгофе Христа встречает Богома-

терь;

Пятое – «И заставили проходящего некоего **Кири-неянина Симона, идущего с поля, нести крест Его»;**

Шестое – Вероника вытерла платком лицо измученного Иисуса. Это место украшают слова Ветхого завета: «**Да призрит на тебя Господь светлым лицом Своим и помилует тебя!»;**

Седьмое святое место – у Иисуса вторично подкосились ноги под тяжестью креста;

Восьмое – обращаясь к плачущим женщинам, Иисус сказал: «**Дщери иерусалимские! Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших»;**

Девятое – Иисус в третий раз падает под тяжестью креста;

Десятое – На Иисусе разрывают багряницу;

Одиннадцатое – Иисуса пригвоздили к кресту;

Двенадцатое – Иисус произносит последние слова:

**«Или, Или! Лама Савахфани? То есть: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?..»**

Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух.

**И вот завеса в Храме раздралась надвое, сверху до низу; и земля потряслась; и камни рассеялись...»**

Эти обломки скал и камней, следы сильного землетрясения, поныне лежат на Голгофе.

Тринадцатое – снятие Иисуса с креста, где Иосиф из Аримафеи уложил его на каменное ложе, умастил маслами. Над этим каменным ложем сейчас висят лампы.

Изначально право зажигать наибольшее количество лампад принадлежало грузинским монахам. Оказывается, они же хранили ключи от Храма. Въезжать в Иерусалим верхом имели право только грузины.

Позднее, со времен правления Салах-ад-Дина (1138-1193) территория Храма перешла во владение двух исламских родов. Сегодня они владеют ключами от церкви Гроба Госпо-

дня. Ежедневно во время церковной службы, по просьбе представителя христиан-молельщиков, один из представителей этого рода открывает врата церкви...

Четырнадцатое – Иосиф из Аримафеи поместил тело Иисуса, завернутое в чистую плащаницу, в могильник, высеченный в скале, прислонил к двери могильника каменную глыбу и ушел. Согласно Библии, здесь и воскрес Христос.

Что же касается Голгофы, то происхождение этого названия связано с еврейским словом «гулголет», что означает череп. Согласно легенде, на этом месте был погребен череп библейского Адама, который, по интерпретации теологов, считается архетипом Христа, его первообразом. После изгнания из рая Адам жил именно здесь – в Иерусалиме. Будто бы именно он предрек, что в случае распятия Иисуса Голгофа расколется пополам. Глыбы скальных обломков, как уже было сказано, действительно раскиданы на Голгофе. Кровь распятого Иисуса, по преданию, стекла в расщелины скалы, капая на череп Адама. Так оказались связанными между собой Ветхий и Новый Заветы, сомкнулось время, и в круговерти истории завершился еще один цикл, что знаменовало собой начало новой эры человечества.

\* \* \*

Дворец Книги в Иерусалиме – поистине уникальное строение, в котором хранятся бесценные сокровища общечеловеческой культуры. И «сколь величественна эта Книга! Гигантская и безграничная, как само мироздание, корнями своими уходящая в первозданный хаос и вершиной устремленная в небесную лазурь! Восход и закат, рождение и смерть – вся драма человечества, все слилось в этой Книге. Поистине, это Книга книг... Появлялись и исчезали народы, расцветали и угасали государства, по всему земному шару бушевали революции – они же, евреи, погруженные в свою Книгу, даже не заметили, как пронеслись над ними ураганы веков» (Генрих

Гейне). Речь идет о Библии и ее древнейших свитках (II – I вв. до нашей эры). В 1947 году, за год до восстановления государственности Израиля, пастушок-бедуин, собирая разбредшихся коз, случайно обнаружил эти свитки в Кумранской пещере на побережье Мертвого моря. Часть рукописей оказалась в Соединенных Штатах Америки, и вновь образованному Израильскому государству пришлось приложить немалые усилия для их возвращения.

Весьма интересен архитектурный облик этого сооружения. Его цилиндрический белый купол – имитация того глиняного кувшина, в котором тысячелетия хранились свитки бессмертной Книги. Квадратная стена из черного базальта, возведенная напротив купола, символическое отображение вечного единоборства сил света и тьмы (архитектурная метафора одной из кумранских рукописей).

Для безопасности рукописей созданы все условия. Предусмотрены любые стихийные бедствия, даже возможность бомбардировки здания. В этом случае хранилище рукописей автоматически закрывается и опускается в герметическое стальное бомбоубежище, дабы мысли и идеи рода человеческого в целостности и сохранности дошли до последующих цивилизаций.

После всего увиденного и пережитого здесь вполне логично звучат слова пророка Исаяи из пожелтелого свитка, висящего у входа в зал:

**«От Сиона выйдет Закон, и Слово Господне из Иерусалима».**

Воистину!

\* \* \*

И вновь наша боль и наша святыня – Грузинский монастырь Святого Креста. Президент Грузии здесь в третий раз. В 1995 году он принес в дар монастырю великолепную икону Богоматери, которая поныне покоится на колонне напротив



фрески с изображением Руставели...

Согласно легенде, около четырех тысяч лет тому назад праотец Авраам подарил своему племяннику Лоту саженцы кедра, сосны и кипариса. Лот посадил их именно здесь, в этой долине. Со временем саженцы срослись в одно огромное дерево, воспользоваться которым пытались еще при строительстве Храма Соломона, но безуспешно. Дерево это каким-то образом сохранилось до эпохи Христа. Затем из него вырезали крест, на котором распяли Христа. И сегодня указывают на место за главным алтарем монастыря, где росло это дерево. Здесь долгое время висела икона Ильи Чавчавадзе, причисленного грузинской православной церковью к лику святых. В 1987 году при посещении Иерусалима Католикосом-Патриархом Илией Вторым проживающие в Израиле грузинские евреи внесли икону в монастырь Святого Креста, поместив ее рядом с фреской Руставели. Икона много раз меняла местонахождение, на сей раз, в связи с приездом Президента Грузии, ее вновь поместили перед фреской Руставели – словно здесь, в родном окружении вновь молится о Грузии вечная душа, радеющая о Грузии.

Впрочем, в монастыре Святого Креста уже давно не слышно молитв монахов-грузин...

\* \* \*

К вечеру дождь прекратился, небо очистилось, и поскольку до отправления в Вифлеем оставалось время, мы небольшой группой вновь отправились в библейские кварталы старого Иерусалима.

На этот раз наш путь лежит к Стене Плача.

Небольшая историческая справка:

В 586 году до нашего летоисчисления царь Вавилона Навуходоносор разгромил Иерусалим, разрушил первый Храм (по еврейскому календарю это произошло в день девятого ава; в тот же день, 600 лет спустя, пал разгромленный римлянами

Второй Храм...), истребил жителей Иерусалима, а тех, кто уцелел от огня и меча, взял в плен и увел в Вавилон.

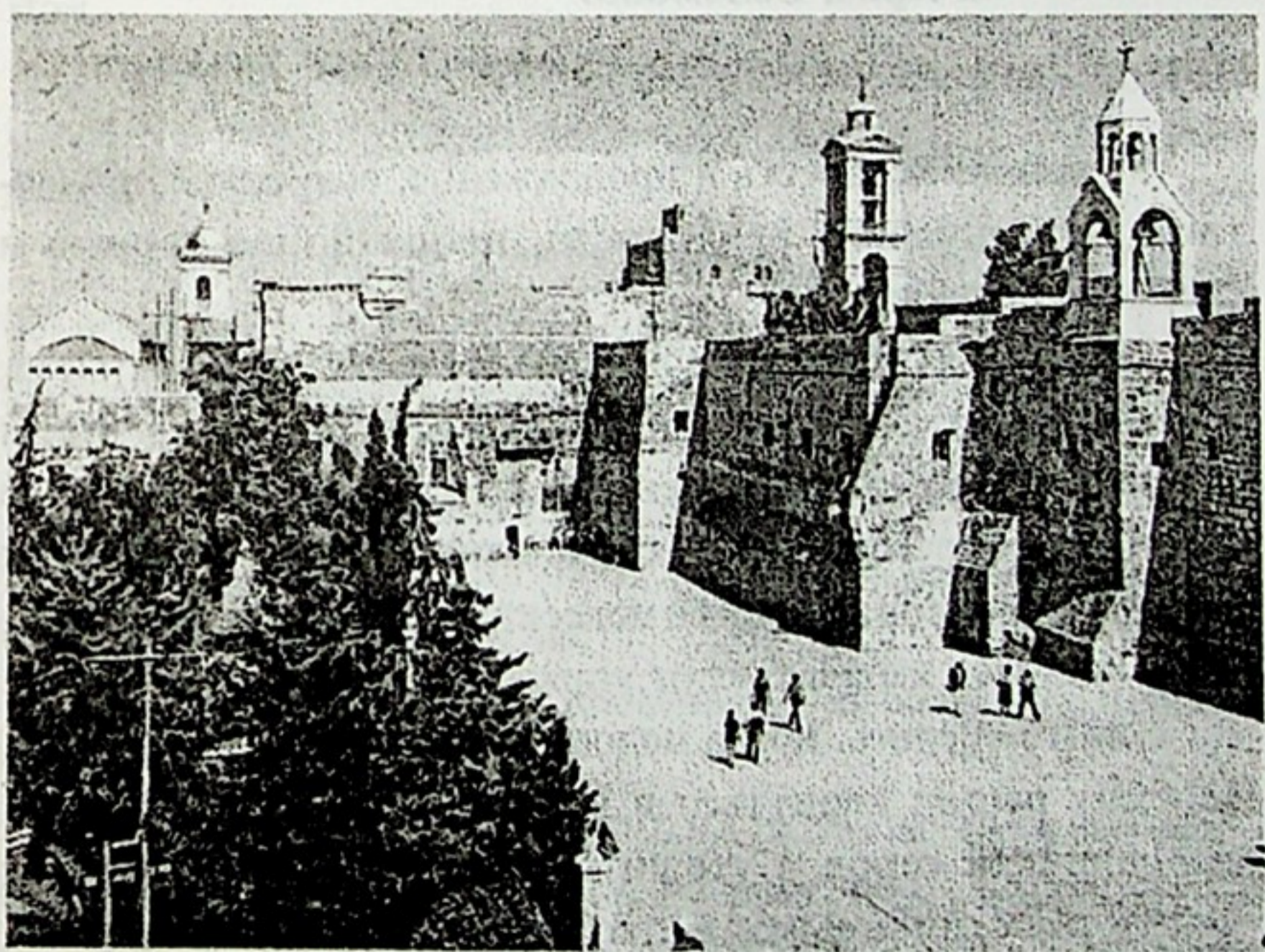
День разрушения Храма в сознании древних евреев запечатлелся как величайшая трагедия, и вот уже двадцать столетий считается днем траура для иудеев всего мира...

Когда по возвращении в Иерусалим пророк Иеремия увидел разгромленный и испепеленный Храм, он, по преданию, поднялся на гору, забросил в небо ключ от Храма и возопил к Господу:

**«Боже Всесильный! Коль не смог я быть достойным Тебе верным слугою, то прими ключ от Храма Твоего!»**

И опустился с небес Божий перст и принял ключ.

Иерусалим – город Божий – разгромлен. Храм – символ единства народа, Храм – мост между землею и небом, связующий Израиль с Богом, – повержен. В отчаянии пророк



*Вифлеем, Рождественская базилика*

взглянул на опустошенный город и горько заплакал:

**«Как помрачил Господь во гневе Своем дочь Сиона!  
С небес поверг на землю красу Израиля...»**

Об этом плачу я, око мое изливает воды, ибо далеко от меня утешитель, который оживил бы душу мою».

Таково древнееврейское предание.

Оно рассказывает, что у развалин Храма сидит скорбящая тень пророка, в своей горестной литургии призывающая печальные души поверженных соотечественников. А из сумрачных окрестностей Иберии белобородый поэт на рубеже тысячелетий вопрошает канувшего в бездонную палестинскую ночь пророка:

**О ком твой плач, Иеремия,  
Почему посыпаешь голову пеплом,  
Почему оплакиваешь Иерусалим  
И Храм Соломона!**

(Акакий Церетели)

У этой легенды есть и продолжение, еще более причастное к трагической реальности, пропитанное кровью и слезами тысячелетий...

...Иеремия с плачем последовал за пленными собратьями, которых вели в Вавилон. Он пробирался узкими тропами и повсюду видел кровь убиенных иудеев; поравнявшись с пленными соплеменниками, связанными железной цепью, он тоже надел на себя кандалы и повесил на шею цепь. Навуходоносор пытался избавиться от упрямого старца, но ничего не мог с ним поделать. Когда подошли они к берегам Евфрата, Иеремия решил вернуться в Иерусалим, чтобы оплакать разрушенный город и утешить оставшихся в живых. Он простился с пленными и пустился в обратный путь. А покинутые Богом пленники, оставшиеся без Храма и пророка, сели у рек вавилонских и горько заплакали:

**«При реках Вавилона, там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе».**

По преданию, Навуходоносор приблизился к скорбящим иудеям, призвал левитов, которые испокон веку пели и молились в Храме, и обратился к ним так: «Готовьтесь! Этой ночью на пиру вы должны играть на арфах и петь израильские псалмы, как играли вы в Храме своем для Господа своего».

Содрогнулись левиты, посмотрели друг на друга: как это мы должны играть на арфах наших перед нечестивцами? – подумали они и повесили арфы на ветках вербы и переломали себе пальцы, чтобы не играть более на них:

**«...На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши – веселия: «пропойте нам из песней Сионских».**

**Как нам петь песнь Господню на земле чужой?**

**Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя.**

**Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего...»**

Так предавались стенаниям сыны и дочери отчизны, преданной два тысячелетия назад огню и мечу. Пав ниц у стен Вавилона, с ужасом воскрешали они в памяти умопомрачительное зрелище объятого огнем Иерусалима:

**«Разверзлись небеса и дрогнула твердь земная.**

**И меч Господний налился кровью, и пали вельможи, и кровь их напоила землю.**

**И растаяли все силы небесные, и свернулись небеса, как свиток книжный.**

**Проклятье поглотило мир, и стихло веселье фанфар, и исчезло богатство вельмож, и смолк голос арфы.**

**И размякла глина, и рухнули стены, и устыдилась луна, и смутилось солнце.**

**И были разграблены жилища, и были затворены двери каждого дома.**

**И велика скорбь вина моего, и виноградника моего, ибо оставил Господь нас, – Господь не помнит о нас...»**

И в самом ли деле Бог отвернулся от избранного им народа, покинул Израиль и нарушил изначальный обет, данный устами пророка: «Я Господь, Бог их, – с ними, и они, дом Израилев – Мой народ...» И не намеренно ли подверг Он жесточайшему испытанию свой народ, чтобы в лабиринтах истории испытать его выносливость, убедиться в его способности к долготерпению?

Или, быть может, та первородная глина, в которую Бог вдохнул жизнь, создавая человека по образу и подобию Своему, показалась Ему замешанной наскоро, и Он доверил ее векам, дабы обожглась она как следует в полыхающем костре тысячелетий...

Обожженная в Господней печи глина выдержала испытание истории, начавшееся еще у рек Вавилонских...

Всевышний не смог отдать свой Дом на вечный захват. Как гласит легенда, увидев объятый огнем Иерусалимский Храм, он сам был потрясен и приказал ангелам, поскольку убересть весь Храм было уже невозможно, спасти оставшуюся последнюю стену от уничтожения. Тотчас шесть ангелов уселись на своды охваченного огнем Храма и начали плакать. Их слезы гасили огонь, проникали в основание стены, придавая ей силу и стойкость; так была спасена одна-единственная стена святейшего Храма «Бет ха-Микдаш» – «Стена Плача», которая стоит по сей день, как свидетель былой славы и символ стойкости и несокрушимости духа вечного народа...

После того минуло много времени. Возникло и было сметено с лица земли множество больших империй. А время продолжает свой бег и реки продолжают течь туда, куда текли. И в Ханаанских небесах светит библейское солнце, так же, как светило оно пять тысяч лет назад, и каждое утро наблю-

дают израильтяне, как возвращает рука пророка из глубины/  
веков ключи обновленного Храма.

יְהוָה אֱלֹהֵינוּ  
יְהוָה אֱלֹהֵינוּ

\* \* \*

«Кто не видел Иерусалима, тот не видел воплощенной святости, кто не видел Иерусалимского Храма, тот не видел воплощенной красоты» – читаем в одном из раввинских текстов.



*Иерусалим,  
Стена  
Плача*

«Иерусалим – сердце мироздания, Храм же Соломона – сердце самого Иерусалима» – сообщает другой письменный памятник.

Таков святой Храм Соломона, воплощенная в камне мудрость прославленного царя, такова Стена Плача, где, по убеждению молящихся, навеки запечатлено величие Всевышнего. Великолепие Храма, оказывается, поразило много выдавших римлян. Завидев окутанные дымом купола, они в страхе отступили. Впрочем, как свидетельствует талмудическая традиция, Храм Господень был разрушен не столько врагами-чужеземцами, сколько завистью и междоусобицей братьев.

\* \* \*

Наступил вечер. Спокойный и тихий вечер четверга. Заходящее солнце прощально осветило золотистыми лучами крепостные стены храмов Иерусалима. Миновав арабский базар, в длинных и перекрытых лабиринтах которого стоит терпкий дурманящий аромат мусульманского Востока, входим в недра старого города. В еврейских кварталах многолюдно. Начинается «Минха» – традиционная послеполуденная молитва. У Стены Плача собрались члены религиозного ордена «Натурей Карта» (Стражи города), своим одеянием, поведением и ритуальными атрибутами напоминающие какое-то мистическое братство времен Давида и пророка Самуила. Мне приходилось видеть их умиротворенные, ласковые глаза, полные религиозной добродетели и всепрощения, но в глубине этих же глаз порой мелькает и скрытый гнев, и жестокость – в тех случаях, когда неуважительно относятся к их многовековой вере или оскорбляют недостойным поведением святость какого-либо праздничного дня, особенно Субботы.

Акт сотворения мира, описанный в Библии, живо запечатлелся в сознании евреев и вот уже сколько тысячелетий является неизменным атрибутом их повседневной жизни.

В этом отношении суббота занимает совершенно особое место: «Помни день субботний, чтобы святить его» — строго предупреждает Бог пораженных его ослепительным сиянием евреев. И это одна из десяти заповедей, которую почти три с половиной тысячелетия беспрекословно признает верующий иудей. Ведь Бог за шесть дней создал мир и на седьмой день отдохнул («Шабат» на еврейском означает «отдохнул»).

Согласно космогоническим представлениям древних иудеев, суббота — самый сакральный день. Остальные дни недели предназначены для труда и созидания (имитация акта сотворения мира) и каждый из них подчиняется «Царице-Субботе», как ее придворный и раб. Таким образом, суббота в сознании евреев постепенно стала увязываться с мессианскими представлениями.

На протяжении веков в религиозное учение евреев вторглось множество течений, что в соответствии с требованиями времени несколько обогатило иудаизм, придало ему гибкость и эластичность. Рассеянные по всему миру евреи усвоили множество новшеств культурно-этнического характера, органически совместив их со своими многовековыми обычаями и порядками; однако они не изменили главным принципам, лежащим в основе генезиса еврейства, как нации. Одним из них является именно суббота. И именно в Иерусалиме наиболее ясно ощущается примат этого дня. Его дыхание, похоже, уже с пятницы чувствуют молящиеся у Стены Плача, разделившиеся на «минианы» (группа молящихся числом не менее десяти) и истово хранящие в душе тысячелетнюю надежду на явление Мессии — Машиаха (евр.)...

\* \* \*

Завтра пятница, «Иом Шиши» — день, когда согласно Библии, Бог завершил сотворение мира. Именно в этот день в Иерусалиме наиболее зримо проявляются признаки сосуществования или соседства трех мировых религий.



В святой день «Джума»-пятницы, с самого утра последователи магометанской веры с необычайным воодушевлением устремляются к мечетям Аль-Акса и Омара, молятся своим святым и в полдень шумно «оккупируют» улицы древнего Иерусалима. Над городом время от времени проносится оглушительный голос муэдзина: «Аллаху акбар» (велик Аллах). Еврейские старейшины, увлеченные чтением «Танаха» (еврейская аббревиатура книг Ветхого завета) у Стены Плача, с недоверием поднимают глаза к куполам Аль-Акса и вновь возвращаются к своей Вечной Книге.

В пятницу же, после полудня, в то время, когда распинали Христа, по «Виа Долороза» – дороге, по которой Христос пришел к концу своей земной жизни, начинается шествие монахов-францисканцев к Голгофе.

\* \* \*

За Стеной Плача, на скалистом возвышении, стоит златокупольная мечеть, именуемая мечетью Омара. Она логически завершает композиционную цельность старого города и, как считают местные иудеи, является бесспорным символом религиозно-политической экспансии. Мечеть воздвигнута в 691 году по повелению халифа Омара, и поскольку Иерусалим считается третьим святым городом мусульман (после Мекки и Медины), мечеть Омара, соответственно, занимает третье место на иерархической лестнице исламских культовых сооружений.

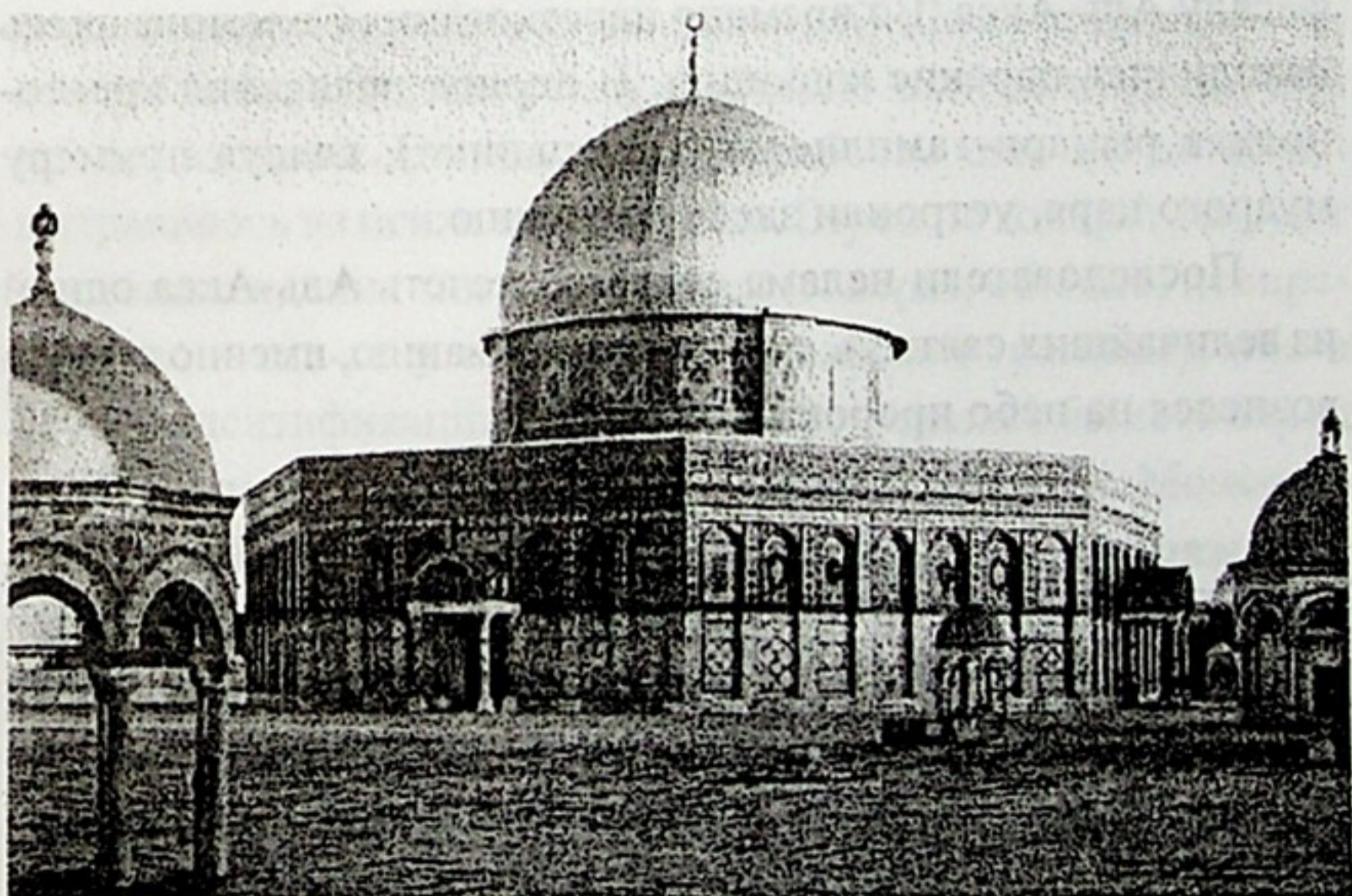
Роспись мечети, ее архитектурный облик с характерной восточной орнаментальностью и красочностью оставляют неизгладимое впечатление. Мусульманские правители возвели ее на горе Мориа, на месте жертвоприношения библейского Исаака – там, где, по верованию иудеев, должно было находиться самое сокровенное для всех евреев, Святая святых. Здесь стоял сказочный Храм Соломона.

В отличие от последователей ислама, евреи именуют ме-

четь Омара «куполом скалы». Она и впрямь как бы нависла куполом над еврейскими святынями – огромной каменной глыбой или обломком скалы, на которой и сегодня можно увидеть остатки священного алтаря. Под скалой – пещера. Сюда по особым отверстиям стекала кровь жертвенных животных. Полагают, ежегодно накануне Дня искупления («Иом киппур») здесь исполнялся и ритуал, связанный с жертвоприношением козла отпущения.

\* \* \*

Между еврейским Новым годом и Днем искупления – десятидневный интервал, т.н. «грозные дни», когда все евреи горько каются в прегрешениях минувшего года. По верованию народа, в эти дни Всевышний раскрывает на небе книгу, куда заносит приговор каждому человеку, исходя из его деяний. В то же время для того, чтобы внимать искренним покаяниям грешников, Всевышний открывает Врата помило-



*Иерусалим, мечеть Омара*

вания.

Именно с этими представлениями был связан ритуал козла отпущения.

К Храму приводили двух козлов, одного для жертвоприношения, второго – для искупления грехов нечестивых. В колокольчики, висевшие на шее у козла, каждый грешник закладывал перечень совершенных им за год грехов. «Отягощенного» прегрешениями всего народа козла отпускали в пустыню к Азазелю (демону). Со временем этот ритуал осмысливался по-разному и, нередко, весьма оригинально интерпретировался (вспомним хотя бы «Мастера и Маргариту» М.Булгакова и отождествленные с художественным образом Азазелло представления)...

\* \* \*

По аналогии с четырьмя концами света, мечеть Омара имеет четыре двери: с северной стороны расположены Врата рая, с восточной – Врата Давида, южная дверь используется для входа в мечеть, противоположная же дверь ведет нас к фасаду Аль-Акса. Во времена царствования Соломона здесь находились царские конюшни. В период правления крестоносцев рыцари-тамплиеры (храмовники), следуя примеру мудрого царя, устроили здесь конюшню.

Последователи ислама считают мечеть Аль-Акса одной из величайших святынь, ибо, по их верованию, именно отсюда вознесся на небо пророк Мухаммед...

\* \* \*

Постояв у Стены Плача, мы возвращаемся назад, минуя еврейские кварталы, и на одном из участков улицы Кардо останавливаемся перед огромными белыми колоннами. Здесь некогда стояли римские легионеры. За поворотом, у подножия мозаичного панно, видны какие-то пересекающиеся линии. Здесь томящиеся от безделья центурионы убивали время за

игрой в кости. На мозаике изображена панорама тогдашнего Иерусалима.

Это был один из самых роковых периодов еврейской истории, когда окрыленный завоеванием Иудеи император Адриан решил искоренить всякую память о евреях. Иерусалим он переименовал в «Элия Капитолина», а Израиль – в «Палестину», по аналогии с его неусыпными врагами – филистимлянами, с которыми тысячелетия назад с таким ожесточением сражался библейский царь Давид. Позднее, в VII веке, на Святой Земле утвердились арабы и «Палестина» как термин укоренилась на географической карте.

Возможно, отсюда берет начало смешение исторических традиций, которое привело к прискорбным для многих народов и стран последствиям.

А на Святой Земле, в условиях нескончаемых религиозно-политических распрей, эта путаница проявилась в основном в идентификации исторических лиц и местностей, что приводило порой к курьезам.

Согласно Библии, первое поколение вышедших из Египта евреев не достигло Земли Обетованной. Даже пророку Моисею не было суждено войти в «Землю молока и меда», ибо после четырехсотлетнего плена рабство еще не до конца вытравилось из психологии народа. Евреи не конкретизируют местонахождения могилы Моисея (говорят, обычно, неопределенно – где-то у египетско-израильской границы), ибо в случае идентификации места к нему устремился бы весь народ и возникла бы угроза идолопоклонства (вера же Моисеева гласит: **«Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу и что на воде ниже земли»**). А в иудейской пустыне, в самом центре Израиля, стоит мечеть, и последователи ислама убеждены, что именно здесь находится могила «Наби Муссы» (пророка Моисея).

Другой случай – поистине курьезный: на вершине горы,

возвышающейся на окраине Иерусалима, стоит двуликое культовое строение, одна половина которого является мечетью, вторая – синагогой. В каждой из них – по одной усыпальнице, обе приписываются одному и тому же человеку – пророку Самуилу. Как известно, в Библии – две книги Самуила, и евреи иронизируют: по аналогии с двумя книгами и усыпальниц у Самуила две.

Таким образом, политический спор порой затрагивает культурное наследие и рождает спорные проблемы. Впрочем, трения возникают не только между последователями ислама и иудаизма. Нередко бывает трудно провести грань между реальными и воображаемыми местами. Их идентификация порой принимает драматический характер. К сожалению, некоторые недоразумения связаны и с Храмом Гроба Господня...

Придя на Святую Землю, крестоносцы, опираясь на устные предания или исторические источники, произвели идентификацию ряда библейских персонажей или местностей, и в первую очередь «узаконили» последний путь Христа на Голгофу. Однако англиканская церковь не признает точки зрения крестоносцев, считая, что место распятия Иисуса и снятия его с креста находится в другом квартале Иерусалима. Правда, традиция скорее подкрепляет версию крестоносцев, однако сторонники иной точки зрения твердо стоят на своем.

В то утро, направляясь через арабский базар к церкви Гроба Господня, мы попали под проливной дождь. Во дворе церкви, в 40 шагах от этого места, нас встретила необычная тишина. Январское солнце пробивалось сквозь облака, его бледные лучи отражались на поверхности портала. Здесь воочию можно увидеть и следы грузинских паломников. Я имею в виду грузинские надписи, которые, по мнению специалистов, должны относиться к средним векам.

Грузинская историческая традиция идентична версии

крестоносцев.

Вообще же существует множество порою взаимоисключающих версий и предположений по поводу идентичности любого библейского топонима.

Как справедливо говорится, к истине ведет один путь, к заблуждению – тысячи.

\* \* \*

Что касается дороги:

Все главные дороги древнего Иерусалима, все главные его улицы направлены на Восток.

Город Всевышнего как бы помогает нам обрести утраченную ориентацию.

Восток – исток человечества, исток его духовного бытия.

**«И насадил Господь Бог рай на Едеме на востоке: и поместил там человека, которого создал».**

Это была блаженная младенческая пора человечества – пора первозданной чистоты и гармонии, когда расстояние между Господом и человеком было ничтожно малым, и наша повседневность была согрета мощным животворящим дыханием Бога.

Да, это был исток, исток нашего бытия.

На библейском языке Восток и исток именуется одним словом – «Кедем».

Таким образом, издревле, стремление к Востоку на «языке Иерусалима» означало стремление к нашим истокам, нашей духовности.

А затем началась эпоха обледенения духовности. Адама изгнали из рая и поколения блудных сыновей двинулись с Востока.

Вся последующая история – история человечества, покинувшего Восток и оторвавшегося от него.

И шествует потомок Адама, удаляясь от своих истоков, от Востока и постепенно поглощается тьмой одиночества и

бесприютности.

И не стихает в этом необъятном мире его душевраздирающий вопль: «**Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты Меня оставил!**»

Помните Вавилон? Тогда ведь тоже люди «двинулись с Востока», народ представлял как бы одно целое («на всей земле был один язык и одно наречие»). Однако то было лишь единство плоти. А такое единство подобно мертвому телу, где, на первый взгляд, все на своем месте – и голова, и туловище, и конечности, но нет главного – души и душевного света. Вот потому Вавилон и смешался. Следовательно, любое единение или, как мы говорим сегодня, интеграция, опирающаяся только на материальные ценности, мертворожденна и изначально обречена на гибель.

Такова библейская трактовка.

А в Иерусалиме наиболее наглядно чувствуется прочность библейских постулатов. Да, они помогают в поисках духовных ориентиров и своей давнишней ориентацией заставляют нас смотреть в сторону Вечного Востока.


Ведь термин «ориентация» происходит от Востока («Ориент» на европейских языках означает Восток).

Так что, как говорили в древности, *Ex oriente lux!*

Свет приходит с Востока!

\* \* \*

Это – что касается духовной сферы, а в жизни повседневной, практической идти лишь по прямой дороге значит блюсти безликость и рутину, что рано или поздно приводит к умственному бесплодию. Почему Моисей водил своих соплеменников по пустыне целых сорок лет, когда этот путь можно было пройти в десять раз быстрее? Однако тогда эта безликая масса не сформировалась бы в один могущественный народ, и Моисей не смог бы выполнить великой миссии, возложенной на него Всевышним.



Между прочим, на одном из полотен Шагала (полотно находится в Иерусалиме, в здании кнессета), проникнутом мессианским ясновидением Исаяи, эта идея получила весьма остроумное воплощение: мир здесь участвует в одном гармоничном круговороте, и коза и волк пасутся вместе, а некий скиталец – Вечный жид, отрешившийся от всеобщего единообразия, смотрит совершенно в ином направлении и прокладывает дорогу в иные пространства. В общей композиции картины эта деталь воспринимается как отклонение от установленных стереотипов, как поиск нового сознания, являющегося залогом вечного обновления и развития человечества.

\* \* \*

В Израиле весьма популярна крылатая фраза: «Иерусалим молится, Тель-Авив развлекается, Хайфа трудится».

В этой простой фразе метафорически выражена суть не только жизни сегодняшнего Израиля, но и всего нашего бытия.

Иерусалим молится – значит, он относится ко вневременным категориям и сопричастен вечности.

Тель-Авив и Хайфа заняты повседневными делами и включены в повседневность.

Иерусалим – персонифицированный образ нашего духовного бытия, Тель-Авив и Хайфа – выразители жизненного практицизма.

Все они – атрибуты нашего бытия, дополняют друг друга (по принципу – «миг в вечности, вечность в миге») и не могут существовать друг без друга.

Когда Иерусалим заглядывает в вечность, Тель-Авив и Хайфа заняты текущими процессами и своими делами наряду с повседневностью сливаются с вечностью.

Пока мы слушали дыхание вечности в библейских местах Иерусалима, большая политика плечом к плечу с духовностью творила свое дело.





Вифлеем (по-еврейски Бейт Лехем – «дом хлеба») расположен всего в семи километрах от Иерусалима. В библейский период здесь простиралось невозделанное поле, используемое под пастбище. Здесь же, в пещере, вырытой пастухами как убежище от дождя и палящих солнечных лучей, провели рождественскую ночь покинувшие галилейский Назарет Иосиф и Мария...

В 326 году византийская царица Елена воздвигла на этом месте Рождественскую базилику, которую позже расширил и украсил Юстиниан. Это единственная церковь на палестинской земле, в которой на протяжении многих столетий, несмотря на длительные войны и кровавые катаклизмы, не прекращалось богослужение.

Внешне церковь больше походит на крепость крестоносцев и, подобно грузинскому монастырю Святого Креста, имеет узкий и низкий вход, войти через который, не пригнувшись, невозможно. Такая предосторожность, оказывается, была продиктована соображениями обороны: разъяренным сарацинам ничего не стоило верхом ворваться в храм и осквернить святыни ненавистной веры...

Входим в церковь, посередине которой на разобранном каменном полу проглядывает слой мозаики XII века, и, минуя розового цвета колонны, подходим к позолоченному алтарю, откуда по узкой лестнице спускаемся в Рождественскую пещеру. И здесь в небольшой нише находится алтарь. Перед алтарем в пол вделана серебристая звезда («И се, звезда, которую увидели они на Востоке, шла перед ними, как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец...»). Тут же надпись на латыни: «Здесь Девою Марией рожден Иисус Христос».

В нескольких шагах от церкви Рождества – греческий монастырь, построенный византийцами в VI веке прямо над самым источником Давида. Испив этой воды, набирался сил

отправляющийся на войну с филистимлянами царь-пророк...

А к востоку от церкви находится т.н. молочный грот, над которым возвышается францисканская церковь. По преданию, Дева Мария, кормя грудью младенца Иисуса, пролила молоко, капли которого, упав на черный камень, тотчас превратили его в белый. По убеждению молящихся, пыль, соскобленная с этого камня, помогает кормящей матери вернуть исчезающее молоко.

Смотрим на ночной Вифлеем, освещенный словно пришедшими с Востока звездами, и в ушах звенят слова пророка: «И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных; ибо из тебя произойдет Вождь, Который упасет народ Мой Израиля».

\* \* \*

Первозданная гармония, лишённые бытовой, грубой предметности святость и духовность, проглядывающие в старых кварталах Иерусалима и Вифлеема и на какое-то мгновение освобождающие тебя от повседневных забот, эти блаженные минуты, что возвращают каждого смертного к его корням – помогают ощутить ту извечную цельность, которую чувствовал человек в пору сотворения мира. А возвращение к духовным началам и стремление к Всевышнему в сегодняшнем, утратившем детство мире подобно сиянию свечей, проливаемому из Гроба Господня или со стен Рождественской базилики в царстве вечной тишины, ибо, как гласит библейская мудрость, «Светильник Господень – дух человека».

*ИЕРУСАЛИМ – ВИФЛЕЕМ – ТБИЛИСИ*

*Январь, 2000*

*Авторизованный перевод Арчила ДЖАПАРИДЗЕ*

## ВЕЛИКИЙ И ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ

Слово, произнесенное 14 апреля 1988 года у памятника  
родному языку


Всякий самолюбивый человек, кто действительно знает, чей он сын, чьими корнями он вскормлен, кто дорожит своим национальным достоинством, не может не относиться с уважением к другим людям, их родному языку, обычаям, убеждениям, духовной и материальной культуре.

Поэтому никого не должно удивлять, что сегодня мы собрались здесь, у памятника, воздвигнутого во славу нашего родного языка.

Всем известно, что главнейший признак, определяющий кто ты есть, какому народу принадлежишь душой и телом, — это язык, родной язык, который мы в муках пронесли сквозь века. Его неоднократно бесстыдно попирали, цинично выбрасывали за ненадобностью и свои, и чужие, но он тем не менее оставался великим и всеобъемлющим родным языком.

Беззаветная любовь к родному языку, самоотверженность во имя его — это та же любовь и преданность родине, единой и неделимой.

И пусть никому не покажется преувеличением, если я скажу, что именно сегодня нам следует проявлять большую осторожность и мужество в вопросе защиты нашей национальной самобытности, ибо раскрепощенные демократией и гласностью печатные органы пестрят высосанными из пальца многочисленными двусмысленными теориями. Нелепо маскируясь, они активно проповедуют то же, что проповедовал сто лет назад Георгий Мухранбатони, навеки опозоренный вырожденец: «малые народы», мол, должны слиться с большими, и язык малого народа, естественно, должен замениться языком большого. Большим народам несть числа! По недавним сведениям, полученным от демографов, через несколько




десятилетий по общему числу населения выйдут вперед Индия и, кажется, Нигерия. Ну с Индией, если иного выхода нет, с грехом пополам еще можно слиться, но вот как слиться с Нигерией? И речь ведь идет не только о нас, в «больших народах» должны будут раствориться сравнительно небольшие Франция, Англия, Германия, Италия, Япония и т.д. Нелепость великодержавной теории Мухранбатони очевидна и в свое время это получше нас обосновали Илья Чавчавадзе и епископ Гавриил.

Единственное реальное оружие против игнорирующих национальные интересы старых и новых нигилистов – это ежегодное, ежедневное не уменьшение, а увеличение, расширение ареала действия нашего родного языка – орудия нашего мышления, средства взаимоотношения живущих на территории Грузии народов, государственного языка нашей республики. Это не насилие по отношению к кому-нибудь. Грузинский народ, как и каждый народ на земном шаре, имеет право говорить на родном языке на своей земле, которую он отстоял ценой кровопролития и жертв.

Мы не должны забывать конец десятых годов нынешнего столетия, когда в сложнейших исторических условиях под руководством Иванэ Джавахишвили был основан грузинский университет. Откуда только не приехали тогда грузинские специалисты, работавшие в зарубежных университетах! Они не испугались экономических затруднений, голода в прямом смысле этого слова. Первый ректор Петрэ Меликишвили отказался от полагавшейся ему зарплаты, радел о кассе, в которую поступали народные пожертвования. А вряд ли он, по первому зову Родины оставивший Малороссийский университет, ощущал избыток материальных средств.

Это было значительно большим явлением, чем просто основание национального университета. С основанием университета закладывались основы грузинской науки, существование которой вне национального языка невозможно для любого культурного народа.

Перед первыми профессорами университета стояли почти



непреодолимые препятствия. Не было терминологии отдельных отраслей наук, профессора не имели навыков ведения лекций на грузинском языке. Надо было наверстывать упущенное, заполнить роковые пробелы если не за пару лет, то хотя бы за десятилетие.

И надо сказать, наши первые наставники сумели совершить этот прорыв, что под силу только высокоталантливым людям, искренне любящим свою родину и свой народ.

Если ты грузинский ученый, патриот, наконец личность, в которую верит народ, будь добр и пиши свои труды по-грузински, как завещал Иванэ Джавахишвили. Недаром Нико Марр утверждал, что грузинский язык по своим качествам – мировой язык, на этом языке можно сказать все, что можно сказать на любом земном языке.

Это вовсе не означает, что мы призываем замкнуться в национальной скорлупе и не изучать других языков, и прежде всего русский. Напротив, мы должны учить их, ибо знание других языков – кратчайший путь для овладения культурных достижений человечества. Но бесспорно и то, что надежной основой приобретения знаний, как учат великие корифеи мировой педагогики, является совершенное знание родного языка, базового языка нашего мышления.

Так давайте поклянемся у памятника родной речи, аналога которому, я полагаю, в мире не существует, что своей безграничной особой верностью родному языку мы не только не обособимся от культурного человечества, напротив, вновь останемся его органичной, неотъемлемой частью. И не надо бояться, если какой-нибудь злопыхатель обвинит нас в национализме. Мы же знаем, что правы перед страной и перед собственной совестью, что эти естественные чувства и устремления, собравшие нас здесь, закреплены Основным законом нашей республики – Конституцией, завоеванной нашей же бескомпромиссностью и отвагой.



**От редакции:**

*Нет с нами больше Реваза Джанапаридзе.*

*Первый его рассказ «Сон о море» был опубликован в газете «Литература და ხელოვნება» в 1949 году. 50 лет, полвека служил он родной литературе.*

*А до этого были семь лет армии, из них три года он воевал.*

*С 1956 года Реваз Джанапаридзе вел жизнь профессионального литератора.*

*Он является автором вызвавших большой интерес читателя романов «Невеста Хеви», «Вдова солдата», «Страстная неделя», «Путь на Голгофу», сборников рассказов «Бондо», «Весна близка», «Узники Джимараи», «Серебряная паутина» и других.*

*Их отличает безупречная форма, богатая грузинская речь, яркие характеры и острая фабула. Особо следует отметить роман-тетралогию «Тяжелый крест», написанный на материале нашей трагической истории. Все произведение пронизано любовью к Родине, ее народу. В романе предстает Грузия XVIII столетия, показаны истинно народные характеры, галерея образов грузинских крестьян, тех безымянных героев, кто своей смелостью, самоотверженностью и героизмом спас в свое время Грузию.*

*Следует отметить и публицистику Реваза Джанапаридзе. В своих очерках и статьях он всегда ставил и решал острые, актуальные проблемы. Он любил свою родину и свой народ. Его книги «Взвешенное слово» и «Грех Каина» имели широкий резонанс в обществе.*

*Имя Реваза Джанапаридзе останется в грузинской литературе как прекрасного мастера прозы.*

**Константино́с ГАМСАХУРДИА**

\* \* \*

Бирюзой горят  
у тебя глаза.  
Как морской прибой,  
ты зовешь меня.  
Если вдруг меня  
проклянет судьба,  
Под венец с другим  
уведет тебя,  
Брошу сеять я  
по весне поля,  
Проплыву я вмиг  
реки и моря,  
И сожгу твой дом  
и любовь дотла,  
И убью того,  
кто ласкал тебя.  
Бирюзой цвели  
у тебя глаза.  
Как морской прибой,  
ты звала меня.

**Теренти ГРАНЕЛИ**

\* \* \*

Не смотри на меня, постарев,  
Не трави ты мне душу тоскою.

Я любил тебя, сплетни презрев,  
Почему же ты стала чужою?..



\* \* \*

Мне кажется, что где-то там  
Душа витает отчужденно.  
Ищу себя я по следам  
В провалах памяти бездонной.

Мне кажется, что я живу,  
И тут и там одновременно,  
Я в зеркале себя ищу,  
С тоской свыкаясь постепенно.

**Шота НИШНИАНИДЗЕ**

## **ОДИНОЧЕСТВО**

В крайнем доме улицы безвестной  
Приютилась пара стариков.  
В тишине обитатели их тесной  
Ворковала пара голубков.

Превратились в облака их мысли,  
И плывут они во все края.

Книжки, сны иль эпизоды жизни  
Догорают на закате дня.

Но порой воспоминаний дождик  
Детским смехом оживится вновь,  
Заиграет в брызгах старый зонтик  
И вернется первая любовь.



На окне у них теснятся склянки,  
Книги, спицы, теплые носки,  
Воробьи слетаются на банки,  
Поклевать снадобья от тоски.



Нравится мне их финал чудесный,  
Но пугает участь стариков,  
В страшный день, для них небезызвестный,  
Смолкнет вдруг один из голосов.

В крайнем доме улицы безвестной  
Ворковала пара голубков.

**Анна КАЛАНДАДЗЕ**

### **МИГ...**

Закатилось солнце полосою света,  
Нежною невестой обнялось с волной,  
Чуть поволновалось, вдруг затрепетало...  
Замерло в экстазе и... покрылось тьмой.

### **ВЛЮБЛЕННЫЕ КОГДА-ТО ВЕТРЫ...**

Возле мокрой лестницы  
Плачет сирень.  
Где вы, ветры-вестники,  
Прячетесь весь день?

Некогда, влюбленные,  
Славили сирень.

Рыцари покорные  
Отгоняли тень.

А теперь, холодные,  
Дуют стороной.  
С горя ветви голые  
Никнут головой.

И цветы безгрешные  
Стелются ковром.  
Ветры бессердечные  
Пляшут за углом.

Мухран МАЧАВАРИАНИ

\* \* \*

Третий день в плену я у печали,  
Третий день смывает дождь любовь,  
Все желанья и мечты увяли,  
Как теперь мне к ним вернуться вновь?..

### ИМПРОВИЗАЦИИ НА ТЕМУ...

(Из Изы Орджоникидзе)

С головы и до пят  
я осыпана нежными розами.  
Мое грешное тело  
все зовет тебя рядом прилечь.  
И сама я, как роза,  
оживаю забытыми грезами,

И нектаром пчелу,  
хоть на миг, я надеюсь привлечь.  
Ты срываешь меня  
и пьянеешь вином наслажденья,  
Нежно гладишь бутоны,  
и обоим нам хочется петь.  
Наши губы слились,  
наши руки не знают сомненья.  
Сердце рвется от счастья,  
и мне хочется вдруг умереть.



## ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ...

(Из Изы Орджоникидзе)

*С каждым шагом в день грядущий  
Прошлого все больше,  
Видно, в зеркало идущий  
Видит жизнь чуть дольше.*

Под старость грусть невыносима,  
Тут не помогут тучи слов.  
Бег времени неотвратимо  
Несет нас в мир последних снов.

Когда-то слов так много было,  
Мы щедро раздавали их,  
Но память многое забыла,  
И нет уж надобности в них.

Как много их ушло впустую,  
Не высказанных до конца,

Проговоренных вхолостую  
И улетевших навсегда.



Слова без музыки бесцветны,  
Как песнь неспетая моя.  
Я для мелодии заветной  
Ищу волшебные слова.

И, разбирая кучи хлама,  
Устав в словах искать покой,  
Я, как бальзаковская дама,  
Иду с мечтою к аналою.

Но вот слова, уйдя в пространство,  
Вернулись музыкой, как стих,  
И времени непостоянство  
Окаменело фреской в них.

Но от мелодии прощальной  
Остались только лишь слова.  
На эпитафии печальной  
Вдруг обрывается канва...

*Перевод Гугули КЕБУРИА*

**Натела УРУШАДЗЕ**

## **КОРОЛЬ СМЕХА**

Архив Васо Абашидзе, хранящийся в Театральном музее Грузии, поражает контрастностью материалов, отразивших личность актера, – признанный «королем смеха», этот выдающийся комик поразительно серьезен в своих высказываниях. Ни одна из фотографий не донесла до нас его улыбки. Напротив, глаза этого худого человека всегда полны какой-то странной грусти.

О чем это говорит? О том, что редкий дар, которым наградил его Бог, был серьезным оружием для него, нацелившегося на большие дела. И бремя этих дел, общественно полезных, важных, он в течение полувека достойно нес на своих худых плечах.

Васо Абашидзе родился в Душети 22 ноября 1854 года. Отец его, Алекси, был учителем. Мать, Анастасия Шатковская, украинка, горячо полюбила свою вторую родину – Грузию. Это проявлялось во всем, даже внешне – она причесывалась как грузинка и носила на голове грузинский национальный убор. Анастасия прекрасно говорила по-грузински, и грамоте маленького Васо научила именно мать. В 1858 году семейство Абашидзе из Душети переезжает в Тбилиси. Когда подошло время, Васо определили в мужскую гимназию. Вместе с ним в группе учились будущие корифеи русского театра – Ал.Сумбаташвили-Южин и Вл.Немирович-Данченко. Впоследствии отца перевели на работу в Кутаиси, и Васо продолжил учебу в Кутаисской гимназии.

В 1872 году Васо с золотой медалью оканчивает Кутаисскую гимназию и начинает работать педагогом. А это означает, что еще до своего прихода в театр, он имел живой контакт с многочисленной аудиторией, пусть даже в пределах

классной комнаты, ибо, на мой взгляд, между школой и театром, педагогическим и актерским мастерством существует определенное родство.

Васо Абашидзе отдал педагогической деятельности шесть лет и пришел в грузинский театр, зная уже, какое влияние оказывает его слово на непростую молодежную аудиторию.

После окончания гимназии в том же 1872 году Васо Абашидзе принял участие в спектакле, поставленном кутаисскими любителями сцены. Надо сказать, у него уже имелся определенный опыт – в гимназиях тогда силами учеников систематически устраивались литературные вечера, представления и т.н. публичные акты – торжественная выдача аттестатов при переходе в следующий класс. Васо Абашидзе был непременным участником этих празднеств.

Первое же его появление на сцене не оставило равнодушным зрителя, который отныне на целых полвека останется в добровольном плену у актера.

Чем же он покорило его? Прежде всего великой правдой, удивительной искренностью, умением выделять главное, не перегружать образ ненужными деталями. Стоило ему появиться на сцене, как зрительный зал преображался – он еще не произнес ни слова, не сделал ни одного движения, а зритель уже смеялся. Чем это можно объяснить? Только и только талантом, тайну очарования которого так никто и не смог постичь.

До конца своих дней Васо Абашидзе находился на сцене, служил ей как актер, постановщик спектаклей, автор пьес, переводчик, руководитель труппы, теоретик сценического искусства. Он играл как в профессиональном театре, так и с актерами-любителями, принимал участие в различных дивертисментах, общественных утренниках и вечерах, сочинял и исполнял шуточные куплеты. В 1885 году он основал первое грузинское театральное периодическое издание «Театр», выпустил сборники «Чанги» («Лиры»), «Пантеони» («Пантеон») и «Чвени театри» («Наш театр»), в которые вошли

пьесы, предполагаемые к постановке на грузинской сцене, стихи, куплеты. Васо Абашидзе впервые составил и опубликовал список пьес на грузинском языке, разрешенных к постановке. Он находился в постоянных поисках новых дарований и привлек к грузинской сцене немало личностей, ставших впоследствии гордостью нашего театра. После закрытия сезона он организовывал небольшую труппу, с которой объезжал все уголки Грузии, приобщая народ к театральному искусству. Именно поэтому его популярность была безграничной.

Многогранная деятельность Васо Абашидзе требовала различных талантов, и они счастливо сочетались в его личности, придавая ей огромную силу, ибо талант – та же сила. Именно потому он так хорошо знал, что такое сценическое искусство. Это знание лежит в основе его теоретических соображений относительно искусства.

Для В. Абашидзе недостаточно было играть, хотя он и был рожден для этого. Он хотел докопаться до сущности своего ремесла, постичь его важнейшие законы. Его интересовала теория, он понимал ее значение для творческой практики. Мысли В. Абашидзе об актерском мастерстве нашли отражение в его статьях, публиковавшихся в прессе тех лет. Позднее, уже в наше время они вышли отдельным сборником. Основное его положение – жизненная правда и логика поведения действующего лица прежде всего! Он никогда не изменял этому правилу, поскольку считал, что без правды и логики действия невозможно проповедовать передовые общественные идеалы, а именно эту миссию возлагали на грузинский театр его основоположники. «Сцена – это священный храм, – писал он, – предназначенный для проповеди. Слово, произнесенное в нем, глубоко запечатлевается в нашем сознании, пробуждает возвышенные чувства любви, добродетели, приобщает к прекрасному ... Мы убеждены, что театр по своему значению одно из средств утверждения и развития национального сознания».

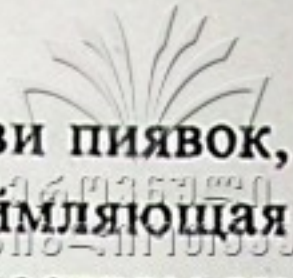
Свой талант комика он использовал в тех же благородных

целях, тем более что ему никогда не изменяло чувство меры. Он постоянно советовал молодым актерам, исполняющим выигрышные комические роли, не терять головы от успехов, и вот почему: часть зрителей недостаточно подготовлена. Они с удовольствием аплодируют всякому шутовству, и аплодисменты эти – западня для молодого актера. Под конец он может и осознать свою ошибку и попытаться избежать этой западни, но окончательно избавиться от штампа ему не удастся.

Он избежал этого штампа, столь характерного для большинства актеров, тем, что в любую комическую ситуацию привносил обычно драматический элемент, перенося внимание зрителя, да и действующего лица, на несмешное. В этом смысле очень интересен эпизод из воспоминаний С.Мгаблишвили – речь идет о роли Карапета из пьесы Г.Эристави «Скупец» в исполнении В.Абашидзе: «Абашидзе поразительно талантливо, мастерски сыграл роль скупца. Когда он обнаруживает в коробке камушки вместо денег, лицо его выражает такой трагизм, что в зале вместо взрывов смеха воцаряется гробовая тишина. А как прекрасна эта сцена, когда он появляется со свечой в руке и, дрожа, трясясь, осматривает дом, поводя одними глазами. Но, пожалуй, лучшая сцена – когда Абашидзе, подбросив вверх мешок с деньгами, ловит его и начинает ласкать. Редко, когда мать ласкает своих детей, свою плоть и кровь с таким восторгом, с такой жадной любовью, с какой лелеял свои мешки Абашидзе, готовый буквально раствориться в них». Эти записи относятся к 1880 году – самому началу творческого пути Васо Абашидзе, когда постоянный Грузинский театр существовал всего лишь год.

Все, кто писал о Васо Абашидзе, отмечали, что он удивительно владел своим телом, но его пластика никогда не была самоцелью, она всегда служила раскрытию образа, который В.Абашидзе воплощал на сцене. Интересны записи И.Зурабишвили о Зимзимове в исполнении Васо Абашидзе («Пепо» Г.Сундукяна): «Вот появляется Васо – Зимзимов в длинном черном сюртуке с белым воротником и белом галстуке. Над верхней губой вновь выкрашенные усы,





напоминающие двух сказочных, напившихся крови пиявок, такие же выкрашенные в черный цвет брови и окаймляющая блестящую лысину полоска волос. Всем своим существом он напоминает огромную пиявку». Сегодня мы бы сказали: «зерном» абашидзевского образа была напившаяся крови пиявка, т.е. то, что составляло человеческую сущность его Зимимова, выявленную с таким мастерством, что это было ясно каждому зрителю. Умение так перевоплощаться — редкость даже для большого артиста. Именно на этот дар актера обратил внимание Илья Чавчавадзе: «Господин Абашидзе обладает редким даже среди зрелых мастеров даром, который мы не замечали у наших актеров — каждый персонаж в его исполнении превращается в «тип», даже если автор не дает актеру достаточного материала для этого. Смотришь на игру господина Абашидзе и думаешь, где же это я его видел, и все никак не можешь вспомнить. Выражение лица, одежда, манеры, походка, каждое слово так соответствуют друг другу и так преломляются через его творческий дар, что ты невольно восклицаешь в душе: вспомнил! Вспомнил кто это! Но воспоминание тут же гаснет и пропадает, как видение. Когда образ, воплощенный на сцене, узнаваем и в то же время неузнаваем, — это бесспорный признак того, что перед нами — образ-«тип», обобщенный образ определенной группы людей, каждого из которых характеризуют свои индивидуальные черты, объединенные актером в одном персонаже».

Васо Абашидзе оказался тем актером, творчество, конкретные сценические образы которого послужили для Ильи Чавчавадзе материалом для определения сущности актерского перевоплощения.

Васо Абашидзе прекрасно владел грузинским, но постоянно заботился о чистоте звучания сценического слова, поскольку правильная грузинская речь была одним из основных условий создания национального театра. Всю свою жизнь он совершенствовал собственную речь, дикция у него была четкой, интонация богатой. И в то же время он блистал в

бессловесных эпизодах, когда «играл» одним лицом, выражая все, что творилось в душе его героя. Ему удавалось даже процесс сценической жизни персонажа.

Васо Абашидзе отличал и редкий музыкальный дар. Он пел в жизни и на сцене, даже в опереттах, которые в то время ставились и на сцене драматического театра.

И разве удивительно, что десятилетие актерской деятельности Васо Абашидзе было столь высоко оценено Ильей Чавчавадзе: «Ваша сценическая деятельность за прошедшие десять лет ясно показала нам всем, на что способен талант, подобный вашему. Лучшие мгновения, которые мы переживали в грузинском театре, невозможно представить себе без вас, без созданных вами типичных образов. Вы доказали, что истинный актер такой же творец, как и любой другой настоящий Мастер».

Этот адрес был зачитан на юбилейном вечере Васо Абашидзе 3 мая 1887 года. Через пятнадцать лет в 1902 году 25-летие сценической деятельности Васо Абашидзе отпраздновал сперва Тбилиси, затем Кутаиси. В 1922 году юбилей по поводу пятидесятилетия творческой деятельности актера вылился в общенародный праздник. Ему первому было присуждено почетное звание Народного артиста республики.

О Васо Абашидзе писали И. Чавчавадзе, А. Церетели, Д. Клдиашвили, В. Гуния, Ш. Дадиани. Его образ неоднократно запечатлевали художники, ваяли скульпторы. Тбилисский государственный музыкальный театр носит его имя. Среди исполненных им ролей Карапет из «Скупца» Г. Эристави, Бесо из «Измены» Ал. Сумбаташвили, Зимзимов из «Пепо» Г. Сундукяна, Шах-Аббас из «Родины» Д. Эристави, шекспировский Полоний, гоголевские городничий и Хлестаков, Акоп из «Ханумы» А. Цагарели и др.

Васо Абашидзе было 68 лет, когда приехавший из России К. Марджанишвили приступил к строительству нового грузинского театра. Это было время, когда в жизни и на сцене происходили коренные сдвиги. Маститый актер приветствовал новшества в театральном искусстве. Правда, на сцену выходил

редко.

2 января 1923 года, в традиционный праздничный день грузинского театра была представлена комедия З.Антонова «Затмение солнца в Грузии» в постановке К.Марджанишвили. Была занята вся труппа, пригласили даже находившегося в это время в Тбилиси Ал.Сумбаташвили-Южина – Марджанишвили попросил его исполнить роль русского чиновника. Это был истинный праздник грузинского театра. Вот что рассказывала Тасо Абашидзе: «В тот вечер на грузинской сцене состязались виртуозы. К началу второго акта все актеры собрались за кулисами в ожидании появления Сумбаташвили. Он вышел на сцену и подал реплику Васо. Что тут поднялось в театре! Шум, овации!.. Диалог двух мастеров звучал своего рода симфонией!»

Васо Абашидзе снялся в нескольких фильмах – «Кристина», «Арсена Джорджиашвили», «Ханума». Он был истинным артистом-деятелем.

Одна из небольших улиц Тбилиси носит имя Васо Абашидзе. Она начинается у национального Оперного театра и спускается вниз, к набережной Куры. На стене одного из домов по этой улице потемневшая от времени мемориальная доска сообщает, что когда-то в этом доме жил великий грузинский актер Васо Абашидзе. Все, кто бывал у него, в его небольшой квартирке почему-то навсегда запомнили ее. Даже Галактион, который посвятил Васо Абашидзе стихотворение-жемчужину.

Васо Абашидзе скончался в 1926 году 72 лет от роду... Его прах покоится на Мтацминда – Святой горе, где нашли свое последнее упокоение Илья, Акакий, Важа...

## КИНО – ИСТОРИЯ ?

Сегодняшний кинематограф, как и любой другой поэтический жанр искусства, не представим без метафоричности.

Кинометафора начала свой сложный путь от «подражательных» конструкций – в драматических сопоставлениях материала и характерных персонажей, в изобразительной трактовке композиции кадра и способах съемки, в пространственно-временных построениях и в монтаже, в звуковом сопровождении и сочетаниях звука с действием.

Кинометафора вообще заимствована у литературы. На первых порах режиссеры добросовестно переносили литературную канву на экран, но, увы, сам язык кинематографа все еще не обладал достаточными средствами для адекватного отражения всей глубины характеров и коллизии произведения. Одним из основных признаков нового киноязыка, который был призван решить эту доселе не решенную задачу, является его метафоричность. Только освоив, а заодно и поняв однобокость прежнего способа экранизации, кинематографисты начали искать иные способы передачи всей глубины и психологической сложности литературного произведения. Обращение к истории кино показывает, что режиссерам двадцатых годов приходилось прибегать ко множеству разнообразных уловок для того, чтобы ввести словесную метафору в событийную ткань фильма. Приведем классический пример: Эйзенштейн в «Стачке» прибегает к монтажным сопоставлениям, сравнивая шпигов с лисой, обезьяной, совой и так далее. Он снимает зверей, перегружает эпизоды наплывами, разрушает ритм разворачивающихся событий. И все для того, чтобы изобразить на экране литературное сравнение («как лиса», «как обезьяна», «как сова»). Другой пример своего рода метафоры: в итальянской салонной мелодраме «Змея», снятой в 1920-ом году, кадры со знаме-

нитой в ту пору Франческой Бертини, соблазняющей очередную жертву, перемежаются кадрами с изображением змеи, схватившей морскую свинку...

Основы всех существующих ныне направлений в кино были заложены еще в его немой период. Так, элементы образного языка, поэтики, заявившей о себе к концу пятидесятых годов, наблюдаются уже в двадцатых. Вторжение в действительность, ее революционное объяснение вызвали в кино двадцатых годов обобщенные образы, условные приемы, открытые метафоры, а самое главное – монтаж. От поэзии двадцатых годов кинематограф переходит к прозе тридцатых. Предметом искусства оказывается деятельность людей, воплощающих революционные идеи в жизнь и строящих социализм. Изобразить этих людей, их конкретные судьбы, показать, как бытие отражается в быте, большое – в малом, и был призван кинематограф тридцатых годов. Повествовательный стиль стал в этих условиях наиболее жизнеспособным, вплотную приближаясь к заявленному тогда же методу социалистического реализма. Но нарушение границы между стилем и методом, их тождество привело в конце сороковых – начале пятидесятых годов к подмене изображения жизни ее приукрашиванием.

В середине пятидесятых годов изменения в жизни общества потребовали от искусства выражения нового отношения к миру, веры в незыблемость идеалов, исторического оптимизма. Вновь возникла необходимость в повышении меры условности, в поэтических приемах, метафоризации. Потребность в поэтическом способе обработки материала становится особенно ощутима в периоды резких исторических сдвигов и мировоззренческих перемен.

Пришедшее в кино в пятидесятые годы послевоенное поколение, осознавшее страх перед ужасом войны, общую беду отождествляло со своей личной. И этот выход от личного к общему, к вечному как раз и подчеркивался поэтическими и метафорическими средствами. Особое значение здесь играла поэтика внутреннего монолога, которая позволяла

художнику, рассказывая о частной судьбе, раскрывая внутренний мир индивидуального персонажа, выражать свое авторское отношение к миру. Так преодолевалось противоречие, которое существовало в поэтическом кино двадцатых годов, когда художники жертвовали индивидуализацией героев ради собственных обобщений. Кино конца пятидесятых – начала шестидесятых годов, не повторяя кино двадцатых, учитывая опыт кинематографа тридцатых, дает в единстве изображение и образ.

Но в середине шестидесятых годов эти категории расходятся и систематизируются, соответственно, в каждом из направлений – «документальном» и «пластическом». Первое ориентировано на жизнеподобие, фиксацию реальности, второе – на условность, абстрагированность от реальности, изощренную символику киноязыка. И в том, и другом случае метод низведен до стиля.


Развитие этих направлений, достигнув своего предела, в семидесятые годы начинает движение к центру: метафорический стиль «разбавляется» прозой, а повествовательный «насыщается» метафоризмом. Многообразие стилей и жанров не отменяет существование двух основных направлений – метафорического и повествовательного. Они не противопоставляются друг другу, и внутри них происходит синтез разных конструктивных принципов. Одни режиссеры выражают отношение к миру, изображая жизнь, другие – изображают жизнь, выражая отношение к миру.

В кинематографе семидесятых наметилась установка на сочетание двух тенденций – углубление во внутрь и простота. Желание проникнуть в глубь внутреннего мира современного человека и современных явлений жизни было характерно и для кинематографа шестидесятых. Но теперь художники предпочитают не изобретать новых формальных приемов, а пользоваться уже имеющимися, и делать это как можно незаметнее, естественнее. Простота формы не исключает использования иносказательных конструкций, например, жанра притчи. Тем не менее, если сравнивать некоторые

притчи этих лет с притчами шестидесятых, мы увидим, что многозначность переводится в план содержания. И определяющим кажется желание художников добиваться в искусстве простоты – сложной простоты, что и есть самое сложное в искусстве – добиться простой формы выражения, которая сродни искомой истине.

Эта тенденция, наметившаяся в семидесятые годы, захватывает еще и половину восьмидесятых, но главная тема уже иная. Кинематограф этого периода обращается к смыслу бытия, к его основным идеалам. По многим причинам мир оказывается для людей совершенно сложным и непонятным. И благодаря кинематографическому переосмыслению достигается доступная для человеческого понимания форма переоценки ценностей.

Пафос кинематографа шестидесятых-восьмидесятых, учитывая существование тоталитарных государств и массовых социальных движений, есть пафос антиидеологический, то есть стремление сориентировать человека в идеологическом пространстве так, чтобы он был способен переосмыслить действие идеологических механизмов. Это – механизм очищения сознания, но теперь уже очищения его от влияния идеологических структур, а не только от заблуждения разума. Целостное ощущение кинематографа шестидесятых в основном основано на эйфорической иллюзии ускорения демократизации общества. Кинематограф семидесятых годов отрезвляюще действует на зрителя и безжалостно низвергает его с высот внезапно открывшихся представлений в начале шестидесятых. Он поведал о причинах бесплодия человека и времени, о художнике, для которого творчество есть не только акт познания, но и демиургический акт сотворения. В кинематографе семидесятых творили аналитики и мыслители, деятели и подвижники, утешители и борцы. Творили художники, подвластные букве закона, прописанной ими самими. В тяжкое, мучительно-безгласное и безнадежное время семидесятых, захватившее и половину восьмидесятых, когда не страх перед репрессиями подавлял



и призывал к осторожности, а память о них, киноискусство скорее было зеркалом действительности, напоминало о смысле бытия, об идеалах красоты и гармонии.

Кинематограф восьмидесятых, по сути, начинает комментировать прошлое и настоящее и обнаруживает трещины в основании советского колосса, предвещает его крушение и крах; крушение всего уклада государственного устройства, механизма управления верховенствующими принципами и постулатами. Крушение символов веры, вскормленной советской действительностью, крушение культуры, наконец.

Возвращение к кинематографу шестидесятых-восьмидесятых не ностальгия по пройденному этапу, а, скорее, голос в поддержку хорошего кино. Интерес к кино тоталитарной эпохи в посттоталитарное время вырос на нравственных и эстетических эмоциях. Сегодня, когда мы освободились от идеологического давления, кинематограф прошлых лет воспринимается по-иному, оказалось, что носителями официальной идеологии были лишь фильмы так называемого госзаказа, обеспеченные тысячными тиражами, всесоюзными премьерами, зеленой улицей по всему пути следования. Они по-своему небезынтересны, но остались в своем времени. А картины, которые каждый раз можно открывать для себя заново, были результатом, как выяснилось, нравственного сопротивления художников партзаказу, они не обслуживали режим. Фронт скрытого сопротивления оказался гораздо шире, чем принято полагать. Он не исчерпывается «полкой» и не сводится только к именам Параджанова и Тарковского.

Кинематограф этого времени виртуозно владел языком иносказаний во всем своем широком спектре. Само умалчивание при разработке сюжета (скажем, семейного, любовного) было «значимым отсутствием», если пользоваться терминологией структуралистов. Фильмы оперировали богатыми, тонкими подтекстами: предположим, говорилось о производственном плане («Листопад»), а читалось на экране совсем иное, человеческое. Во времена цензуры даже экранизация классики являлась одной из распространенных стратегий —



скрытой оппозицией официозу. Не надо забывать и то, что многонациональное советское кино опиралось на фольклорную основу, пользовалось народной тропикой, которая и есть иносказание и метафористика. Именно грузинский кинематограф был в этом направлении главенствующим. Официоз, недоверчиво относившийся к фольклору, пробовал объявить такие фильмы этнографическим очерком. Однако фольклорная основа не имеет ничего общего с этнографией. Это открытие новых эстетических миров, новых для экрана — детища технического века — типов мимезиса, глубинных ментальных структур. Мировое кино и сегодня тоскует по таким открытиям, по «человеческому, слишком человеческому» кинематографу, утраченному в культуре постмодернизма. Кинематограф тех времен давал практически ответы на всевозможные вопросы, советовал, утолял духовную жажду, помогал познать самого себя. А вот постмодернистская поэтика вообще не претендует на то, «чтобы быть второй реальностью» или сверхреальностью. Кино для нас было своего рода религией, но в результате общественных сдвигов оно утратило это значение, и мы ощутили некий внутренний конфликт. С одной стороны, мы взываем к «новому кино», рассуждаем о новом языке, с другой — подсознательно ждем от фильма потрясений, откровений, как прежде. А ведь этого уже не может быть. Парадокс в том, что в тоталитарное время, когда изображение храма на экране было большой смелостью, наше кино сохраняло религиозный дискурс, воплощенный не в слове, но в неподцензурном эфирном слове. А новое время с этим тайным дискурсом покончило. Православие стало едва ли не государственной религией, а в обществе торжествуют маловерие и неверие, в новом кино же — агностицизм. Как тут не вспомнить слова одной верующей: если в начале века крушили храмы, боясь Бога, то теперь их строят, не веря в Него; революция и социализм дали людям грамоту и отобрали знание. Воистину так. Кинематограф шестидесятых-восьмидесятых разработал своеобразный, многогранный поэтический язык, на котором

и общался со зрителем. Это язык любви и доверия к жизни.

В фильмах шестидесятых-восьмидесятых эта интонация была доминирующей. Для современного агностика подобное мировосприятие не то чтобы странно – неприемлемо. Оно раздражает, представляется инфантильным, наивным и, конечно же, конформистским. Подобный взгляд считается новаторским и объективным, на самом же деле это разрушение под маской анализа. Агностик не в состоянии понять этические ценности старого кино. Поэтика же вообще всерьез им не рассматривается. Между тем, то была целостная система высказываний. Ведь в сущности старое кино, зажатое в тиски цензуры, рассказывало, криком или шепотом, о том, что происходило вокруг...

Сегодня мы – на пороге нового тысячелетия. Оглядываясь ностальгически на прошлое, глядя со страхом в неведомое будущее, мы ждем... последствий, кары, Суда...

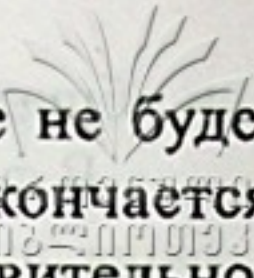
Что сможет сказать человечество завтра? Какой способ изъяснения выберет оно – любовь, гнев, раскаяние, одиночество, радость?..

Какие еще технические открытия привнесут в нашу жизнь новые виды развлечений, которые смогут конкурировать с классическими древними искусствами?..

Что ждет кино завтра? Расцвет? Смерть?

Или его целиком положат на пресловутую «полку» за ненадобностью, невозможностью отражать тончайшие нюансы человеческих эмоций...

Об этом спорят уже давно. А если о чем-то спорят, вряд ли тема безосновательна. Ведь чем дальше, тем чаще кино из искусства превращается в балаганное зрелище, возвращается к своей первоначальной роли зазывалы, развлекальщика, трюкача. Размышляя о будущем кинематографа, О.Иоселиани говорит: «Кино стало очень дешевым хлебом... Делать кино руками вскоре вовсе перестанут... И никто никогда уже не будет, как я, мерить пленку от плеча до локтя, зная, что там, в этом куске происходит. Никто никогда не будет делать сопоставления по «золотому сечению» и ставить при монтаже в



нужное место статичный план. Никто этого уже не будет  
знать... Мы последние, кто это делал... Наш век кончается.  
Мы больше походим на людей, которые делают удивительной  
сложности ожерелья, правда, никому не нужные»...

И разве не похожи сегодня мы, ждущие от кинематографа  
второго рождения, новых слов, новых взлетов, на парижан,  
которых запечатлела Николь Ведрес в своем фильме «Париж  
1900 г.» – они собрались под Эйфелевой башней, со второго  
этажа которой готовится к прыжку человек, изобретший  
летательный аппарат. Вот он бросается в пустоту и разбива-  
ется насмерть. А за мгновение до этого каждый из толпы,  
наблюдавший за зрелищем, с любопытным ужасом задавал  
себе один лишь вопрос:

– Полетит или нет?..

Лия ДЖАНЕЛИДЗЕ

## ПИТАЮЩЕЕ РУСЛО

В июне в Грузии прошли торжества, посвященные 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Торжества были скромные, соответствующие социально-экономическим условиям на фоне нарастающей в предвыборную пору политической свистопляски. Однако праздник души все-таки состоялся – вечера, встречи, публикации в прессе. Пушкину признавались в неиссякающей любви. Силу его колоссального духовного явления прочувствовали еще те, кто «испил воду Терека». А еще ранее поняли их отцы. Сколько поколений грузинской интеллигенции оказалось во власти его поэзии, с пронзительным чувством удивления приобщалось к неотразимому очарованию какой-то иной, животворящей энергии. И есть у нас своя слабинка, да простится нам ощущение некоторой исключительности, но известную фразу «Кавказ – колыбель пушкинской поэзии» мы, пожалуй, склонны читать «Грузия... – колыбель пушкинской поэзии». Во всяком случае тема «Пушкин и Грузия», как известно, достаточно глубока и обширна и, как лишний раз подтверждают работы последнего времени, все еще далеко не исчерпана. Имеются в виду книги литературоведа профессора Игоря Богомолова, вышедшие к празднованию пушкинских дней: «Из грузинской Пушкинианы», (издательство Тбилисского университета) и «Очаровательный край...» (Русское культурно-просветительское общество, издательство «Мерани»).

А.С.Пушкин и грузинские романтики. Пушкин об истории русско-грузинских отношений. Кавказская война в интерпретации Пушкина – вот главы первой книги, в которой

использован богатый материал, накопившийся вокруг этих вопросов, и содержатся собственно авторские исследования и выводы. Познакомиться с ними полезно и очень интересно, хотя, порой, и не соглашаешься с автором, особенно когда вопрос касается тех или иных строф из грузинских романтиков. Кажется не совсем правомерным приписывать гедонические мотивы, извечно свойственные поэтической стихии, исключительно влиянию Пушкина, подобно тому как легкой пушкинской строфой «Смешон и ветреный старик, смешон и юноша степенный», выражающей одну из самых очевидных истин, невозможно объяснить рождение сходной по мысли строки из Николоза Бараташвили («Моим друзьям»). Как согласиться с автором, что приглашение поэта Вахтанга Орбелиани к другу почитать Руставели и поговорить по душам о судьбах Родины, рождено под влиянием обращения Пушкина к Кюхельбекеру:

«Приди: огнем волшебного рассказа  
Сердечные преданья оживи;  
Поговорим о бурных днях Кавказа,  
О Шиллере, о славе, о любви» (?)

Или же попытка объяснения ценности перевода изложением подстрочника, вернее, поиски возможной близости к тексту оригинала... Как вновь сотворить волшебство высокой поэзии? Где ключ к этому чудодействию? В буквальном ли следовании заданной образной системе или в умении переводчика воспроизвести дух, музыку, тайную гармонию стихотворной строфы в другом языке, инородном в своей глубочайшей первоначальной сути?!

И тем не менее, Богомоловым проделана нужная работа. Мы шаг за шагом погружаемся в стихию взаимодействия духовных влияний. Узнаем много нового. Мы вновь повторяем дорогие нам имена. Мы становимся причастны узловым моментам их биографий, открывающим перипетии их счастливого и, одновременно, мучительного вживания в атмо-

сферу великой культуры в попытке перевести ее на язык своей... Теймураз Багратиони, Александр Чавчавадзе, Соломон Размадзе, Михаил Туманишвили, Григол и Вахтанг Орбелиани... И он, стоящий особняком, наш, отечественный гений, нечаянно переживший свой земной мальчишеский возраст благодаря тетрадке, сохраненной на всякий случай бережливой женской рукой... Николоз Бараташвили. О нем тоже говорит автор книги. Судьба не сохранила для нас его переводов Пушкина, однако есть свидетельства, что он работал над ними. Он, оказывается, цитировал его в своих письмах. Ему исполнилось десять в год, когда убили Пушкина. Невольно напрашивается вопрос, это много или мало, чтобы ощутить дыхание Сатаны, фатальным образом нависшее над горемычным человечеством?..

Обширен материал, представленный в двух книгах из области русско-грузинской истории. «К сожалению, эти вопросы, — пишет Богомолов, — до сих пор не становились предметом специального исследования. Между тем, изучение материала показывает, что Пушкин хорошо был осведомлен о политических, экономических, культурных и военных отношениях России с Грузией, которые берут начало в глубине столетий. Особый импульс они, как известно, получили в эпоху Петра I, когда в Москве сложилось так называемое Грузинское поселение, основу которого составила свита имеретинского царя и поэта Арчила II Багратиони, в которую входило немало деятелей грузинской культуры, людей образованных и талантливых». Вторым царем, разделившим трагическую судьбу первого (потерявшего помимо престола еще и троих сыновей), был также философ и поэт Вахтанг VI. Мы узнаем о подробностях взаимосвязей грузинских эмигрантов с петровским двором, о двойственности пушкинского восприятия личности Самодержца и о том, что в личной библиотеке Пушкина хранились достоверные материалы, отражающие грузинскую тему в «Истории Петра». Богомолов называет целый ряд имен грузинского происхождения (потомок удельного князя Самегрело А. Дадиани приходился поэту

родственником), составлявших ближайшее окружение Пушкина.


Многое из того, что цитирует автор, ассоциируется у него, как и у читателя тоже, с сегодняшним днем. «Грузия прибегнула под покровительство России в 1783, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20 000 жителей увести в плен (1795)». Характерный пушкинский сарказм «Путешествия в Арзрум». И еще фраза оттуда же: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены». Какое чувство мог испытывать к жестокой, захватнической войне «певец свободы», спрашивает автор. Мы думаем, на этот вопрос трудно ответить однозначно. Ведь известно, слава русского оружия была не пустым звуком для Пушкина. И в Арзрум-то он поспешил, чтобы «воспеть геройские подвиги наших молодцов кавказцев». На примере поэмы «Кавказский пленник» Богомоллов показывает гуманистическую, человеческую сущность пушкинского мировосприятия. И книга «Очаровательный край...», в основном, служит этой задаче. Пассаж за пассажем рисует нам автор околопушкинскую атмосферу в России и в Грузии. Мы знакомимся с интересными письмами друзей, распоряжениями начальства, высказываниями самого Николая I, только что расправившегося с декабристами и теперь ревниво следящего за каждым шагом одного из умнейших людей России. Описания первого (1820) и второго (1829) путешествия Александра Пушкина на Кавказ привлекательны не только с познавательной точки зрения. Говоря о произведениях поэта, родившихся из его кавказских впечатлений, автор дает свою интерпретацию идейно-смысловой нагрузки поэтических строф. И опять человеческое сопереживание на первом плане, и – безусловное эстетическое значение края как решающего импульса для художника, творчество которого обусловило зарождение того неохватного, совершенно уникального по своему мировому значению явления, что называется русской литературой XIX века. Автор приводит слова Гоголя,

который говоря о яркости и мощи кавказских впечатлений Пушкина, подчеркивает, что он «дивил и поражал только что начинавшую читать Россию». Итак – Россия тогда только начинает читать!

Книгу Игоря Богомолова «Из грузинской Пушкинианы» включает глава – «Пушкинские родственники в Грузии». Уважаемый профессор предположительно (вопрос недоказанный) называет некую Наталью Аннибал, проживавшую в первой половине прошлого века в Душети, о чем свидетельствует сохранившаяся могильная плита... И ни слова (как ни странно) о потомках поэта, живших в Тбилиси. А между тем те, кто присутствовал на конференции 1979 года (а мы были одними из тех), посвященной 180-летию со дня рождения Пушкина и 150-летию со времени его пребывания в Грузии, проведенной Главной редакционной коллегией по художественному переводу и литературным взаимосвязям при Союзе писателей Грузии, помнят глубоко пожилую женщину, сидящую в первом ряду, о которой говорили, что она прямой потомок поэта по линии его дочери Натальи. И главное, что буквально завораживало в ней – это Его профиль, заостренный, с характерной челюстью, чисто пушкинский... Не приснилось ли? Нет. Мы справились о ней. Из Смирновского Дома (тогда входившего в состав коллегии), который ныне называется Кавказским, нам ответили: да, была, Воронцова-Вельяминова Наталья Евгеньевна. Дочь ее, Вера, по мужу Сванидзе – учительница математики, внук Андрей, есть правнуки, семья выехала в Россию. Ну а профиля того, естественно, давно уже нет, он растворился в природе, которая нет-нет, да и одарит гением солнечного свойства безутешный род человеческий.

Выход еще одной небольшой книжки, уже на грузинском языке, ознаменовал пушкинские дни в Грузии. «Я вас любил...» – так она озаглавлена. Это из лирики. Здесь представлен ряд известных грузинских поэтов и переводчиков. Воспроизвести в другой языковой стихии музыку Пушкина кажется делом невероятным. Кто почти «озвучил» поэта, а





кто остался на уровне информации ЧТО и КАК прочувствовал Пушкин. Все равно это ценно для читателя. Вот только жаль – не видно первых проторенных путей... Нет в книге грузинских авторов XIX века, которые его переводили. А ведь это было бы интересно. Это история нашего векового взаимного духовного притяжения, и не дай Бог иссякнуть этому великому питающему руслу.

Ушел из жизни замечательный переводчик, лауреат премии имени Иванэ Мачабели Элизбар Георгиевич Ананиашвили. Он являлся членом Совета Международной федерации переводчиков и вице-президентом Литературной комиссии при ЮНЕСКО.

Элизбар Ананиашвили родился 22 декабря 1912 года в Тбилиси. Однако большую часть жизни провел в Москве. Казалось бы, к литературной деятельности закончивший химико-технологический факультет Грузинского политехнического института молодой инженер не должен был иметь никакого отношения, но уже в 1941-1944 годах в печати появились его поэтические и прозаические опыты. Он стал профессиональным литератором, работал редактором издательства «Молодая гвардия». Благодаря его переводам многие произведения грузинских писателей стали известны русской и не только русской общественности. Он переводил и стихи, однако основная его заслуга связана с переводами прозы, в том числе классической. Здесь в первую очередь следует назвать «Бремя женщины», «Гиви Шадури», «Белый воротник» Михаила Джавахишвили, «Давид Агмашенебели» Константинэ Гамсахурдиа, «Древо желания» Георгия Леонидзе, «Горец» Лео Киачели, «Сурамскую крепость» Даниела Чонкадзе, «Туман в Нахатарском лесу» Левана Готуа, «Хевсурскую невесту» Реваза Джапаридзе, «Волны торопятся к берегу» Арчила Сулакаури, «Железный театр», «Шел по дороге человек» Отара Чиладзе и другие.

Из иностранных авторов Элизбар Ананиашвили перевел на русский язык стихи американских поэтов Карла Сэндберга и Эдгара Ли Мастерса, вошедшие в антологию американской поэзии, которая вышла в издательстве «Художественная литература» в 1982 году.

Свой талант, свои творческие возможности Элизбар Ананиашвили отдал прежде всего грузинской словесности. И его имя навсегда останется в родной литературе.

**Главный редактор ЗАЗА АБЗИАНИДЗЕ**

**Редакционный совет:**

**Ирина ЗУРАБАШВИЛИ**

**Манана КВАЧАНТИРАДЗЕ**

**Майя МЕРАБИШВИЛИ**

**Елена СОПРОМАДЗЕ**

**Лиана ТАТИШВИЛИ (отв. секретарь)**

**Георгий ЧАРКВИАНИ**

**Художник ОЛЕСЯ ТАВАДЗЕ**

**Техредактор: К. КОТОМИНА**

Редакция “Литературной Грузии” выражает искреннюю благодарность ректору Сухумского филиала Тбилисского государственного университета им. И.Джавахишвили, профессору **Отару Жордания** и его коллегам по ректорату, спонсировавших издание этого номера журнала.



# „ლიტერატურნაია გრუზია“

საქართველოს მწერალთა კავშირის  
ორგანო

Напечатано в типографии издательства “Интеллект”  
Тбилиси, пр. И. Чавчавадзе 17<sup>6</sup>, тел.: 25-05-22.

Подписано к печати 18.05.2000.  
Формат бумаги 84x108 1/32.  
Бумага офсетная №1. Печать офсетная.  
Тираж 300.

**Цена договорная**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

При перепечатке ссылка на “Литературную Грузию” обязательна.  
Адрес редакции: 380008, Тбилиси, ул. Костава, 5.

Телефоны: 93 65 15, 99 06 59.

© “Литературная Грузия”, 2000

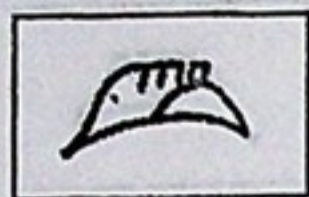


ИЗДАНИЯ НЕЗАВИСИМОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
"ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ"



Ладо Асатиани (1917-1943) – один из любимейших в Грузии поэтов. Уже давно стали легендой и его короткая жизнь и его испепеленный талант.

"Недопетая песня" знакомит русскоязычного читателя с наиболее яркими образцами лирики Ладо Асатиани в переводах покойного Гиви Нижарадзе - грузинского поэта, посвятившего последние годы жизни переводам на русский язык лучших поэтических творений Галактиона Табидзе, Терентия Гранели, Ладо Асатиани и других виднейших представителей грузинской поэзии XX столетия.



ИЗДАНИЯ НЕЗАВИСИМОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА  
"ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУЗИЯ"

ГУРАМ ОДИШАРИЯ

ПЛЕМЯННИК



“ПЛЕМЯННИК” – второе произведение Гурама Одишария, выходящее отдельной книгой на русском языке. Первой была документальная повесть “Возвращение в Сухуми”, удостоенная Государственной премии и утвердившая за автором имя беспристрастного летописца трагических событий грузино-абхазского конфликта.

В основе “Племянника” также лежит достоверный случай. При всей невероятности происходящего на фоне беспредельной, даже для войны, жесткости, читатель “Племянника” интуитивно ощущает невыдуманность этой истории и с комком в горле дочитывает последние страницы рассказа.

Два рассорившихся человека, в конце концов, могут разойтись и прожить свой век вдалеке друг от друга. Для двух народов, живущих на одной земле, этот путь невозможен. Невозможно на трагедии изгнанных выстроить безмятежную жизнь “победителей”. Единственная победа, мыслимая в подобном конфликте - победа здравого смысла над жаждой мщения, понятной в каждом частном случае, но губительной по большому счету.

Автор рассказа - человек, испытавший горечь и обиду поражения, изгнанный из родного очага, потерявший многое и многих, но не потерявший надежды, что в будущем реальным героям “Племянника” не придется смотреть друг на друга через прорезь автоматного прицела.

ნ 29/3

